

СМОНА



ИВАН БУНИН. ГОРЬКИЙ



ДОНАЛЬД УЭСТЛЕЙК.

ПРОКЛЯТЫЙ ИЗУМРУД



ГРУЗ-2000
(ИТАЛИЯ СТР. 34)

3'90
СМЕНА

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЦК ВЛКСМ**
Основан в январе 1924 года.

Главный редактор
МИХАИЛ КИЗИЛОВ

Редакция:

БОРИС ДАНЮШЕВСКИЙ
(зам. главного редактора)
АЛЕКСАНДР КУЛЕШОВ
АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
ИОСИФ ОРДЖОНИКИДЗЕ
СЕРГЕЙ ПОПОВ
(зам. главного редактора)
ЮРИЙ РАГОЗИН
РОBERT РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ЕВГЕНИЙ РЯБЧИКОВ
ВАДИМ САЮШЕВ
ВИТАЛИЙ СЕВАСТЬЯНОВ
ВЛАДИСЛАВ СЕРИКОВ
ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВ
(главный художник)
ТАМАРА ЧИЧИНА

Оформление

АЛЕКСАНДРА КЛИЩЕНКО
АРШАКА ОГАНЕСЯНА
Технический редактор
АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА

Сдано в набор 23.02.90.
Подписано к печати 19.03.90.
А 00254. Формат 84 × 108½/з.
Бумага газетная «Тампресс».
Печать офсетная.
Усл. п. л. 13,86. Усл. кр.-отт. 15,96.
Уч.-изд. л. 23,10.
Отпечатано 1 740 011 экз. (из общего тиража 3 310 000 экз.)
Цена 70 коп.
Заказ № 1998.
101457, ГСП, Москва,
Бумажный проезд, 14.
212-15-07 — для справок
212-11-27 — отдел писем
Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.
Рукописи, фото и рисунки не возвращаются. Рукописи объемом более 1 авторского листа (24 машинописные страницы) редакцией не рассматриваются.

3 (1505) МАРТ

© Издательство ЦК КПСС «Правда».
«Смена», 1990.

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА

114

ДОНАЛЬД УЗСТЛЕЙК. ПРОКЛЯТЫЙ ИЗУМРУД

Роман

242

ШЕРЛИ ДЖЕКсон. ЛУИЗА, ВЕРНИСЬ ДОМОЙ

Рассказ

18

ИВАН БУНИН. ГОРЬКИЙ

80

БОРИС ШИРЯЕВ. ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ «НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА»

ПОЭЗИЯ

4, 226

МАРИНА КУДИМОВА, АННА ГЕДЫМИН, ЕЛЕНА НАУМОВА, НАТАЛЬЯ РОЖКОВА, ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

8

ВИКТОР АНТОНОВ. ФРОНТ ПОСРЕДИ РОССИИ

27

ВЛАДИМИР АНИСИМОВ. СЕНА.

34

СЕРГЕЙ РОМЕЙКОВ, АЛЬБЕРТ ЛЕХМУС. «ГРУЗ-200»

61

АЛИНА ЧАДАЕВА. ОКНО В АЗИЮ

68

АНГЕЛЬСИНА МАРКИЗОВА. ДЕВОЧКА С БУКЕТОМ НА РУКАХ У ВОЖДЯ

200

СЕРГЕЙ КАЛЕНИКИН. НИКЕМ НЕ ПОБЕДИМЫЕ

МОРАЛЬ И ПРАВО

75

ИРИНА КУЗНЕЦОВА. СКОЛЬКО ЛИЦ У МОРАЛИ?

107

ЮРИЙ РАГОЗИН. ЖЕНА ИЗ ДЕВЯТОГО «А»

На первой
странице
обложки:
**ДМИТРИЙ
ХАРАТЬЯН.**
Фото
Игоря
Гневашева
(Читайте стр. 264)



КУЛЬТУРА, МУЗЫКА, ИСКУССТВО

52

ЛЕВ ОЗЕРОВ. СЕЛЕДКА В КОМПОТЕ

208

ТАМАРА ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО. ЗАГАДКА ШОСТАКОВИЧА

255

ОЛЬГА СМИРНОВА. «ШЕСТЕРКА БУБЕЙ»

НА ОДНОЙ ПЛАНЕТЕ

266

ВАЛЕРИЙ ГУРИНОВИЧ. «ОНЕ СГИНЕЛА!»

СПОРТ

257

СЕРГЕЙ ЖОЛУС. ПОЛОСА ВЕЗЕНИЯ

103, 277

ВАШИ ПИСЬМА

280

Кроссворд, шахматы, юмор

4•90

3

- Владимир Максимов «Четверг. Поздний свет». Глава из романа «Семь дней творения», написанного более двадцати лет назад и до сих пор не издававшегося в Советском Союзе.
- Орсон Скотт Кард. «Око за око». Эта повесть американского фантаста в США была признана лучшей в 1987 году, и по итогам голосования на 46-м всемирном конвенте любителей фантастики в Нью-Орлеане его автору была вручена премия «Хьюго».
- Евгений Замятин. Неизвестные страницы творчества русского прозаика.
- Владимир Корнилов. Пастернак.
- Владимир Молчанов: «Жизнь, по которой тоскую». Беседа с автором и ведущим телепрограммы «До и после полуночи».
- Рашид Хатуев. «Выселение». История о том, как «главный партизан» Ставропольского края Михаил Суслов стал инквизитором для карачаевского народа.

АНОНС:

Грех — это мера одиночества.
Нет праведничества на всех.
Рискнувшему на иноходчество
Во вспомоществованье — грех.
Что устоявшему в прощении!
А павшего суди молва...
Благодарю за пощущение,—
Его заботами жива.

Ведет нас тайна тайная
И сдерживает вскрик,
Как линия трамвайная,
Где неожидан стык.

Слепыми в нашей скинии
Смещен кривой король,
И потому на линии
Отсутствует контроль.

Ты, леченый и порченый,
Сперва себя спасай:
Держись, держись за поручень,
Всей массой повисай!

У мятого и клятого
Нейди на поводу,—
Предупреди вожатого
И прыгни на ходу!

Средневекового мышленья
Круг замкнут и неумолим,
Но чувствую благоволенье
К несообразностям моим.

И несмотря на первородный,
Из первых рук вмененный грех,
Я чувствую, что я пригодна
Равно для каждого и всех.

И чувствую, что мать Ева
Когда-то будет прощена
У перевернутого древа,
Чья крона вниз обращена.

Оперень, наращенье
На заплечии...



Исполать, отягощенья
Человечии!

Возрастают от вершины
До изножия.
Женщины мои, мужчины —
Люди Божии!

Обнимать без отторженья —
Служба истая.
Это — жар самосожженья,
Это — чистое.

А душа взойдет из праха —
Куда денется,—
Белошвея, тонкопряха,
Рукодельница.

==

Вкруг рта усугубляют алость
Закушенные удила.
Душа смиренная осталась,
Душа смиренная ушла.
Сперва поблизости бродила,
А после подалась блуждать
И всех на грех опередила,
Чтоб никого не осуждать.

==

Точно грешника в ад,
Гонит пройденным трактом:
Не пора ли впопых,—
Поглядеть, что и как там?

Прочешу сухостой,
Обносившись, как хищни,
И с собой, холостой,
Перемольюсь на всхлипе.

Подмело, как хвостом
Оборотистым, лисьим,
В этом месте пустом
Даже клочья от писем.

Но придется решить
В прошлом, как в настоящем:
Завсегдаем жить
Или гостем стоящим.

==

Кто ночь бессонную воспел,
Не пытан ею, а подкуплен!
Там шестерни небесных тел
С валов срываются под купол.

Там, меченная сединой,
С волос Лилит слетает очесь...
Да мне-то что!
Я — зверь дневной,
И я потьмами не охочусь.

Тайн приобщенная, я — за
Неотменяемость запрета
И так хочу закрыть глаза
На то, что за пределом света!

Все недоступное черно,—
Земля и ночь,
И тем, беспорно,
Подслушивание грешно,
А соглядатайство позорно.

≡
Как писать: через «о», через «а»?
С мягким знаком? Без мягкого знака?
О шитье золотое — слова,
В узелках и зигзагах изнанка!

Через «о»? Через «а»? Через «ять»?
По линейке? Кругами? Столбцами?
Как вышагивать вам? Как стоять?
Вы, должно быть, не знаете сами...

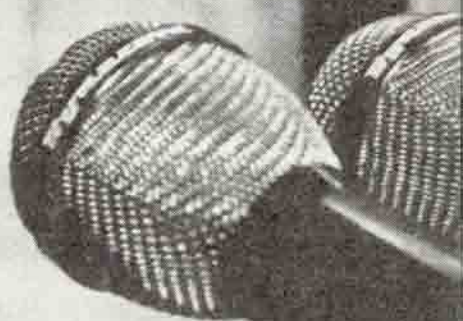
Голубую бумагу марай,
Островки оставляя для справок.
Через «о», через «а», через край...
Боже праведный, только б не навьк!

ФРОНТ ПОСРЕДИ РОССИИ

ВИКТОР АНТОНОВ
ФОТО ИГОРЯ ЯКОВЛЕВА



СУБЪЕКТИВНЫЕ
ЗАМЕТКИ
НАКАНУНЕ
ВЫБОРОВ





Среди тех, кто в январе в тридцатиградусный мороз толпился у стендов Ярославского народного фронта, единства не было. Один (молодой):

— Молодцы, ребята! Приложили аппаратчиков. И правильно, им не то что зарплату повышать, их вообще давно пора на свалку истории...

— На выборах будете голосовать за представителей фронта?

— Обязательно. Они — бойцы!

А без боя партократия власти не отдаст...

— По нашему округу тоже вот проходит один от Народного фронта. В областной Совет, — обстоятельно возражает высокий старик в полушубке. — Только я им не верю как-то. Ну покричали: «Долой Лощенкова!» Дальше-то что? Продуктов прибавилось?.. При мне сколько властей переменилось — не сосчитать, а стал я лучше жить? То-то и оно.

(Выслушаю всех, прежде чем составить собственное мнение.)

...Галина Георгиевна Трофимова, заведующая парткабинетом Кировского райкома партии, итожила наш разговор на оптимистической ноте и вроде бы даже с некоторой гордостью:

— Нет, что ни говори, а у нас в Народном фронте все же люди советские!

Инструктор райкома (социолог по специальности) признался, что



сочувствует неформалам, но, к сожалению, не видит среди них людей, способных стать, скажем, во главе исполкомов.

— Тут не просто лидер — аппаратчик нужен, — добавил он, улыбаясь. — Хороший аппаратчик многого стоит...

А коллега мой из областной «молодежки» был на редкость категоричен:

— Народный фронт наш не тот уже, что год назад...

— Что, не пользуется авторитетом в народе?

— Как сказать? Интерес к ним падает...

— А чем сейчас они занимаются?

— Сейчас? Выборной кампанией — пытаются по всем избирательным округам провести своих кандидатов. Да только это им слабо.

Так ли это?

На прошлогодних выборах кандидатов от НФЯ (Народного

фронта Ярославля) поддержало около ста тысяч человек.

Нынешняя предвыборная кампания более прагматична — нет в ней эмоций, стихийности, непредсказуемости предыдущей. Деловитость, расчет, напористость...

Прошлогодние выборы стали хорошей политучебой и для Народного фронта. Сегодня платформа его в достаточной степени конструктивна и реальна: монополизация экономики, приоритет интересов личности над интересами государства, ликвидация всех видов аппаратных привилегий, свобода вероисповедания, законы — без подзаконных актов (разъяснений, инструкций...), отрицание насильственных методов решения любых проблем, введение понятия «экологическое преступление»...

И само собой: власть — Советам, земля — крестьянам.

Думаю, что такую программу

(кстати заметим: она смыкается во многом с государственной программой перестроенных реформ) поддержат куда больше, чем 100 тысяч ярославцев.

Для справки: кандидатами в народные депутаты от НФЯ (поддержанные фронтом, так будет точнее) идут в областной Совет восемьдесят девять человек, в горсовет — семьдесят четыре, в республиканский — десятеро (на 10 мест)...

Из истории Ярославского народного фронта.

Как всегда, вначале было слово. Если б отцы города могли тогда хоть на минуту предположить, как слово это отзовется и чем в итоге обернется оно... Роковым словом оказалась фамилия бывшего первого секретаря обкома Лощенкова, внесенная в список делегатов XIX Всесоюзной партконференции. Библиотекарь Анастасия Малыгина написала в «Правду» о том кабинетном выдвигании. И началось. Вроде пустяк, обычное дело (да в былые времена никто б и не заметил, не то что в «Правду» писать), а тут заволновался народ. То жил себе тихо-мирно, ездил время от времени в Москву за колбасой да помалкивал — и вдруг возмутился. Но как! Самые рьяные пошли писать и расклеивать на столбах листовки, сзывая на площадь.

И вот 8 июня 1988 года на берегу Волги, у памятника Некрасова, состоялся многотысячный митинг, проголосовавший за отзыв Ф. И. Лощенкова из состава делегации. Рабочие собрания на предприятиях поддержали. И отзывали. И даже приезд в город самого Федора Ивановича — кандидата в члены ЦК, депутата Верховного Совета, председателя Госкомитета по матрессам — ничего уже не смог изменить — ярославцы перешли Рубикон. А через десять

дней после митинга — учредительное собрание Народного фронта Ярославля...

Многие, оказавшись на митинге случайно, потом вполне осознанно стали активистами движения. Мне показалась примечательной история обращения в «новую веру» Юрия Борисовича Марковина — коммуниста с сорокалетним стажем, преподавателя марксистско-ленинской философии и научного коммунизма, лектора общества «Знание», полковника в отставке, а ныне — сопредседателя оргкомитета Народного фронта (тоже выдвинут кандидатом в народные депутаты):

— На том июньском митинге я оказался, что называется, ненароком. И увидел среди выступавших людей не только «бичующих», но и готовых работать засучив рукава. Это сразу же подкупало. Но я еще долго сомневался, раздумывал, спорил с тогдашними лидерами фронта, пытался примирить наше движение с официальной линией... Случай разрешил сомнения. Раз после собрания был сбор благотворительных пожертвований. И пришла какая-то бабуля, опустила в кружку 10 рублей. Ее спрашивают: «Бабушка, зачем так много? Вам же и самой, поди, деньги нужны?» «Как не нужны? — отвечает. — Да вам-то они нужней, защитники наши». Это меня окончательно сразило и заставило отбросить всякое «двоемыслие». Иной раз и у нас даже нет такой уверенности в успехе, как у тех, кто нас поддерживает...

Так кто же сегодня поддерживает Народный фронт, кто входит в него?

Образно говоря, двери фронта в Ярославле открыты для каждого, кто хочет активно содействовать обновлению общества, жизни. Это и экологическая группа «Зеленая ветвь», мощная группа

рабочих города (а здесь такие промышленные гиганты, как Ярославский моторный завод, Ярославский шинный...), историко-патриотическое общество «Мемориал», христианско-демократический союз, студенчество (главным образом ребята из Ярославского госуниверситета)...

Тут к месту будет рассказать подробно об одном из кандидатов в народные депутаты РСФСР, за которого как раз и агитируют народофронтовцы.

Алексей Бушуев — вероятно, самый молодой из кандидатов. Он студент выпускного курса госуниверситета, без пяти минут дипломированный историк.

У этого напористого светловолосого парня устойчивая репутация «неудобного» человека — борца за справедливость. Депутат облсовета, он многим чиновникам (в том числе и исполкомовского ранга), что называется, кость в горле. Его радикализм, непримиримость расцениваются отчего-то не как бескомпромиссность, принципиальность, а как экстремизм. (Странная логика! Впрочем, для аппаратно-бюрократической системы вполне понятная и единственно возможная...) Весной прошлого года, когда в Ярославле случилась забастовка в университете (причина — отвратительные социально-бытовые условия), он возглавил комитет правовой и нравственной защиты. За него проголосовали все, включая профессуру... И, наконец, памятно ярославцам выступление Бушуева на сессии облсовета, которое дало толчок целому ряду судебных дел над местной мафией.

Мудрено ли, что, узнав о кандидатуре А. Бушуева по 773-му округу Ярославля, большинство других кандидатов по тому же округу взяли самоотвод. Здесь, как говорится, расклад ясен...

Ну, а как партийные, комсомольские «верхи» города и области в нынешней достаточно накаленной предвыборной атмосфере чувствуют себя в соседстве с НФЯ?

Так получилось, что сразу же по приезде в Ярославль я пошел на областную комсомольскую конференцию. Событие это по местным масштабам неординарное. В этом убедился, слушая нестандартные, острые выступления делегатов: о политической самостоятельности и о том, что комсомолу пора бы перестать быть тенью партии; о размежевании, даже о самороспуске союза шла речь и о создании его на новой основе...

Но вот выходит на трибуну первый секретарь обкома партии Игорь Аркадьевич Толстоухов и, точно не слыша назревшего разногласия, говорит об общей с КПСС идейной платформе комсомола, о недостатках в политическом воспитании молодежи. Журит: «Многие из тех, кто призван вести за собой молодежь, сами потеряли цель и остановились в растерянности». И резюмирует: «Надо лучше и больше работать самим»...

Понимаю всю нелепость и некорректность выдергивания трех фраз из почти получасовой речи, но не могу удержаться. Уж очень все это напоминает нечаянный каламбур одного из ораторов:

— У нас в комсомоле кризис, глубокий кризис, комсомол умирает. Так давайте посмотрим, как нам дальше развиваться...

Куда уж дальше?..

Народофронтовцы же на собственных шишках, порою методом от противного (как не надо!) пытаются нащупать верный путь социальных реформ... Но система глуха. Что ей какие-то неформалы?

К примеру, оргкомитет НФЯ годя подавал в горисполком заявку о проведении Учредительного съезда Народного фронта России. Молчание. Будто и не услышали. Такой



вот «диалог» аппарата с неформалами. (В скобках заметим, что съезд все же состоялся, но помытарили организаторов-ярославцев местные аппаратчики изрядно!)

Хотя, надо сказать, в том же Ярославле, в Кировском райкоме партии, сумели все же наладить контакты с Народным фронтом: даже зал им выделили для собрания — в Доме политпроса (кто из неформалов может похвастать подобным?). А в самом райкоме работает «Школа начинающего кандидата»...

Может, и впрямь «коммунисты района... поддерживают все гражданские инициативы, направленные на социалистическое обновление, консолидацию различных слоев населения и самостоятельных движений, выступающих за перестройку»? (Это из платформы районной парторганизации.)

Боюсь, что кировцы — скорее исключение.

...Кстати, о самостоятельности, автономности молодежного союза, о которой столько толковали и на комсомольском форуме в Ярославле. Как ее добиться? Один из районных секретарей признавался, что, дескать, областной комсомол проспал выборы в народные депутаты СССР, но у него еще остался шанс «захватить власть на местах»...

Ой ли?! Кандидатами (возраст до 30 лет) в народные депутаты РСФСР от Ярославля выдвинуты 3 человека, в облсовет — 42, в городские и районные Советы — 473. Заметим, что 473 — это лишь 10,8 процента от зарегистрированных кандидатов.

Для «захвата власти» явно маловато... (А в Верховном Совете СССР не наберется и тридцати депутатов комсомольского возраста. Что уж говорить о «власти на местах», где давление партократии, нынешнего аппарата особенно чув-



ствительно и весьма эффективно.)
...Позже, уже из Москвы, позволил только что избранному секретарю по пропаганде Ярославского обкома ВЛКСМ Анатолию Никольскому.

В каких, спрашиваю, отношениях с Ярославским народным фронтом ваш молодежный союз? В частности, в проведении предвыборной кампании. Соперники как никак...

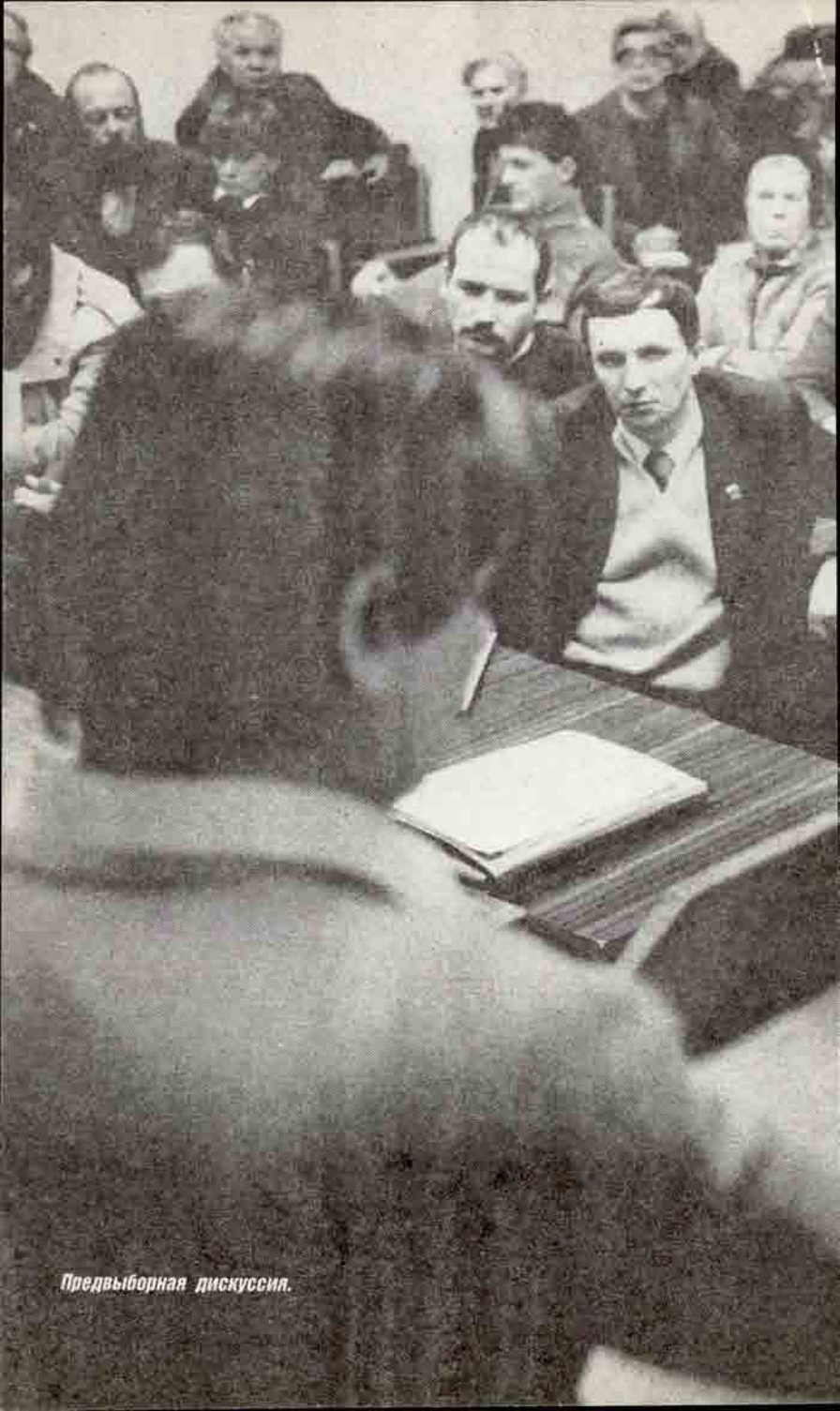
— А что, — ответил секретарь, — отношения, насколько я знаю, вполне нормальные. Никаких конфликтов. Мы даже поддерживаем некоторых кандидатов фронта, а они — наших. Так что, можно сказать, консолидируемся...

По-разному приходят люди в Народный фронт, но с одной целью, с одним желанием: почувствовать себя свободными. Разве не это желание, даже неосознанное, собрало их вместе в июне 88-го? И не оно ли заставило тру-

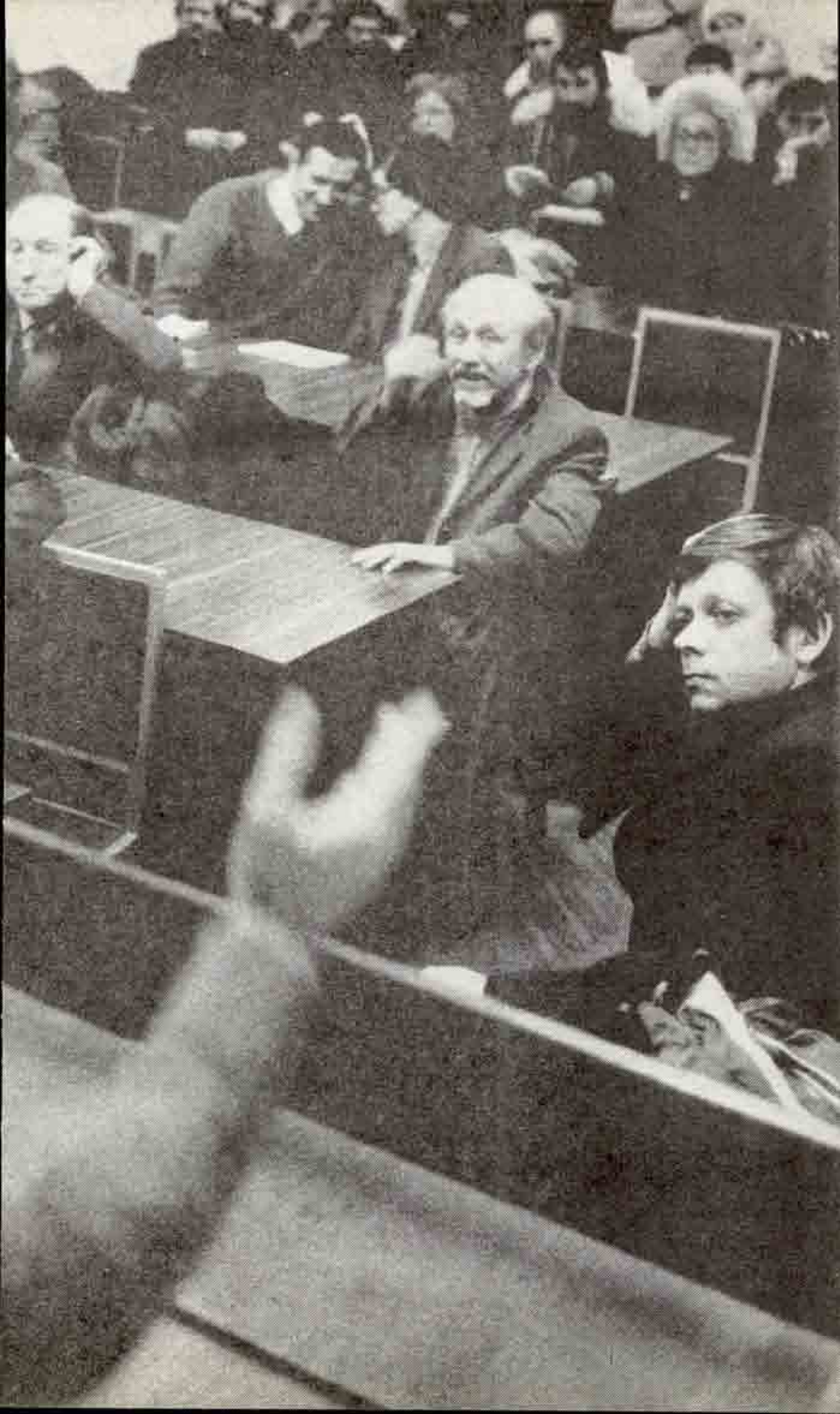
дящихся Волгограда потребовать отставки всего бюро обкома КПСС в январе 90-го?

Стихийный протест против автократии, против «железной руки» разного калибра вылился ныне в массовые движения — народ вышел на улицы и площади. Люди вдруг поверили, что не только от «доброты барина» — от них самих многое зависит...

P. S. Как известно, выборы 4 марта не выявили окончательных результатов. Народными депутатами РСФСР от Ярославля не избран пока никто, а на 2-й тур (для повторного голосования) прошли от фронта семь человек. В областной Совет избрано семеро, прошло на 2-й тур — 43; в горсовет избрано — 7, на 2-й тур — 32. Для сравнения: из 68 на сегодня избранных депутатов облсовета 27 работников номенклатуры, 22 — из партаппарата и только 7 человек от НФЯ...



Предвыборная дискуссия.



ГОРЬ

Наиболее полное у нас — девяти томное — собрание сочинений И. А. Бунина, начатое во времена «оттепели» и завершённое в 1967 году, изрядно пощипано. Думается, нет надобности объяснять читателю причины такой «операции». И, хотя благо уже то, что говорим мы сегодня об этом в прошедшем времени, тут есть о чем подумать.

Кроме многого, созданного Буниным в эмиграции, в собрание сочинений не вошли и интереснейшие его воспоминания о Горьком. Возможно, они спорны. Возможно, и сегодня многие найдут их не совсем объективными. Но может ли это служить причиной того, чтобы таить их от читателей? Ведь никому не приходило в голову не печатать, например, Писарева за то, что он на все корки разделал Пушкина, а потом уже духовные наследники едкого русского критика и вовсе ловчились «сбросить Пушкина с корабля современности», и те, в чьих руках был печатный станок, охотно печатали и Писарева, и громогласных его наследников.

Нет, это не сравнение и не сопоставление — только исторический пример, потому что Бунин не «разделяет» Горького, не лишает его права оставаться на борту корабля русской литературы — он снимает хрестоматийный глянec, развенчивает миф о Горьком,

КШИЙ

этот стереотипно положительный, сусальный образ, автоматически усваиваемый одним поколением за другим, и дает понять главное: Горькому выпала тяжелая доля и тяжелая пора. Он напоминает нам, что М. Горький не только автор «Матери», но и «Несвоевременных мыслей» (кстати, только год назад подаренных советскому читателю) и на закате дней написавший: «Если враг не сдастся, его уничтожат». Перед нынешним читателем, быть может, впервые предстает не традиционно-протокольный «буревестник», а человек, которому, как говорится, ничто человеческое... а то, что основоположник социалистического реализма до сих пор не удостоен полного собрания сочинений, как, впрочем, и «эмигрант» Бунин, многое, если не все, ставит на свое место.

Знакомя читателей «Смены» с произведением одного русского писателя о другом и понимая, что речь идет о художниках такого класса, мы сочли разумным сойтись на смысле неувыдаемой русской поговорки, о которой в литературной нашей политике при всяком удобном случае принято было забывать: что написано пером, не вырубишь топором, а что было, того не воротишь. Да и надо ли?

АЛЕКСЕЙ КАРЕТНИКОВ

Начало той странной дружбы, что соединила нас с Горьким,— странной потому, что чуть не два десятилетия считались мы с ним большими друзьями, а в действительности ими не были,— начало это относится к 1899 году. А конец — к 1917. Так случилось, что человек, с которым у меня за целых двадцать лет не было для вражды ни единого личного повода, вдруг оказался для меня врагом, долго вызывавшим во мне ужас, негодование. С течением времени чувства эти перегорели, он стал для меня как бы несуществующим. И вот нечто совершенно неожиданное:

— L'écrivain Maxime Gorki est décédé... Alexis Péchkoff connu en littérature sous le nom Gorki, était né en 1868 à Nijni-Novgorod d'une famille de cosaques...*

Еще одна легенда о нем. Босяк, теперь вот казак... Как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет о многом в жизни Горького точного представления. Кто знает его биографию достоверно? И почему большевики, провозгласившие его величайшим гением, издающие его несметные писания миллионами экземпляров, до сих пор не дали его биографии? Сказочно вообще судьба этого человека. Вот уже сколько лет мировой славы, совершенно беспримерной по незаслуженности, основанной на

* Скончался писатель Максим Горький... Алексей Пешков, известный в литературе под именем Горький, родился в 1868-м в Нижнем Новгороде в семье казаков...

безмерно счастливым для ее носителя стечении не только политических, но и весьма многих других обстоятельств,— например, полной неосведомленности публики в его биографии. Конечно, талант, но вот до сих пор не нашлось никого, кто сказал бы наконец здраво и смело о том, что такое и какого рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как «Песня о соколе»,— песня о том, как совершенно неизвестно зачем «высоко в горы вполз уж и лег там», а к нему прилетел какой-то ужасно гордый сокол. Все повторяют: «босьяк, поднялся со дна моря народного...» Но никто не знает довольно знаменательных строк, напечатанных в словаре Брокгауза: «Горький—Пешков Алексей Максимович. Родился в 69-м году, в среде вполне буржуазной: отец — управляющий большой паровой конторы; мать — дочь богатого купца красильщика...» Дальнейшее — никому в точности не ведомо, основано только на автобиографии Горького, весьма подозрительной даже по одному своему стилю: «Грамоте — учился я у деда по псалтырю, потом, будучи поваренком на пароходе, у повара Смурого, человека сказочной силы, грубости и — нежности...» Чего стоит один этот сусальный вечный Горьковский образ! «Смурый привил мне, дотоле люто ненавидевшему всякую печатную бумагу, свирепую страсть к чтению, и я до безумия стал зачитываться Некрасовым, журналом «Искра», Успенским, Дюма... Из поварят попал я в садовники, поглощал классиков и литературу лубочную. В пятнадцать лет возымел свирепое желание учиться, поехал в Казань, простодушно полагая, что науки желающим даром преподаются. Но оказалось, что оное не принято, вследствие чего и поступил в крендельное заведение. Работая там, свел знакомство со студентами... А в девятнадцать лет пустил в себя пулю и, прохворав, сколько полагается, ожил, дабы приняться за коммерцию яблоками... В свое время был призван к отбыванию воинской повинности, но, когда обнаружилось, что дырявых не берут, поступил в письмоводители к адвокату Ланину, однако же вскоре почувствовал себя среди интеллигенции совсем не на своем месте и ушел бродить по югу России...»

В 92-м году Горький напечатал в газете «Кавказ» свой первый рассказ «Макар Чудра», который начинается на редкость пошло: «Ветер разносил по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны... Мгла осенней ночи пугливо вздрагивала и пугливо отодвигалась от нас при вспышках костра, над которым возвышалась массивная фигура Макара Чудры, старого цыгана. Полулежа в красивой свободной и сильной позе, методически потягивал он из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и говорил: «Ведома ли рабу воля широкая? Ширь степная понятна ли? Говор морской волны веселит ли ему сердце? Эге! Он, парень, раб!» А через три года после того появился знаменитый «Челкаш». Уже давно шла о Горьком молва по интеллигенции, уже многие зачитывались и «Макаром Чудрой», и последующими созданиями горьковского пера: «Емельян Пиляй», «Дед Архип и Ленька»... Уже славился Горький и сатирами — например, «О чиже, любители истины, и о дятле, который лгал», — был известен как фельетонист,

писал фельетоны (в «Самарской газете»), подписываясь так: «Иегудиил Хламида». Но вот появился «Челкаш»...

Как раз к этой поре и относятся мои первые сведения о нем: в Полтаве, куда я тогда приезжал порой, прошел вдруг слух: «Под Кобеляками поселился молодой писатель Горький. Фигура удивительно красочная. Ражий детина в широчайшей крылатке, в шляпе вот с такими полями и с пудовой суковатой дубинкой в руке...» А познакомились мы с Горьким весной 99-го года. Приезжаю в Ялту, иду как-то по набережной и вижу: навстречу идет с кем-то Чехов, закрывается газетой, не то от солнца, не то от этого кого-то, идущего рядом с ним, что-то басом гудящего и все время высоко взмахивающего руками из своей крылатки. Здравуюсь с Чеховым, он говорит: «Познакомьтесь, Горький». Знакомлюсь, гляжу и убеждаюсь, что в Полтаве описывали его отчасти правильно: и крылатка, и вот этакая шляпа, и дубинка. Под крылаткой желтая шелковая рубаша, подпоясанная длинным и толстым шелковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражий, а просто высокий и несколько сутулый, рыжий парень с зеленоватыми, быстрыми и уклончивыми глазами, с утиным носом в веснушках, с широкими ноздрями и желтыми усиками, которые он, покашливая, все поглаживает большими пальцами: немножко поплует на них и погладит. Пошли дальше, он закурил, крепко затянулся и тотчас же опять загудел и стал взмахивать руками. Быстро выкурив папиросу, пустил в ее мундштук слезы, чтобы загасить окурочек, бросил его и продолжал говорить, изредка быстро взглядывая на Чехова, стараясь уловить его впечатление. Говорил он громко, якобы от всей души, с жаром и все образами и все с героическими восклицаниями, нарочито грубоватыми, первобытными. Это был бесконечно длинный и бесконечно скучный рассказ о каких-то волжских богачах из купцов и мужиков, — скучный прежде всего по своему однообразию гиперболичности, — все эти богачи были совершенно былинные исполины, — а кроме того, и по неумеренности образности и пафоса. Чехов почти не слушал. Но Горький все говорил и говорил...

Чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружеского сближения, с его стороны несколько даже сентиментального, с каким-то застенчивым восхищением мною:

— Вы же последний писатель от дворянства, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого!

В тот же день, как только Чехов взял извозчика и поехал к себе в Аутку, Горький позвал меня зайти к нему на Виноградную улицу, где он снимал у кого-то комнату, показал мне, морща нос, неловко улыбаясь счастливой, комически-глупой улыбкой, карточку своей жены с толстым, живоглазым ребенком на руках, потом кусок шелка голубенького цвета и сказал с этими гримасами:

— Это, понимаете, я на кофточку ей купил... этой самой женщине... Подарок везу...

Теперь это был совсем другой человек, чем на набережной, при Чехове: милый, шутливо-ломающийся, скромный до само-

унижения, говорящий уже не басом, не с героической грубостью, а каким-то все время как бы извиняющимся, наигранно-задушевым волжским говорком с оканьем. Он играл и в том и в другом случае — с одинаковым удовольствием, одинаково неустанно, — впоследствии я узнал, что он мог вести монологи хоть с утра до ночи и все одинаково ловко, вполне входя то в ту, то в другую роль, в чувствительных местах, когда старался быть особенно убедительным, с легкостью вызывая даже слезы на свои зеленоватые глаза. Тут обнаружались и некоторые другие его черты, которые я неизменно видел впоследствии много лет. Первая черта была та, что на людях он бывал совсем не тот, что со мной наедине или вообще без посторонних, — на людях он чаще всего басил, бледнел от самолюбия, честолюбия, от восторга публики перед ним, рассказывал все что-нибудь грубое, высокое, важное, своих поклонников и поклонниц любил поучать, говорил с ними то сурово и небрежно, то сухо, назидательно, — когда же мы оставались глаз на глаз или среди близких ему людей, он становился мил, как-то наивно радостен, скромнен и застенчив даже излишне. А вторая черта состояла в его обожании культуры и литературы, разговор о которых был настоящим коньком его. То, что сотни раз он говорил мне впоследствии, начал он говорить еще тогда, в Ялте:

— Понимаете, вы же настоящий писатель прежде всего потому, что у вас в крови культура, наследственность высокого художественного искусства русской литературы. Наш брат, писатель для нового читателя, должен непрестанно учиться этой культуре, почитать ее всеми силами души, — только тогда и выйдет какой-нибудь толк из нас!

Несомненно, была и тут игра, было и то самоунижение, которое паче гордости. Но была и искренность — можно ли было иначе твердить одно и то же столько лет и порой со слезами на глазах?

Он, худой, был довольно широк в плечах, держал их всегда поднявши и узкогрудо сутулясь, ступал своими длинными ногами с носка, с какой-то, — пусть простят мне это слово, — воровской цеголеватостью, мягкостью, легкостью, — я не мало видал таких походов в одесском порту. У него были большие, ласковые, как у духовных лиц, руки. Здороваясь, он долго держал твою руку в своей, приятно жал ее, целовался мягкими губами крепко, взасос. Скулы у него выдавались совсем по-татарски. Небольшой лоб, низко заросший волосами, закинутыми назад и довольно длинными, был морщинист, как у обезьяны — кожа лба и брови все лезли вверх, к волосам, складками. В выражении лица (того довольно нежного цвета, что бывает у рыжих) иногда мелькало нечто клоунское, очень живое, очень комическое, — то, что потом так сказало у его сына Максима, которого я, в его детстве, часто сажал к себе на шею верхом, хватал за ножки и до радостного визга доводил скачкой, по комнате.

Ко времени первой моей встречи с ним слава его шла уже по всей России. Потом она только продолжала расти. Русская интеллигенция сходила от него с ума, и понятно почему. Мало того, что это была пора уже большого подъема русской револю-

ционности, мало того, что Горький так отвечал этой революционности: в ту пору шла еще страстная борьба между «народниками» и недавно появившимися марксистами, а Горький уничтожал мужика и воспевал «Челкашей», на которых марксисты, в своих революционных надеждах и планах, ставили такую крупную ставку. И вот, каждое новое произведение Горького тотчас делалось всероссийским событием. И он все менялся и менялся — и в образе жизни, и в обращении с людьми. У него был снят теперь целый дом в Нижнем Новгороде, была большая квартира в Петербурге, он часто появлялся в Москве, в Крыму, руководил журналом «Новая Жизнь», начинал издательство «Знание»... Он уже писал для Художественного театра, артистке Книппер делал на своих книгах такие, например, посвящения:

— Эту книгу, Ольга Леонардовна, я переплел бы для Вас в кожу сердца моего!

Он уже вывел в люди сперва Андреева, потом Скитальца и очень приблизил их к себе. Временами приближал и других писателей, но чаще всего ненадолго: очаровав кого-нибудь своим вниманием, вдруг отнимал у счастливица все свои милости. В гостях, в обществе было тяжело видеть его: всюду, где он появлялся, набивалось столько народу, не спускающего с него глаз, что протолкнуться было нельзя. Он же держался все угловатее, все неестественнее, ни на кого из публики не глядел, сидел в кружке двух, трех избранных друзей из знаменитостей, свирепо хмурился, по-солдатски (нарочито по-солдатски) кашлял, курил папиросу за папиросой, тянул красное вино, — выпивал всегда полный стакан, не отрываясь, до дна, — громко изрекал иногда для общего пользования какую-нибудь сентенцию или политическое пророчество и опять, делая вид, что не замечает никого кругом, то хмурясь и барабая большими пальцами по столу, то с притворным безразличием поднимая вверх брови и складки лба, говорил только с друзьями, но и с ними как-то вскользь, они же повторяли на своих лицах меняющиеся выражения его лица и, упиваясь на глазах публики гордостью близости с ним, будто бы небрежно, будто бы независимо, то и дело вставляли в свое обращение к нему его имя:

— Совершенно верно, Алексей... Нет, ты не прав, Алексей... Видишь ли, Алексей... Дело в том, Алексей...

Все молодое уже исчезло в нем — с ним это случилось очень быстро, — цвет лица у него стал грубее и темнее, суше, усы гуще и больше, — его уже называли унтером, — на лице появилось много морщин, во взгляде — что-то злое, вызывающее. Когда мы встречались с ним не в гостях, не в обществе, он был почти прежний, только держался серьезнее, увереннее, чем когда-то. Но публике (без восторгов которой он просто жить не мог) часто грубил.

На одном людном вечере в Ялте я видел, как артистка Ермолова, — сама Ермолова, и уже старая в ту пору! — подошла к нему и поднесла ему подарок — чудесный портсигарчик из китового уса. Она так смутилась, так растерялась, так покраснела, что у нее слезы на глаза выступили:

— Вот, Максим Алексеевич... Алексей Максимович... Вот я... вам...

Он в это время стоял возле стола, тушил, мял в пепельнице папиросу и даже не поднял глаз на нее.

— Я хотела выразить вам, Алексей Максимович...

Он, мрачно усмехнувшись в стол и, по своей привычке, дернув назад головой, отбрасывая со лба волосы, густо проворчал, как будто про себя, стих из «Книги Иова»:

— «Доколе же Ты не отворишь от меня взора, не будешь отпускать меня на столько, чтобы слону мог проглотить я?»

А что если бы его «отпустили»?

Ходил он теперь всегда в темной блузе, подпоясанной кавказским ремешком с серебряным набором, в каких-то особенных сапожках с короткими голенищами, в которые вправлял черные штаны. Всем известно, как, подражая ему в «народности» одежды, Андреев, Скиталец и прочие «Подмаксимки» тоже стали носить сапоги с голенищами, блузы и поддевки. Это было нестерпимо.

Мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму — были и дела у нас с ним: я сперва сотрудничал в его журнале «Новая Жизнь», потом стал издавать свои первые книги в его издательстве «Знание», участвовал в «Сборниках Знания». Его книги расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров, прочие — больше всего из-за марки «Знания», — тоже не плохо. «Знание» сильно повысило писательские гонорары. Мы получали в «Сборниках Знания» кто по 300, кто по 400, а кто и по 500 рублей с листа, он — 1000 рублей: большие деньги он всегда любил. Тогда начал он и коллекционерство: начал собирать редкие древние монеты, медали, геммы, драгоценные камни; ловко, кругло, сдерживая довольную улыбку, поворачивал их в руках, разглядывая, показывая. Так он и вино пил: со вкусом и с наслаждением (у себя дома только французское вино, хотя превосходных русских вин было в России сколько угодно).

Я всегда дивился — как это его на все хватает: изо дня в день на людях, — то у него сборище, то он на каком-нибудь сборище, — говорит порой не умолкая, целыми часами, пьет сколько угодно, папирос выкуривает по сто штук в сутки, спит не больше пяти-шести часов, — и пишет своим круглым, крепким почерком роман за романом, пьесу за пьесой! Очень было распространено убеждение, что он пишет совершенно безграмотно и что его рукописи кто-то поправляет. Но писал он совершенно правильно (и вообще с необыкновенной литературной опытностью, с которой и начал писать). А сколько он читал, вечный полуинтеллигент, начетчик!

Всегда говорили о его редком знании России. Выходит, что он узнал ее в то недолгое время, когда, уйдя от Ланина, «бродил по югу России». Когда я его узнал, он уже нигде не бродил. Никогда и нигде не бродил и после: жил в Крыму, в Москве, в Нижнем, в Петербурге... В 1905 году, после московского декабрьского восстания, эмигрировал через Финляндию за границу: побывал

в Америке, потом семь лет жил на Капри,— до 1914 года. Тут, вернувшись в Россию, он крепко осел в Петербурге... Дальнейшее известно.

Мы с женой лет пять подряд ездили на Капри, провели там целых три зимы. В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть не все вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда он был наиболее приятен мне.

В начале апреля 1917 года мы расстались с ним навсегда. В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собрание в Михайловском театре, на котором он выступал с «культурным» призывом о какой-то «Академии свободных наук», потащил и меня с Шаялиным туда. Выйдя на сцену, сказал: «Товарищи, среди нас такие-то...» Собрание очень бурно нас приветствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мне большого удовольствия. Потом мы с ним, Шаялиным и А. Н. Бенуа отправились в ресторан «Медведь». Было ведерко с зернистой икрой, было много шампанского... Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал...

Вскоре после захвата власти большевиками он приехал в Москву, остановился у своей жены Екатерины Павловны, и она сказала мне по телефону: «Алексей Максимович хочет поговорить с вами». Я ответил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда конченными.

Публикация АЛЕКСЕЯ КАРЕТНИКОВА

Хроника одного конфликта



СПИСОК

27

ВЛАДИМИР АНИСИМОВ,
специальный корреспондент «Смены»

Только с помощью забастовки шахтеры добились отмены ведомственного дисциплинарного устава.

И вот я сейчас думаю: а почему бы не последовать их примеру миллионам управленцев? Мастерам и прорабам, начальникам отделов и цехов — всем руководителям вообще? Выдвигая столь подстрекательское предложение (и разделяя в то же время мнение о нежелательности забасто-

вок), просто не вижу иного выхода.

Да, речь снова пойдет о пресловутых «Перечнях» №№ 1 и 2.

Больше года слежу за судьбой одного из таких «перечников» — Валентина Яковенко, бывшего заместителя начальника транспортного цеха киевского объединения «Стройдормаш». Случай вроде бы ординарный — уволили «по статье». Но и уникальный: человек решил добиться восстановле-

РЕЗУЛЬТАТ

ния, чего бы ему это ни стоило.

Последний раз звонил мне, будучи в Москве:

— Я сейчас был в КГБ...

— Там-то зачем?!

— А подскажите, куда мне еще идти? К Горбачеву?

И то верно, идти уже некуда...

Бывает, обиженный человек первым делом — телеграмму в ЦК, в редакции газет и журналов. Валентин сам на себе ставит социальный эксперимент, методично двигаясь по лестнице служебных инстанций. Перед первым появлением в «Смене» он уже побывал у доброго десятка официальных лиц, от районного прокурора до министра строительного, коммунального и дорожного машиностроения Е. А. Варначева. На завод приезжало несколько комиссий, дававших однотипный ответ: «Оснований для вашего восстановления не имеется».

Я тоже ездил в Киев, писал об этой истории (см. статью «Из черного списка», «Смена» №13 за 1989 г.), поэтому напомним суть очень коротко.

В Яковенко обвинили, будто он вечером 15 октября 1988 года выходил с завода в нетрезвом виде. В деле этом, как мне показалось, много несообразностей.

Во-первых, приказ об увольнении почему-то издан лишь спустя неделю.

Во-вторых, нет акта медицинского освидетельствования.

В-третьих, не было факта задержания на проходной, как утверждается в приказе.

В-четвертых, никто не потребовал наутро у Яковенко никаких объяснений.

В-пятых, «показания» свидетелей расходятся. (Между прочим, один из них, шофер, стоит на учете у нарколога.)

В-шестых, в «свидетели» запи-

сали людей, в тот момент отсутствовавших на проходной...

Валентин, проработавший на заводе всего семь месяцев, утверждал, что с ним расправились за критику. И действительно, по его письмам в ГАИ, как говорится в одной серьезной справке, «...*вскрыты серьезные недостатки в работе по предупреждению аварийности на транспорте... выявлены большие упущения в проведении технического обслуживания, оформлении путевых документов и т. п. Виновные должностные лица объединения привлекались к ответственности*».

Словом, все свои сомнения я изложил в предыдущей статье и ожидал официального ответа от руководства объединения. (Тем более что прямо обвинил секретаря парткома М. Г. Городыскую в распускании ложных слухов о Яковенко.) И что же? Никакой реакции! Понимать это молчание как согласие?

А тем временем в Киеве работала очередная комиссия. Назову ее состав: два старших консультанта юридического отдела Президиума Верховного Совета УССР, член Верховного суда УССР, главный правовой инспектор Укрсовпрофа, старший консультант Минюста УССР, научный сотрудник Института государства и права АН УССР. Комиссия полностью подтвердила мои выводы и указала в справке: администрация объединения «Стройдормаш» уволила Яковенко без глубокой проверки обстоятельств, на основании материалов, достоверность которых вызывает большое сомнение. О том же пишет руководителем объединения зав. правовой инспекцией труда Укрсовпрофа В. И. Дягтерев: «...*указанные обстоятельства вины Яковенко не подтверждаются, являются несостоятельными. ...предлагаем рассмотреть вопрос*

о восстановлении Яковенко на прежнем месте работы».

Наконец, получаем официальный ответ, подписанный помощником Генерального прокурора СССР, государственным советником юстиции 3-го класса Ю. Г. Вальковым:

«Статья „Из черного списка“, опубликованная в журнале «Смена» №13, рассмотрена.

Приказ по объединению «Стройдормаш» об увольнении заместителя начальника цеха №13 Яковенко В. П. с работы признан незаконным. Генеральному директору руководством Прокуратуры Союза ССР направлен протест, в котором поставлен вопрос об отмене указанного приказа, восстановлении Яковенко в прежней должности и выплате ему зарплаты за вынужденный прогул».

Наивные мы все же люди... Сам ведь в прошлый раз высказывал опасение: ну, допустим, прокурор внесет протест на имя министра. А тот вправе его отклонить! Но, получив бумагу из прокуратуры, замороженный, видимо, бланком серьезной организации и солидной подписью, позвонил в Киев, чтобы поздравить Валентина. Он быстро вернул меня в суровую реальность: директору П. В. Сенченко прокурор не указ...

Здесь в пору бы поразмышлять о бесправии прокуратуры. Люди работали, тратили время и командировочные средства, исследовали все обстоятельства дела, вынесли заключение-протест. Но он, оказывается, не более чем пустая бумажка. Я знаю, какое огромное количество жалоб приходит в высший надзорный орган — прокуратуру, сколько ходячков бродит по ее кабинетам. Так какой смысл в поистине колоссальной работе прокуроров, если их решения не обязательны для исполнения?! Но это уже другая тема; я же

возвращаюсь к тому, с чего начал.

Как говорил мне киевский адвокат, изучивший «дело» Яковенко, любой суд немедленно восстановил бы Валентина на работе: нарушение законности очевидно. Вся беда в том, что Яковенко — руководитель, его должность внесена в тот самый «Перечень». Он может жаловаться хоть папе римскому, но не в суд — единственный орган, чье решение обязательно и для директора, и для министра. Суды не имеют права рассматривать трудовые споры «перечников».

Стократно уже сказано: подобные «перечники», ведомственные уставы противоречат Конституции. Почему миллионы людей лишены элементарного конституционного права, поставлены вне Закона? И какая могучая сила стоит за сохранение этого беззакония, если ничто ее не берет? Прокуратура Союза промолчала на сей счет. Удивительно и другое. В статье «Из черного списка» мы обратились к недавно созданной Всесоюзной ассоциации молодых руководителей — может, именно она добьется отмены всех антиконституционных перечней-списков и ведомственных уставов? Мы полагали, что это станет конкретным делом ассоциации, ее вкладом в перестройку.

Поразительно: ни руководители ассоциации во главе с экономистом, народным депутатом Г. Х. Поповым, ни сами молодые ее члены не отреагировали. Может, не существует такой проблемы? Отклики читателей на выступление журнала говорят об ином... Вот одно из писем — от давнего нашего подписчика А. И. Шепелева из Донбасса:

«Эта публикация поможет Яковенко морально выстоять в его борьбе за справедливость. А как быть с тысячами из того «черного списка»? Очень хорошо, что в вашей статье исследованы корни этого позорного явления и даже названо, кому он выгоден, этот

список. (Верхним эшелонам бюрократии.— В. А.) Необходимо вашу статью считать депутатским запросом и отменить эти антиконституционные списки. Сам на своей шкуре испытал, что это значит. Все прошел. И сфальсифицированные акты проверки, и откровенный психологический прессинг, и т. д. Ваша статья всколыхнула в душе эту мою трагедию 30-летней давности, а сколько нас таких, пострадавших от этого списка №1? Я сейчас уже на пенсии; но во имя торжества справедливости, чтобы другим молодым не ломали души, прошу довести ваши мысли до законодателей, и пусть они вложат этот «кирпич» в создающееся у нас правовое государство!»

Знаете, Александр Иванович, я уж и в силу законодателей не очень верю. Не случайно начал-то с шахтерской забастовки. Объявили ее до второго Съезда, и всем депутатам отлично были известны требования горняков, в том числе и об отмене ведомственного дисциплинарного устава. Но никто из законодателей не вышел на трибуну и не сказал примерно следующее:

— Товарищи! Вопросы надо решать в целом, а не по отдельным отраслям. Или мы будем дожидаться забастовки железнодорожников, чтобы отменить устав МПС? А потом подождем стачки прорабов и мастеров? Демонстраций и митингов «перечников»? Лучше давайте разом отменим всю ведомственную «самодеятельность», тем более что это наше решение не будет стоить казне ни копейки. Наоборот, сэкономит большие средства, идущие на командировочные бесчисленным комиссиям.

И потребовал бы поименного голосования.

Не думаю, что хоть один депутат рискнул бы возразить: нет аргументов «против» ни с позиций законности, ни с точки зрения здравого смысла.

...Вернемся, однако, к Яковенко. Он и теперь не пожелал признать поражения: «Если директор отказывается отменять свой приказ — пусть это сделает министр». С тем и приехал снова в Москву. Но пока шла ежемесячная волокита, Минстройдормаш ликвидировали (киевское объединение передали Минавтосельхозмашу). А бывшего министра назначили первым заместителем председателя Комитета народного контроля СССР. Мы записались к нему на прием: несколько месяцев назад Е. А. Варначев, полностью доверившийся выводам своей комиссии, посчитал Валентина обыкновенным проходимцем.

Было интересно: что он скажет теперь, ознакомившись с решением Прокуратуры Союза?

В назначенный час мы ждали вызова в приемной комитета. Но Е. А. Варначева куда-то вызвали... И принял нас другой заместитель председателя — В. А. Романцов. Владимир Анатольевич, по-моему, тоже сильно удивился, почему не решается столь очевидное дело, и немедленно принялся звонить заместителю генерального прокурора. Того, к сожалению, на месте не оказалось... Тем не менее зампред обещал оказать всяческую поддержку, «подтолкнуть» прокуратуру к более активным действиям.

— А имеете ли вы право влиять на прокуратуру? — спросил я.

— Обычно мы находим общий язык.

— Тогда поставим вопрос иначе: а можете ли?..

Романцов ответил как-то неопределенно, и тут я сообразил, что мы почти дословно воспроизвели известный анекдот: «Скажите, я имею право?..» — «Конечно, имеете» — «Скажите, а я могу?..» — «Нет, не можете!»

Потом мы спустились в кабинет юриста, присутствовавшего на беседе, он зачитал нам выдержку из Положения о народном контроле, и нам стало ясно, что КНК не может... почти ничего. Тем не менее Валентин вышел из этого здания явно повеселевшим. Я же почему-то не разделял его оптимизма...

Юрист Минавтосельхозмаша, выслушав Яковенко и изучив его бумаги, сказал, что все нужно проверять заново. «Да сколько ж можно?» — изумился Валентин и отправился по лабиринтам министерских коридоров. Добрался до самого Н. А. Пугина. Но и министр ничего определенного не сказал, лишь обещал послать в Киев... новую комиссию.

Дальше я только перечислю, где еще побывал Яковенко в тот поезд.

В Прокуратуре СССР (у двух заместителей генерального прокурора), в ВЦСПС, снова в КНК, в Комитете партийного контроля при ЦК КПСС (это уже от безысходности), у народных депутатов. Нигде ему не отказывали; многие возмущались волокитой и обещали помочь... Но домой Валентин уехал ни с чем. А в начале этого года получил письмо, которое стоит привести полностью, — там несколько строчек. Подписано оно первым заместителем начальника отдела (неизвестно какого) М. И. Посудневским.

«Ваше обращение в Минавтосельхозмаш СССР по вопросу увольнения с головного завода «Стройдормаш» рассмотрено с выездом на место. В результате проверки установлено, что вы уволены с работы без нарушения трудового законодательства и оснований для восстановления в прежней должности нет».

Отписка в лучших традициях прошлых лет — прямо-таки клас-

сический образец. Что, вскрылись новые обстоятельства «дела»? Обнаружились новые свидетели? Нет, сей вердикт вынесен на основании старых «материалов», по сути, опровергнутых шестью юристами и прокуратурой.

Думаете, Яковенко на сей-то раз сдался и смирился с записью в трудовой книжке? Как бы не так. Снова сел в московский поезд (благо в министерстве по крайней мере оказали материальную помощь и деньги на билет были); снова дождался приема у Н. А. Пугина. Министр остался недоволен работой комиссии и... назначил новую. Вышел Валентин из солидного министерского здания на Кузнецком мосту, а напротив еще одно солидное — КГБ... (Тут наши оппоненты с завода удовлетворенно воскликнут: «Мы же говорили, что он псих!») Слышал я и такое, поэтому обзавелся справкой районного психиатра: «На учете не состоит». Конечно, отлично понимал Яковенко, что его проблемы не в компетенции этой организации. Правда, выслушали внимательно, посочувствовали — ну, а дальше что? Но не зря придумали поговорку: утопающий хватается за соломинку, хотя она никогда не спасает.

Заметьте, речь идет не о спасении жизни, даже не о сохранении свободы. Всего лишь об отмене приказа и исправлении записи в трудовой книжке. Тысячи на месте Яковенко плюнули б на все и «сошли с дистанции». Зачем с неиссякающим упрямством надирать нервы и колотиться лбом в непробиваемую стену? А вот это уж, простите, его личное дело. В старину, говорят, стрелялись, усмотрев в косом взгляде покушение на свое достоинство. Валентин же, отстаивая свое достоинство, жизнью пока все-таки не рискует... Я не хочу ни делать из него героя,

ни осуждать за методы борьбы (например, пикетирование с плакатом на груди некоторых высоких ведомств в Москве и Киеве). Я просто слежу за ходом этого социального эксперимента: человек в одиночку решил одолеть гигантскую бюрократическую машину.

Мне скажут: ему пресса помогает. Да, написал я статью, а толку? Разговаривал с бывшим министром — нулевой результат. Был и у помощника Н. А. Пугина — П. М. Тулупова — как раз в тот день, когда в Киев выезжала повторная комиссия.

— Павел Михайлович, — спрашиваю, — мне одно непонятно. Вот есть протест прокуратуры. Почему он не выполняется?

— Коллектив против восстановления Яковенко. Даже говорят о возможной забастовке, если он вернется в цех. Поэтому мы высылаем комиссию, чтобы она собрала СТК — с участием Яковенко — и окончательно решила этот вопрос.

— Но с юридической точки зрения его увольнение незаконно?

— Бессспорно.

Я ушел из министерства в полном недоумении. Если нарушен закон, то при чем тут взаимоотношения Яковенко с коллективом (восьмерых членов которого он, кстати, свел к наркологу, где зафиксировал опьянение)? Разве в полномочия заводского СТК входит принятие — или непринятие — протестов союзной прокуратуры? И еще вопрос. Сегодня, допустим, СТК пожелает не принимать обратно Яковенко. А если завтра он захочет посадить его лет на пятнадцать? Почему бы и нет, если СТК выше прокурора?

Не удалось пока узнать, кто пустил слухи о забастовке — вообще нелепость какая-то. На заводе, уверен, не круглые невежды рабо-

тают. Наверняка читали Закон о трудовых спорах (конфликтах).

Пробовал предложить работникам министерства такой вариант: вы восстанавливаете его на работе и сразу проводите выборы на альтернативной основе — в таком случае и закон соблюдете, и волю коллектива исполните. Нет, говорят, можно выбирать только первых руководителей, а заместителей — не положено. Вот тут за букву закона держатся крепко!

...Вторая комиссия подтвердила правоту Яковенко. Заседание СТК прошло спокойно, без призывов к забастовке. Но последнее слово, конечно, оставалось за директором П. В. Сенченко. В конце концов Яковенко пошел на компромисс: вы восстанавливаете меня, и я подаю заявление об уходе. В ответ директор выдвинул аж три варианта компромисса. Первый: можно изменить формулировку приказа — вроде 21 октября 1988 года Валентин уволился по собственному желанию. (Но это означает потерю непрерывного стажа.) Второй: написать заявление на имя министра, будто в тот злополучный осенний день, выходя с завода, плохо себя чувствовал. Третий: переучиться на токаря или слесаря. Можно ли упрекнуть Валентина, что он отверг все три варианта?

Что-то напоминает эта ситуация... Ну да, все тот же анекдот: человек вроде имеет право, но не имеет возможности его осуществить. (В отличие от директора, который не имел законного права увольнять, но смог.) Вот и спрашивается: что лучше иметь — права или возможности?

P. S. Последнее известие: замминистра распорядился отменить незаконный приказ; Валентин восстановлен на работе. Итак, наши усилия были не напрасны. Как го-

ворится, справедливость восторжествовала. А полного удовлетворения нет... Год и три месяца человек пробивал бюрократическую стену, доказывая очевидное, — не слишком ли дорогая цена за торжество? Считай, часть жизни вычеркнута — та, что ушла на обивание бесконечных порогов. Ее-то кто восстановит?

Валентин подал заявление об уходе «по собственному желанию»: ясно, что при сложившихся отношениях с администрацией на заводе лучше не оставаться. Так какое ж тут торжество справедливости, если неповинного благополучно выпроводили на все четыре стороны (вариантов трудоустройства никто, разумеется, не предложил), а незаконное осталось ненаказанным?

И еще одно обстоятельство — на сей раз из материальной сферы. У Яковенко 15 месяцев вынужденного прогула. Согласно существующим правилам, оплачено может быть только три месяца. Кто и когда устанавливал этот закон, столь удобный администраторам? Хоть десяток лет издевайся над человеком — отделаешься пустяком, да и то не из собственного кармана. А надо бы, надо весь потерянный заработок «потерпевшего» высчитывать из зарплаты авторов незаконных приказов и тех, кто не умеет объективно проверить жалобы, кто подписывает «отказные» ответы-отписки.

P. P. S. Хотите — верьте, хотите — нет. Едва я поставил точку, ко мне вошел незнакомый молодой человек. Представился: Сергей Драницын, бывший начальник цеха Самаркандского химического завода. Да-да, из того самого «черного списка». Уволен за прогул без уважительных причин с 1 по 24 мая 1989 года. Сергей положил на мой стол ксерокопию приказа и рядом — выписку из истории

болезни: в тот период он... лежал в больнице! Бюллетень, как положено, сдан в профком.

Я не буду говорить об истинных причинах увольнения, ибо знаю версию лишь одной стороны. Но, как бы там ни было, столь откровенного, наглого нарушения прав человека еще не встречал. И что вы думаете? В Самарканде и бывшем Минудобрений Драницын ничего не смог добиться! Приехал теперь в Прокуратуру СССР, оставил там жалобу...

К сожалению, статистика знает далеко не все. Не знает она, например, сколько человеко-лет (или человеко-пятилеток?) тратится у нас на поиски справедливости, восстановление законности такими вот бедолагами, а также прокурорами и бесчисленными проверяющими. И еще — сколько за это бездарно потраченное время могло быть сделано полезного для общества! То есть для каждого из нас.



МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

СЕРГЕЙ РОМЕЙКОВ

вместе с
АЛЬБЕРТА ЛЕХМУСА
и ВАЛЕРИЯ ЩЕКОЛДИНА,
специальными корреспондентами
«Смелый»

"ГРУЗ-2"



0000

На языке
военных
«ГРУЗ-200» —
это
цинковый гроб
с телом
погибшего...

Стремителен и короток разбег самолета; курс — на Баку.

На борту ИЛ-76МД — десяток журналистов, офицеры политуправления внутренних войск МВД СССР. Но самолет грузовой, и, значит, мы не более чем довесок к основному грузу. Везем хлеб и пластиковые щиты. «Для защиты от демократии», — сказал кто-то.

...Военный аэродром в Баку встречает сгущающимися сумерками. Мы выпрыгнули на бетонку взлетно-посадочной полосы — размять ноги, перекурить. Никто нас не ждал. Рядом — такой же, как и наш, ИЛ-76 с откинутым хвостовым трапом. К нему вереницей съезжаются автобусы, крытые и открытые грузовики, десятки перегруженных, на просевших рессорах, легковушек с беженцами. Главным образом семьи офицеров. Женщины, старики, дети. На подножках машин — автоматчики в бронежилетах и касках.

Первые интервью. Без имен и фамилий, ведь мужья остаются здесь...

— Нас обстреляли несколько раз. — Молодая женщина в выбивающемся из-под пальто халате прижимает к себе грудного ребенка. — Приходилось ложиться на пол в автобусе, вповалку...

— Куда, к кому вы летите сейчас?

— Не знаем, никто не знает... Нам все равно, лишь бы отсюда.

Проходящий мимо капитан, не целясь в диктофон, произносит несколько раз подряд:

— Нам бы только семьи* отправить, только отправить бы семьи в Россию, а потом...

Никто и не думал нас разгружать. Один из пилотов:

— Я здесь трое суток прокукарекал с 37 тоннами продуктов на борту... А тут — щиты... — Он сплюнул и отошел в сторону злой.

Щиты — несколько сотен — разгружали прилетевшие: подполковники и полковники, спецкоры и фоторепортеры. Управались, однако, уже в глубокой темноте. Кто-то обратил внимание на горизонтально повисшую луну. Заканчивался день 25 января 1990 года.

Миклаш Иштванович сидел под портретом Николая Ивановича Рыжкова и курил. Горела свеча.

Электричество было во всем городе, по всей Гяндже (бывший Кировабад). А в здании, где размещалась специальная моторизованная часть милиции, света не было. Не было также воды и тепла.

В Гяндже подполковник Миклаш Иштванович Дубравка, мадьяр по национальности, с марта 1989-го, до этого — год в Степане, как называют здесь военные столицу НКАО. Опыт общения с местным населением, как говорится, имеется.

— Завтра БТР на площадь выведу, башней по сторонам покручу — свет будет... — говорит мягко, с навсегда оставшимся западноукраинским акцентом.

О нем рассказывают: в разгар степанакертских волнений, когда буквально все население столицы НКАО высыпало на главную площадь города и круглосуточно митинговало, вздумал Миклаш... подстричься. Через толпу, в форме подполковника милиции, твердо прошагал к центральной гостинице «Карабах» — там парикмахерская. На крыльце непробиваемым кольцом люди. Миклаш, могучий, пышноусый красавец, выбросил вверх сжатый кулак правой руки: «Миццум!» («Единство!») Толпа ахнула, да что толпа — автоматчики отшатнулись от неожиданной «выходки» подполковника-полиглата. Вошел в здание, подстригся, со словами «Сда-

чи не надо!» отдал 5 рублей и был таков. На следующий день его нашли, торжественно вручили 10 рублей и пригласили придти еще... Вот такой он, Миклаш Дубравка.

А сейчас молчит, курит.

Рассказывает старшина Александр Семенов:

— В 6 часов утра 14 января капитан Осетров поднял людей по тревоге. Поступил сигнал, что село Азад обстреливается со стороны Аджикенда. Сообщалось о якобы имеющихся уже жертвах... С ефрейтором Морозом, рядовыми Федотовым и Прижимкиным Осетров выехал на место. Выехали на «Жигулях», за рулем армянин, местный. Следом должна была выйти еще одна машина, но она задержалась. А узик армяне не отпустили — боялись, что все военные уедут и они останутся без защиты...

В 7.15 Семенову позвонил рядовой Лаврищев: на село идет БТР, ведет прицельный огонь по домам, сзади — вооруженные люди... Лаврищев справился о возможности применения оружия. И получил ответ: в случае крайней необходимости... БТР ведет огонь по мирному селу — случай, кажется, из ряда вон выходящий! Через некоторое время Лаврищев снова вышел на связь: БТРом раздавлены «Жигули» капитана Осетрова...

— Захватив боеприпасы, я с двумя солдатами выехал в Азад. Там, где были раздавлены «Жигули», — три больших, свежих еще пятна крови. Стреляные автоматные и винтовочные гильзы. Покошенная легковушка неподалеку, но подойти к ней сперва не удавалось — стреляли снайперы...

— Азербайджанские? — прерываю рассказ Саши.

— Да. В маскхалатах белых. Они по вертолету стреляли тоже,

со стороны Аджикенда, ранили лейтенанта Павлова...

Мы видели на военном аэродроме этот обстрелянный вертолет с залитым кровью правым креслом. Знающие люди подсказали: стреляли не профаны, а те, кто соображает, на сколько корпусов вперед надо посылать пули...

— Стреляные гильзы, — продолжает едва различимый в свете свечи старшина Семенов, — мы потом нашли и в «Жигулях», нашей серии гильзы. Видно было, что капитан Осетров стрелял и из машины. Со стороны водителя кабины прошита пулями, но в салоне крови не было...

Это случилось ровно за 2 недели до дня рождения Осетрова. Ему, отцу двоих детей, шел 31-й год.

В середине февраля, когда я пишу эти строки, о судьбе Сергея Осетрова, Александра Мороза, Алексея Прижимкина и Вячеслава Федотова по-прежнему ничего не известно.

В центральных газетах публикуются немногословные тассовки: изъято столько-то единиц гладкоствольного и нарезного оружия... продолжается добровольная сдача оружия...

Ранним утром выдвигаемся с колонной в райцентр Ханлар. Несколько десятков БТРов, КамаЗы и «Уралы» с автоматчиками, машины сопровождения... Мы в медицинской машине замыкаем колонну.

От Гянджи до Ханлара езды не более получаса.

Делаем этот конец за два с лишним часа: новенькие, необкатанные бронемшины то и дело глохнут, колонна замирает, ждет отставших.

Въехали в Ханлар. Подполковник Александр Лещенко:

— Надо же так случиться...

Я родился в Гяндже. И вот через 30 лет вернулся в эти края.— Немного словен, но видно, что накипело у него, хочется поговорить с посторонним.— Блокаду мы выдержали достойно. Без паники. Люди держались бодро. Оружие все в сохранности...

— Мы — солдаты. Наша доля такая, такое ремесло.— Подполковник Николай Андриянец живет в Ханларе уже 11 лет.— Но вот семьи, дети... Эвакуировать министр запретил. Отправлять только гражданской авиацией. А это значит — не отправлять. Детей жалко. Раньше по 1,5—2 месяца не учились из-за виноградников, а теперь вот — события...

И час, и другой, и третий томимся в ожидании. На улице прохладно, не май месяц. Сухой паек жуем в машине.

Солдаты, как им и положено, то строятся, то расходятся — курят, потом снова строятся...

От офицеров удалось узнать: в близлежащих селах знают о выдвижении в район Ханлара спецподразделения и потому приступили к добровольной сдаче оружия. На первый — неопытный — взгляд это хорошо. Офицеры считают иначе:

— Взяться проводить операцию по изъятию — надо проводить. А так... они сдадут три охотничьих ружья, а сколько оставят — не докопаешься. Добровольная сдача!..

«Тбилисский синдром» — это здесь довелось слышать от многих военных. В различных контекстах: «Поставить бы Собчака посреди толпы «гуляющих» со щитом и резиновой палкой — посмотрели бы мы, что он запоет...» Крайнее, довольно категоричное, но достаточно ясное мнение. Есть и другие: «Не назвав конкретных виновников тбилисской трагедии, под удар поставили всех воен-

ных. А им ходить оплеванными тоже не очень приятно...»

Вячеслав Сироткин, заместитель начальника отдела Главного управления внутренних войск МВД СССР, подполковник:

— То, что в Закавказье были оба министра — Язов и Бакатин, — внесло, мягко выражаясь, некоторую сумятицу. Генералы начали тащить одеяло каждый на себя. Вот пример: мы пошли на задачу, и с меня, офицера ВВ, в частях СА требовали продуктовый аттестат, чтобы кормить моих людей... Не одно ли мы дело призваны здесь делать?

Бюрократизм, канцелярщина страшны сами по себе и в мирное время, а здесь, в чрезвычайной, а порой и в боевой обстановке — чувствуешь свое бессилие перед бумажками... — Он напряг скулы, безнадежно махнул рукой...

Эти слова я вспоминал не однажды.

В Шаумяновске сопровождавший нас офицер показал издавека на человека, что возился у себя на подворье, — бородатый, в камуфлированной военной форме.

— Это боевик.

— Так почему вы на него так спокойно смотрите, если уверены?

— Не имеем права...

— А чрезвычайное положение? В ответ то же:

— Не имеем права...

Трудно, чертовски трудно (да и возможно ли вообще?) во всем этом разобраться.

Воевать по всем правилам войны... Но для этого надо четко знать, кто твой враг. Но ведь в лицо тебе никто не скажет: я враг твой. В лицо солдатам и офицерам: «Спасибо, не уходите, худо нам без вас, боязно...»

На 30 января 1990 года в Степанакерте не работало 95 процентов промышленных предприятий. На железнодорожном

вокзале оставались неразгруженными 123 вагона с различными товарами для Нагорного Карабаха. (Из оперативной сводки.)

Наш приезд в Степанакерт совпал с двумя взаимосвязанными событиями: из Баку прибыл тов. Поляничко, 2-й секретарь ЦК Компартии Азербайджана. В ответ на этот визит Степанакерт (в который раз!) забастовал. Работали только лишь хлебозавод, молочный и мясокомбинаты.

— Неужели вы не понимаете, что забастовки в первую очередь бьют по местным жителям? — Этот вопрос я задавал здесь многим.

— Понимаем, мы все это понимаем... Но политическое решение нашей проблемы выше чего бы то ни было, — таков был суммарный ответ.

С тремя полковниками, представителями военной цензуры, иду в областной радиокомитет. Нас любезно встречает едва оправившийся после инфаркта главный редактор главной редакции радиовещания Юрий Апресян.

Цензура. Что сегодня пойдет в эфир? (Суточное вещание местного радио — 2,5 часа. — С. Р.)

Апресян. Возможно, концерт. Я еще не видел материала.

Цензура. У нас есть для вас готовый материал. Выступление товарища Поляничко...

Апресян. Мы все уйдем из комитета и передавайте, что хотите. Нас и так уже готовы убить за то, что мы не бастуем вместе со всеми...

Это выступление степанакертцы слушали записанным на пленку, через громкоговоритель, установленный на БТРе.

...Рядом с комендатурой не по военному времени шикарный бар. Совсем недавно здесь был кооператив «Масис». Сегодня — благотворительная столовая.

Вчерашний директор кооперативного бара, а сегодня член правления степанакертского отделения благотворительного общества «Амарас» Рафаэль Ованесян:

— Люди должны что-то есть, и мы будем кормить их...

Отовсюду, из тех районов Армении, с которыми налажено сообщение, получает степанакертский «Амарас» поддержку — мясо, муку, хлеб... Кормят бесплатно беженцев. Большинство женщин, работающих в столовой, сами беженки — из Баку, Дербента, Сумгаита... В день нашего знакомства члены общества отвезли в военный госпиталь сигареты, печенье, конфеты, теплое белье — для русских солдат.

...Ночью мы все проснулись, вся наша палатка: в горах стрельяли.

«Дальше не поеду», — сказал армянин, водитель ПАЗика, когда мы выехали на окраину села Карачинар. Впереди лежало азербайджанское село... Упрашивать, уламывать или совестить — не тот случай. Идем пешком.

Минуем КПП с расставленными в шахматном порядке глыбами — чтоб не проскочила машина...

Тихо. Высокогорье. Кажется, уже настоящая весна. Помаленьку оживает трава, расправляются, готовятся к жаркому летнему солнцу кусты магнолии.

Мы сходили «за границу» и вернулись назад. Там, за кордоном, поговорили с азербайджанскими парнями — вчерашними солдатами...

Напротив КПП, прямо на границе, — промтоварный магазин «Дружба». Амбарный замок уже взяла ржавчина...

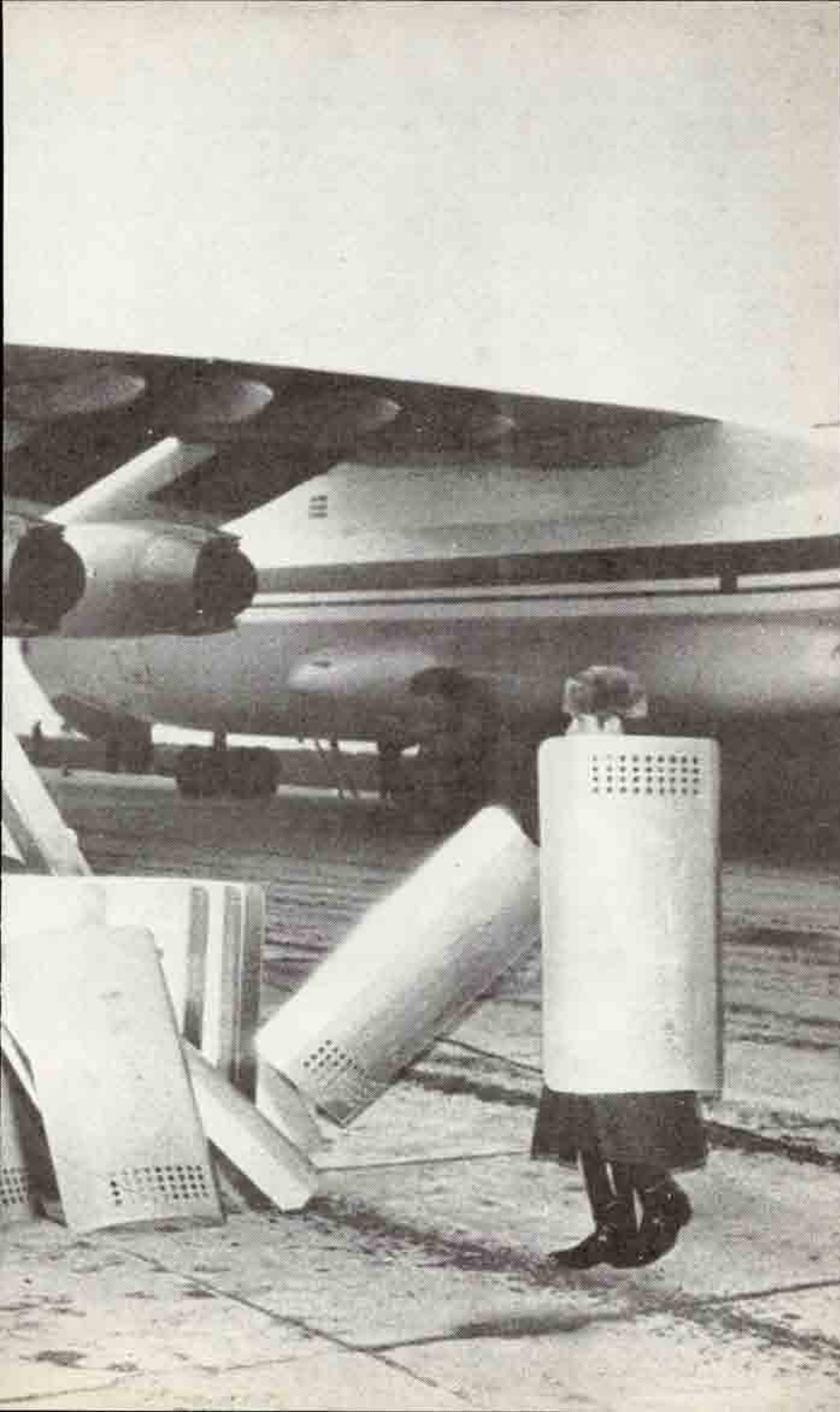
Карпен Авакян, председатель колхоза имени Куйбышева:

— 9 января позвонили из райкома партии — сообщили, что

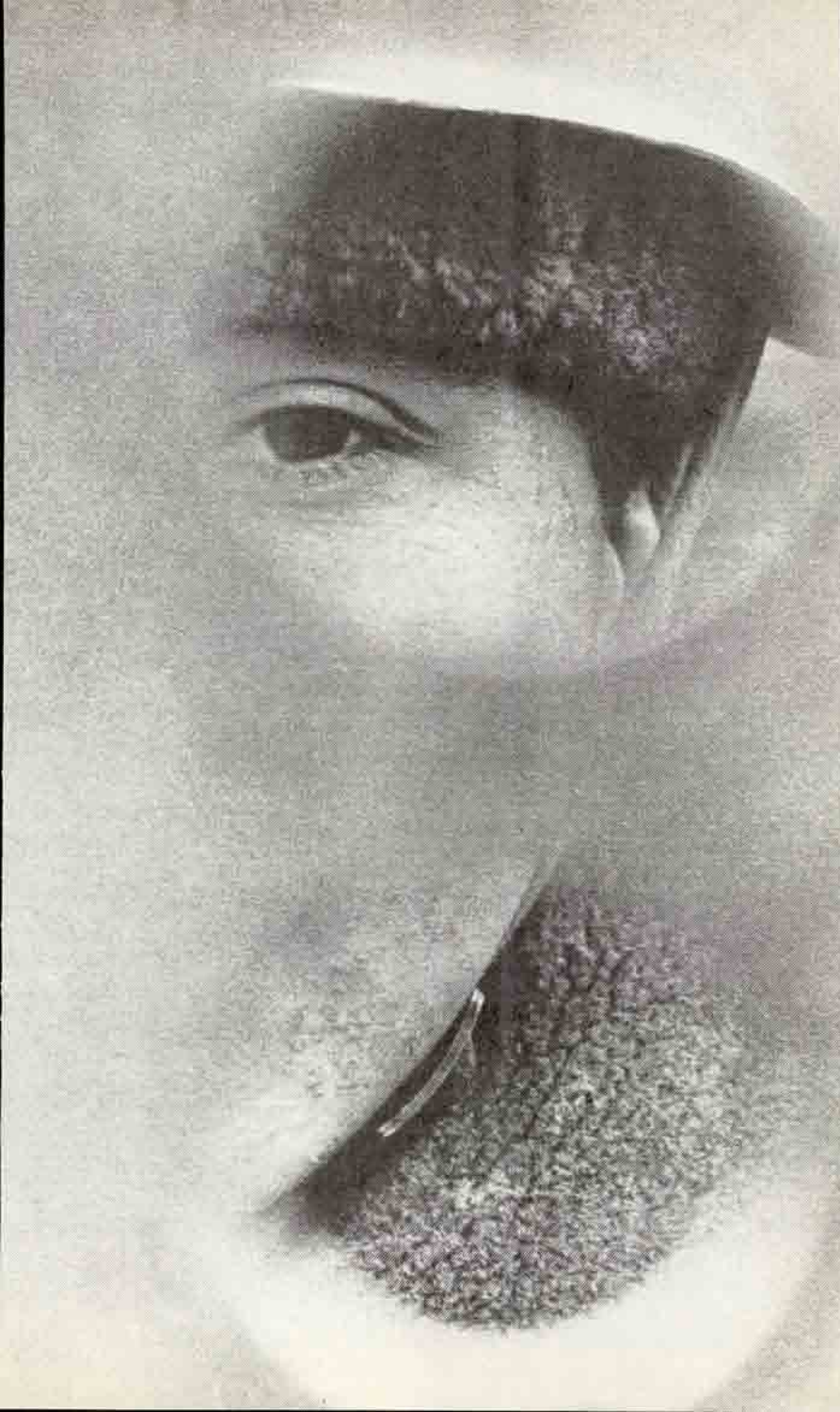




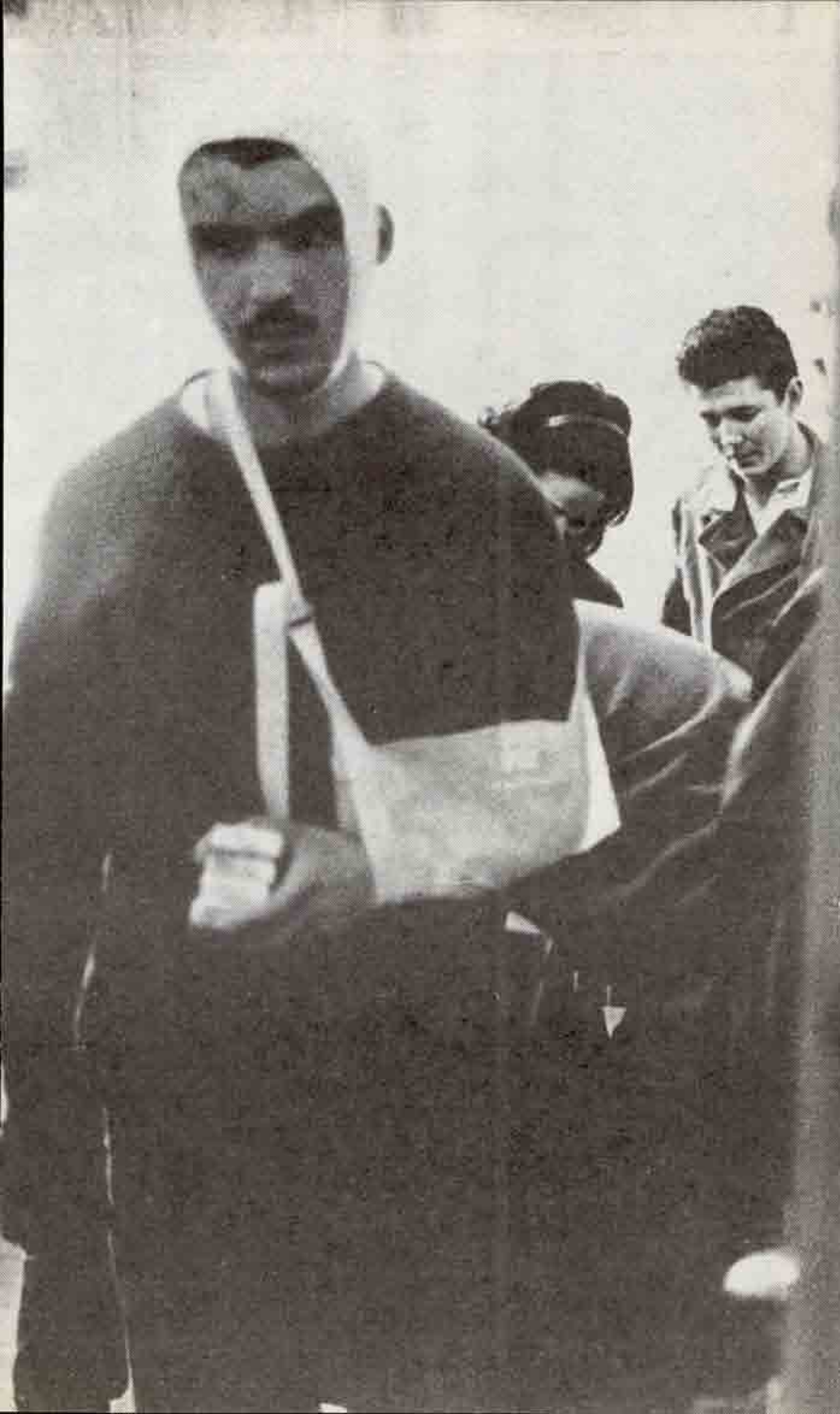
















в соседнем селе похороны, надо ехать. По дороге нас остановили вооруженные люди — они страшно кричали, бранились. Они обыскали нас, взяли все, даже мой хороший бинокль... Потом в наши машины сели их водители. Нас отвезли в медпункт. Били. Через 12 дней нас обменяли...

Вспоминаю, как поздно ночью возвращался из Шуши. В УАЗик, кроме меня и командира, Николая Николаева, сели 4 автоматчика. Я спросил, почему усиленная охрана. И Николаев рассказал, что некоторое время назад в Степане были взяты в заложники 4 шушанских милиционера. Он предупредил: с нами поедет начальник шушанского РОВД, на переговоры с армянами. Попросил, чтоб я не говорил, что журналист: «Пристанет, не отвяжешься потом...»

Так, молча, и ехали по горному серпантину. Водитель вел машину осторожно — горы. Узкая лента проезжей части то там, то здесь оказывалась засыпанной.

А наш попутчик многословен: то заговаривал с солдатами, то шептал что-то на ухо Николаеву, то угощал меня сигаретами. Видно было, что взволнован...

Есть в Шаумяновском районе село. Русские Борисы. И живут в нем русские люди. Живут, вернее, жили, как все, — с праздниками и печальями, с трудами от зари до зари. Эта размеренная деревенская жизнь кончилась для них тогда, когда не на шутку заспорили между собой два народа.

Меж двух огней оказались молококане. С печальями своими, с работой, с верой своей... Терзают их с обеих сторон: вы с кем? За кого вы? Что отвечать русскому крестьянину, что?

Когда мы уезжали, молококане спросили:

— А правда, есть в России брошенные деревни? Мы бы всем селом и переехали...

У них уже письмо к правительству написано, подписи собраны...

...Это поколение чаек не знало войны. Никогда прежде они не слышали выстрелов. Шум, рабочий шум бакинского порта — да, это знакомо, а выстрелы... Потому и взметнулись они, и закричали, забили крылами в ночь на 20 января. И закружили над Домом правительства...

Не здесь ли, не в этом ли самом сквере, всего три года назад мы пили ночь напролет душистый чай? Теперь здесь нет чайханчика. Теперь площадь усыпана алыми гвоздиками — знак скорби по погибшим бакинцам.

...Яшар Наджафов срочную служил в Афганистане. Исполнял, как это принято называть, интернациональный долг. От пуль душманских не бегал. Одну на себя принял, в правую ногу ранен. Обошлось тогда, выходили... А вот дома, в родном Баку, не уберется: в ту же ногу получил пулю Яшар от своих, от «братков» и «земель». Ногу пришлось ампутировать... Выписываю из истории болезни диагноз: огнестрельный перелом правой голени с повреждением нервов...

Руфат Гасанов, 23 года, студент:

— Где-то около 12 часов ночи начались выстрелы... Вышел на улицу, услышал: танки прорываются в город. Мы думали, что сумеем их остановить. С расстояния 100—150 метров они открыли огонь.

— Огонь был прицельным?

— Стреляли трассирующими. Я лег, голову прикрыл руками. Получил два ранения — в бедренную кость и в руку... Было очень больно, но я не кричал. Потому что видел: туда, откуда раздается

крик, тут же летят пули...

Нагорный парк. Здесь похоронили 76 человек из погибших в ту страшную ночь. Голос муллы не может заглушить плача. Никогда больше не пойдет в школу 12-летняя Лариса Мамадова. Ее ранец и школьное платье лежат на могиле...

Аяз Аллахвердиев, член правления народной обороны АНФ:

— Нам приносят охотничье оружие те члены Народного фронта, кто имеет право на его хранение. Когда мы почувствуем, что необходимости в оружии нет, мы вернем ружья людям. Сейчас мы держим их на случай попытки военных истребить Народный фронт. Если понадобится, переправим оружие в пограничные с армянами места.

— Вы уже делали это?

— Да, мы помогали. Иначе армяне были бы уже в Баку.

— Вы думаете, они стремятся сюда?

— Я больше чем уверен, что при малейшей возможности они захватят и Москву.

— Вы член партии?

— Нет. Вышел.

В ожидании погоды застряли в Гяндже. Не только мы, многие. Люди готовы лететь куда угодно, лишь бы на Большую землю, лишь бы отсюда. Наконец появился борт — то ли на Воронеж, то ли на Ростов. Но воспользоваться этим самолетом никто не смог. Почти никто. Командир разводил руками: «Я бы рад, ребята, но не могу: «Груз-200».

Мы все-таки улетели в Баку. В МИ-8 нас набралось человек 15. Делаем посадку в одном из горных селений — там ждут, встречают груз.

«Груз-200».

ЛЕВ ОЗЕРОВ

ВЕРДИ



52

СТРАНИЦЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ

КОМ ПОТЕ

Портрет Алексея Крученых работы Марии Сняжковой (1924 г.).

Об эпиграфе, У Николая Асеева в окончательной редакции: «О Крученых надо бы знать!» Одна из первых редакций — отчетливо помню: «А вам Крученыха надо бы знать!» Помню не только текст, но и решительность, с которой это Николай Николаевич читал, как бы внушая собеседнику: «надо бы», то есть всенепременно, во что бы то ни стало.

Почему пишу о Крученых?

У нас в литературном обиходе любят установившиеся «закругленные» — пусть и ложные — репутации. Без поправок. Слушали — постановили.

На имя Алексея Крученых условный рефлекс определился: «дыр бул щир», Заумь. Дальше этого сознание и воображение современника не хотят продвигаться. Некогда.

Но версии нуждаются в исправлении и дополнении. А подчас и в коренном пересмотре.

Второе — исправленное и дополненное — издание версии об Алексее Елисеевиче Крученых сейчас рождается.

Кто же он, Крученых, которого «надо бы знать»?

Он напоминал одновременно и Гоголя, и его героев.

Бекеша, папка с бумагами под мышкой, сутулость, стояние под дверью, хохолок, подпрыгивающая походка (он называл это «острым проскоком»), голова вобрана в плечи, плечи горделиво подняты... Он был постоянно рассеян и одновременно сосредоточен. Можно было бы сказать такое: рассеянно-сосредоточен. Мыслимо ли это? В данном случае — с Крученых — не только мыслимо. Это реальность.

Фонема для Крученых — феномен. Не строка, не слова, а звук. Слог. Крученых предложил новый жанр — «Фонетический роман». Дерзко. Вспомним название романа Всеволода Иванова — «У», повесть Андрея Вознесенского — «О».

Для близких у него был свой язык, своя абракадабра. Помнится, в детстве моя мать с нами, с детьми, разговаривала на языке, ею придуманном. Мы ее понимали. Заумь? Почему бы не вспомнить детские считалочки, игры, рассказы?

Интерес к детству человека, искусства, мира был у Крученых велик и постоянен. Он первый в России издал детские рисунки. В наше время это обычное дело. В пору Крученых — ошеломляющая дерзость.

С ним интересно было передвигаться по городу. Он отлично знал Москву и открывал в ней все новые и новые стороны. Необходимо было только отказаться от своих привычных маршрутов и покорно следовать за Алексеем Елисеевичем.

Он умел читать вывески и комментировать их.

— Остановитесь! Вы видите? Плиссе, гофре. Это афишка старинного балета, который мы напишем с вами под общим именем Гофре. Шарль Гофре... Звучит? Франция, семнадцатый век. Герой балета — Плиссе. Падекатр из балета «Плиссе».

Другая улица. Крученных с портфелем под мышкой замирает.
— Остановитесь! Смотрите: «Венерические болезни на втором этаже». А что на первом?

Он владел улицей, как собственным рабочим столом. Улица владела им.

Проходил мимо литературных нуворишей, выскочек, людей казенного, карьеристского склада с чувством пренебрежения, как бы заткнув нос. Не удостаивал их внимания.

Ему давали порой обидные прозвища.

Его называли сокращенно:

— Круч.

Он добавлял:

— Крученный паныч. Растение.

Его называли и так:

— Круча.

Он добавлял:

— Кавказ подо мною. Один в вышине...

Я встречал его в разных местах: книжные лавки, архивы, Асеев, Пастернак, Кирсанов, Шкловский, клуб писателей, парикмахерская, улица. Он был примечательным пешеходом. В толпе всегда можно было его отличить. Он был отвлечен, будто ничего не слышал, не видел. Но это было само внимание. Он все в себя впитывал, как губка.

Мы ссылались на Маяковского, памятуя о томе XII, страница 88: «Стихи Крученных: аллитерация, диссонанс, целевая установка — помощь грядущим поэтам». Маяковский предлагал задуматься над трудами поэтов переломной эпохи. О Крученных у него сказано: «разрабатывающий слово». Это сказано весомо. Человек поисковой стати. Он мог бы писать гладко, благополучно — умел. Но отказался от гладкописи. Пошел на эксперимент, многими осмеянный. Но кому-то должен понадобиться этот эксперимент?!

Конец войны. Обедаем в Центральном Доме литераторов, в Дубовом зале.

Приносят закуску и компот, начальное и конечное. Алексей Елисеевич нетерпелив. Он кладет селедку в компот.

— Что вы делаете? — не столько спрашиваю, сколько восклицаю.

— Делаю правильно: в животе они все равно перемешаются — селедка и компот. Я опережаю события. Это опережение — долг каждого уважающего себя художника. Еще точнее: я пред-вкус-шаю. Вдумайтесь в слово, попробуйте дернуть его за корень. Выдернуть с корнем! Этим мы и занимались в юности.

Он никогда не паясничал, хотя что-то озорное жило в нем. Что-то детское. Это был ребенок, дитя. Игрун. До старости лет. Он не взрослел. С годами это озорство стало заметным. Бедствовал и озорничал.

Как дитя, он тянулся только к тем, кого любил. С ними он мог разговаривать. Охотно. Для других он был чудачком, загадкой, нелюдимым, отшельником. Эти другие его отрицали начисто.

Начиная с тридцатых-сороковых он менял свои обычаи футуриста на нечто новое, ему неведомое, для меня не во всем приемлемое. Много молчал. Он чувствовал: поезд ушел.

— Читайте стихи! — говорит.

Читаю. Помалкивает.

— Зауми не нашли? Не ищите, у меня ее нет...

— Тем хуже для вас.

— Почему?

— Думать надо...

Крученых посещает людей, которые знают его с молодых лет.

В доме Асеева он свой человек. Ходит по квартире в своей бекеше с карманами, похожими на детские сачки для бабочек. Ксения Михайловна, Оксана, следует за ним по пятам.

Николай Николаевич наклоняется ко мне и шепчет на ухо:

— Вот вы сейчас будете свидетелем того, как сей господин смахнет в свой сачок лежащую на столе книгу.

Предсказание сбывается. Все молчат.

Прочтясь, Алексей Елисеевич говорит Асееву:

— Мой дорогой, книга будет вам возвращена. У Достоевского, кроме имеющегося у вас одного тома «Дневника писателя», есть еще два тома в издании Маркса, год 1895. Они у вас будут целиком...

По квартире Пастернака Алексей Елисеевич порхает. Он смотрит работы отца, узнает у Бориса Леонидовича, нет ли новых стихов или прозы. Перепишет каллиграфически и сбережет. Так сбереглись пятнадцать писем Цветаевой к Пастернаку из ста затерянных. Если б не забота Крученых, и они были б нам неведомы.

Как настаивал Асеев, чтобы глава о Крученых осталась в поэме «Маяковский начинается»! Вместе с главой о Крученых сняли главу о Хлебникове. Маяковский без окружения. «Как бы чего не вышло...» Вот ничего и не выходит.

Забьто, что первая книга о Маяковском написана Крученых и издана в 1914 году. В ней предсказано то, что для новых поколений уже давно стало историей литературы.

Забьто, что в 1923 году вышло исследование Крученых «Леф-агитки Маяковского, Асеева, Третьякова». Впервые дан анализ новому способу поэтического воздействия на людей, показана поэтика агитки.

Идем дальше. В 1925 году Крученых издал книгу «Язык Ленина», которую рассматривал в качестве плана будущей большой работы. План осуществить не удалось. Зато книга вышла вторыми изданиями в 1927 и 1928 годах под новым, более точным названием «Приемы ленинской речи».

Он любил обмен рукописными копиями. Я дарю ему копию стихотворений Дмитрия Кедрина и Александра Кочеткова. Он в ответ протягивает переводы Бориса Пастернака из Клейста, из Бараташвили.

Дети власть имущих родителей позволяли себе такую роскошь, такое отступление от общепринятого. Они слезно просили Алексея Елисеевича за определенную плату достать, скажем,

рукопись Пастернака. Крученых упрашивал Бориса Леонидовича переписать на хорошей бумаге несколько его стихотворений. Уступая старому другу, нуждающемуся в заработке человеку, Пастернак делал рукопись — красивую, привлекательную, размашисто подписанную. Сколько таких рукописей осело в домах знатных людей!

Он жил среди книг и рукописей, которые берет — не для себя, конечно, для других, для культуры. Издательство выбрасывало верстку, ставшую книгой. Крученых эту верстку подбирал и хранил. Со временем она оказывалась во много раз ценней книги. В ней были поправки автора, которые трусливый редактор не принял. Приняли внуки редактора, которые были одного мнения с Крученых.

Он знал классиков. Мог цитировать их. Сочувственно брал в руки книги авторов XIX века. Еще более сочувственно — XVIII и XVII веков. Но душу влекли только футуристы, только левые течения в искусстве нашего века. Это молодость. Это — начало. Это определило всю его жизнь. Так же было и с Татлиным. Был новостью — стал древностью, чтобы еще раз через полвека снова стать новостью. Самое молодое поколение спрашивает нас о Крученых. Ничего не знает. Только верит молве: чужак чужаком.

Он видел меня в гневе. Я не люблю, когда меня видят в гневе. Через три дня он сказал мне:

— Вы меня удивили. Тихий человек, вы ругались громко и долго. Мне не понравились ваши ругательства.

— Почему? — неожиданно возмутился я, словно ругательства должны были нравиться, как стихи или новеллы.

— Неизобретательно! — произнес Крученых едко, мне показалось, даже презрительно.

Во всем ему нужен был дух изобретательства.

Лабиринты, сталактиты, навалы породы в крохотном жилище Крученых. Только он один мог в этом хаосе видеть лад и склад, даже гармонию. Я его принимаю. Он был хранителем духовных ценностей, и вскоре люди увидят масштаб им сохраненного. Сохраненного ценой лишения себя самого необходимого.

— Ну, галерный раб, как дела? — спросил меня Крученых, встретив на улице. До этого на одном из вечеров поэзии я говорил о том, что каждый истинный художник — это не отдыхающий (так и сказал) на палубе в удобном шезлонге, а раб, прикованный к галере искусства, раб, чьи руки мозолями прикипели к веслу.

Крученых описывает Хлебникова:

*Художник, бродяга, босяк,
стройный тюльпан пустыни,
без страха,
без денег
скользишь по камням,
одетый в лучи и овчину.*

Это характерно для Крученых: он дает вначале три слова, три штриха, три мазка. Так и в «Камере чудес» он говорит о Гоголе:

Нелюдим, смехотвор и затворник...

Этого для меня достаточно. Дальнейшее не обогащает на-

чальной строки, и она — одна — оказывается больше целого сочинения.

Новое искусство — по мысли Крученых — должно быть жизнеутверждающим и, более того, жизнедейственным. Он высмеивал стихи символистов (статья «Новая психология новых писателей»), воспевающие смерть. Строки Зинаиды Гиппиус («Приветствую смерть я с бездумной отрадой...») развенчиваются с ликующей легкостью, решительно.

Умение в двух строчках дать характер:

*Добродушный эрудит,
никому не повредит.*

Это о Давиде Бродском, поэте и переводчике, которого я хорошо знал. Книголюб, домосед, обладатель обширной памяти на стихи. Крученых закрепил его характер в коротком двустишии.

Обращает на себя внимание то, что почти все футуристы были художниками. Бурлюк, Каменский, Маяковский, Крученых. Алексей Елисеевич — уроженец Херсона — учился в Одессе. Работы его пропали: войны, революции, переезды. А среди них были карикатуры столь ядовитые, что «пострадавшие» звали Крученых к барьеру.

Он рисовал. Цикл «Весь Херсон в карикатурах» имел огромный успех. Он любил музыку. Но превыше всего ценил слово. Слово звучащее, рвущееся со страницы книги в душу.

Не могу забыть, с какой издевкой, с какой злобой говорили о Крученых рапшовцы и их последователи. Не только о Крученых — об Асееве, Третьякове, Пастернаке, Брикe, Шкловском и других. Останавливаюсь потому, что велик, непокорно велик перечень тех, кто был нерапшовцем. На них не завершились издевки и злоба. Она, злоба, принимала другие, все новые формы. Маяковский избежал общей участи только благодаря высказыванию Сталина — лучший, талантливейший и пр. Поспешная канонизация Маяковского привела к тому, что недавние его противники стали лучшими его друзьями. Появились липовые ораторы с липовыми воспоминаниями. Остановить этот поток до нынешнего дня невозможно. Крученых молчал и не поддерживал разговоры на эти темы. Его духовно поддерживал интерес молодых к литературным начинаниям десятых — двадцатых годов.

Если взглядеться повнимательней, то обнаружится, что он был связан с лучшими людьми нашей литературы, нашего искусства, дружил с ними, они ценили его: Хлебников, Маяковский, Цветаева, Асеев, Пастернак, Довженко, Солнцева, Шкловский, Антокольский, Кирсанов... Далеко не полный список.

Он не страшился безвестности, забвения, бесславия: «силен ведь тот, кого не знают!» (это из поэмы, написанной совместно с Хлебниковым).

Во многом антипод А. Е. Крученых, человек иных традиций и иной судьбы, В. В. Вересаев на одной из своих книг сделал надпись: «Вы меня поражаете и привлекаете упорною честностью, которую идете по намеченной Вами дороге».

Это определение («упорною честностью!») о многом говорит. Заставляет задуматься.

К книге А. Крученых «Календарь» (М., 1926) Б. Пастернак написал предисловие, которое назвал «Взамен предисловия». Это уникальное предварение книги начинается с вопроса: «Милый Крученых, на что тебе это предисловие?» Здесь запечатлен кусок разговора двух старых друзей на пороге Нового года (предисловие датировано 25 декабря 1925 года).

Тремя строками ниже Б. Пастернак от вопроса переходит к утверждению: «Ты из нас самый упорный, с тебя пример брать». Здесь надо остановиться и набрать в легкие воздух.

На строках Б. Пастернака отсветы времени и стиля поэта середины двадцатых годов. Замечания о «содержательности формы» и «широковещательной банальности» остаются актуальными.

Говорят, в молодости он был порывист. Я встретил Алексея Елисеевича, когда его порывистость стала сдержанностью, сжатой до отказа пружиной. Это видно по глазам и движению губ.

Это заметил Пастернак: «Его запальчивость говорит о непосредственности». Он назвал еще и другую черту: неуступчивость. Это верно. Это Крученых доказал жизнью. Еще две черты добавляет Пастернак к портрету друга: цельность и последовательность.

Не поленился и выстроил в один ряд характерные черты Крученых, отмеченные Пастернаком: упорный, запальчивый, непосредственный, неуступчивый, цельный, последовательный.

Портрет готов и нуждается в раме.

В зареую, начальную пору звукового кино, когда многие от него шарахались и объявляли миру, что кинематографу пришел конец, Крученых в кино горячо приветствовал звук, слово. Он видел будущее кино.

Он общался с молодежью, с теми из начинающих, в кого верил. Вводил их в свою мастерскую. Приобщал к богатствам русского фольклора, языка, поэзии. «Лисей Лисейч» постепенно становился легендой.

В духе этой создаваемой нашими современниками, нынешней молодежью легенды Евгений Евтушенко написал стихотворение «Непонятым поэтам». Там есть такие строки:

*Я формалистов обожал,
глаза восторженно таращил,
а сам трусливо избежал
абракадабр и тарабаршин.*

Жестоко был бы наказан автор этого стихотворения, написавший его в тридцатые — сороковые годы. Читаем далее:

*...я себя, как пыткой мучил —
ну, чем же я недоборщил
и ничего не отчебучил
такого,*

словно «дыр-бул...щир...»?

Автор не скрывает своей зависти к «непонятым поэтам» («О, непонятные поэты! Единственнейшие предметы белейшей зависти моей...»). Думаю, что Алексею Елисеевичу, доживи он до 1985 года (когда в «Юности» были напечатаны эти стихи Евтушенко), было бы приятно узнать, что ему завидует поэт, добившийся непомерной (как теперь говорят, «глобальной») славы.

Проходит время и, став прошедшим, дает нам возможность взглянуть на пережитое с новой вышки.

В футуризме, зауми, озорстве Алексея Елисеевича Крученых, как я теперь понимаю, было что-то добротнo-старомодное, почти патриархальное.

≡

*Я ревную тебя к теплой моряне
И белым птицам облаков!
В нетерпении
Бью о прибрежный камень
Веревкой подошвы!
Больно мне, больно
Опереться горлом
На турецкую фисташку!
О, никому не отдам свои Чиатуры!
С ними пройду шальные венцы,
Любовку влача на цепочке глетчера
На пустырь Голгофы плетусь сквозь пески!*

ПОЛУЖИВОЙ

*Мой рот косноязычен
И зубы жёлты,
Губа дрожит и нос
Таит испуганность иголки...
Мои глаза туманны, серы,
В них блики желтые играют.
И голос шепчет закоснелый,
И руки — воск — бесследно
тают...*

*Дыр бул щыл
убешщур
скуп
вы со бу
р л эз*

≡

*Жижка сквернословий
мой крики
самозванные
не надо к ним
предисловья
— я весь хорош
даже бранный!*

СМЕРТЬ ХУДОЖНИКА

Привыкнув ко всем безобразьям
искал я их днем с фонарем
но увы! износились проказы
не забыться мне ни на чем!
и взор устремивши к бесплотным
я тихо но твердо сказал:
мир вовсе не рвотное —
и мордой уткнулся в Обводный канал...

Я прожарил свой мозг на железном пруте
Добавляя перцу румян и кислот
Чтобы он понравился музке тебе
Больше чем размазанный Игоря Северянина торт
Чтоб ты вкушала щечоча ноготком
Пахнувший терпентином смочёк
Сердце мое будет кувырком
Как у нервного Кубелика
СМЫЧЁК

У меня изумрудно неприличен каждый кусок
Костюм покроя шокинг
во рту раскаленная клеем облатка
И в глазах никакого порядка...
Публика выходит через отпадающий рот
а мысли сыро-хромающие — совсем наоборот!
я в ЗЕРКАЛЕ НЕ ОТРАЖАЮСЬ..

ПОУЧЕНИЯ

Надо питать интуицию
Холить ее ДОЛГИМ СНОМ
САББАДИЛОМ БЕЛКИ ЕЕ ВЫСТИРАТЬ
Убегая НИЧТЫ!
Не пейте ночами керосина!
Глотайте воздержанней
вино!..

По просьбе дам,
хвостом помазав губы,
я заговорил на свежерыбьем языке!
Оцепенели мужья все
от новых ригилий:
КАРУБЫ
СЕМЕЕ МИР,
БЛИЖИ МОБЕ!..
задыхается от радости хвост рыбий.

ОКНО В АЗИЮ

ФОТО АЛЬБЕРТА ИЛОНОВА

Мало кто, особенно из молодых, знает, как сто сорок лет назад, когда России было нужно прорубить «окно в Азию», капитан-лейтенант Невельской основал в низовьях Амура Николаевский пост и поднял там русский флаг. Земли по берегам и в устье великой реки считались в те времена ничейными, но на них жили племена айну и гиляков, как назывались тогда нивхи.

У Николаевска-на-Амуре странная судьба. Не успев родиться, он как-то сразу состарился, и уже через сорок пять лет «город имел вид как бы временного поселка, и притом разваливающегося. Большинство домов просто лачуги... две тюрьмы, из которых одна была специально предназначена для временного пребывания ссыльно-каторжных на пути к Сахалину. Под самым городом лес частью вырублен, частью истреблен пожарами, которые бывают нередко по неосторожности горожан», а численность их — «от тысячи до тысячи пятисот душ».

Этот безрадостный пейзаж оттиснут в роскошном томе популярного до революции издания «Живописная Россия» за 1895 год. Издавайся он ныне — что оттиснуть? Убыточный судостроительный завод — средоточие рабочей силы города? Многоячейные скучные новостройки с бездействующими лифтами и помойками на лестничных площадках — «строения жилого типа»?

Но худо-бедно сегодняшний Николаевск помнит своего прародителя. Наименованный Невельским в честь святого Николая, покровителя мореплавателей, город не менял свое название даже в годы Советской власти. Обелиск на набережной, посвященный столетию со дня рождения Г. И. Невельского, остался цел, несмотря на то, что возведен еще при цариз-

ме, в 1914 году. А могла бы и его постичь участь Н. Н. Муравьева-Амурского, свергнутого с пьедестала памятника в Хабаровске. Или, например, горькая судьба старинного кладбища в Николаевске, превращенного ныне в парк «живых и мертвых», где подростки лихо развлекаются на электроаттракционах и танцплощадке...

Одна из главных здешних «достопримечательностей» — ГОК. Горно-обогащительный комбинат, этаким дальневосточный Клондайк. И, куда бы мы ни глядели из нынешнего «окна в Азию», взгляд упрется в те или иные приметы ГОКа.

Соорудил комбинат в Николаевске завод домостроительных деталей «Мобиль». Как говорят, «дали городу». Это правда: несколько домов перепало и Николаевску. Но по присказке «яичко сварит, да сам и облупит», «варенным яичком» стал возведенный за сто с лишним километров гоковский поселок Многовершинный. Туда главным образом и везут домостроительные детали с завода. Секретарь горкома партии В. П. Коншин сообщил, что ожидают еще подарки с барского стола: ГОК обещал построить гостиницу, а также транспортное предприятие за городом.

За что же такие щедрые милости? Пока уклонюсь от ответа, но напомним эпизод лета прошлого года. Очередной пленум городского партийного комитета настойчиво прерывали телефонные звонки: горит тайга, пал подошел близко к складам, где ГОК хранит свою взрывчатку. От складов до Николаевска рукой подать.

Речной порт, где выгружаются емкости с ядовитым цианидом натрия, адресованные тому же ГОКу, и вовсе в городе. Добавьте к этой картине контейнеры со сжижен-

ным хлором, крайне взрывоопасным при транспортировке (а его везут из Усолья-Сибирского Иркутской области), — и станет понятна напряженность общественного мнения на Верхнем Амуре.

Что же там за адская кухня, на Многовершинном?

...Совершенным был создан уголок природы, глубокой чашей лежавший «в ладонях гор, расколотых стозвучным ломом времени». Вокруг чаши возносилось много вершин, увенчанных вечнозеленой короной деревьев. Природа, которой суждено жить высоко, особенно молитвенно строга и чиста.

Была...

В семидесятые годы министерский перст указал на «чашу» как на строительный полигон ГОКа. Теперь место это напоминает котел кочеварки: сопки вокруг намертво выгорели и превратились в угольные терриконы. Полыхают пожары и в самом «котле»: регулярно, из года в год горят промтоварные магазины. Контингент поселка — типичный для всех наших великих и малых «строек века»: внизу за глухим забором в бараках — «химики» (и соответственно спецкомендатура), на склоне сопки в палатках — солдаты охраны. Все здесь — люди, унылые сколище жилищ, соцкультбытучреждений — кажется только придатком к молоху — золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ), где с помощью цианидов натрия будут отделять от руды золото, а шламы, пропитанные ядовитым веществом, нейтрализовывать тоже небезобидным сжиженным хлором.

Ну и пусть себе «отделяют», «нейтрализуют», коли так принято во всем мире. Нет, не пусть! Документ, который я хочу обнародовать, называется длинно, но вчитайтесь: «Акт экспертного заключения комиссии по проведению экспертизы проекта и РАССЛЕДО-

ВАНИЯ АВАРИЙНОГО СОСТОЯНИЯ строящегося хвостохранилища Многовершинной золотоизвлекательной фабрики».

Поясню термин: хвостохранилище — гигантский искусственный резервуар под открытым небом, куда по трубопроводу поступает отработанная и якобы обезвреженная руда в виде пульпы, шлама — «хвостов». Еще не вступила в рабочий процесс фабрика, а хвостохранилище уже выдало модель непоправимой беды. Весной прошлого года было замечено, что уровень талых вод, скопившихся в нем, понижается, значит, воды где-то просачиваются в грунт.

Теперь представьте, что в резервуаре не вода, а пульпа, отравленная «проскочившими» цианидами натрия... Знаю от специалистов, что просачивание такое приведет к гибели нерестовых озер Орель и Чля (на берегах которых тоже есть поселки), а от них через протоку Пальминскую — и к отравлению низовьев реки Амур.

Но только ли рыба погибнет за металл?! Страшно подумать: от ГОКа зависит, жить или умереть этой земле. Комбинат — детище бывшего Минцветмета и, конечно, краевых партийной и Советской властей. За спиной высоких покровителей управленческий аппарат ГОКа, по сути, вне досягаемости общественной инспекции. Корреспонденты городской газеты вынуждены посещать Многовершинный инкогнито, без командировок, чтобы не вытолкали взащей.

Железный занавес еще недавно запретной темы («А что же вы хотите — золото!») так и висит до сих пор над предприятием-гигантом, где рудник числится вторым в Союзе по добыче золота. Надо было слышать, с каким яростным ожесточением начальник ПТО В. Проценко отметал «болтовню о весенней аварии на хвостохрани-

лище». «Приезд комиссии из Главалмаззолота СССР, — заявил он, — я приурочиваю к контролю за животрепещущими объектами». И только. И еще назойливый в течение всей нашей совместной поездки по золотому королевству рефрен: «Ничего тут не растет, все привозное, а у нас коэффициент (к зарплате. — А. Ч.), как в средней полосе России».

В самой системе оплаты труда добытчиков государством заложено право на разорение земли. Стоимость грамма золота определяется без учета тысяч тонн перевороченной земли, без учета расходов на рекультивацию тысяч гектаров, с которых содрали гумусный скальп, изменили русло нерестовых рек, уничтожили их структуру. Наш русский мужик при такой системе отсчета здесь, на приисках, превращается в наемного рабочего, которому глубоко наплевать на «потоп после нас». Эту же психологию временщиков с ведомо краевых властей внедряли и в планово-экономическую основу ГОКа. Восстановление загубленных земель, очистка загрязненных рек здесь на уровне фикции, «для отвода глаз».

Мне памятен рассказ одного молодого рабочего.

— Едем с вахты. Ребята в кузове кто спит, кто кемарит. Я вокруг гляжу. Мать моя, мамочка! Да неужто это мы сами такое натворили! На родной-то земле... Отольются, думаю, тебе, Генка, мышканы слезки, и буровые эти, и нефтепроводы, и факелы газовые...

Парень был с тюменской земли...

В Многовершинном я слышала столь же покаянные монологи и видела начало возмездия.

Город Николаевск весь в рубцах, язвах, шрамах нивхской проблемы. Самый восточный город

Хабаровского края, по сути, столица нижнеамурских нивхов. Их древние культы малодоступны сегодняшним русским. Для них Дальний Восток — магазин «Дары природы», где все можно хапать бесплатно, выдирать с корнем.

Варварскую колонизацию мы много лет казуистически называли «освоением богатств Дальнего Востока». Бумеранг сработал, и дряхлеющая, но упорно молодящаяся власть оказалась у почти разбитого корыта. Самое страшное, что искусственные ненасытные челюсти в результате политики ассимиляции сжевали и культуру амурских коренных народов. Еще в 1927-м на пленуме центрального комитета Севера (был такой!) «некоторые товарищи» утверждали, что «чем скорее звенки и звены якутизируются, а кто-то обрусееет, тем лучше». Именно эта политика и оставалась главной, какими бы лживыми теориями ее ни камуфлировали.

Правда, термины «русификация», «обрусение» представляются мне неверными. Потому что ведь не только нивхи, нанайцы, якуты теряли родной язык и национальные традиции, но прежде всего русский народ, из которого формировалась беспмятная «общность советских людей».

Приход россиян на берега Амура не нес в себе фатальной гибели для нивхов. В те времена понятие «русский» значило «православный», для которого в идеале не было «ни еллина, ни иудея». Нехристианским племенам потомственный дворянин Г. И. Невельской и воспитанная им команда старались внушить, что «пришли к ним не с тем, чтобы поработить, ...но, напротив, защищать их от всяких насилий и НЕ КАСАТЬСЯ ИХ ОБЫЧАЕВ».

В тридцатые годы нового века амурским народам прививали ка-

зарменный социализм. Свидетель «прививок» — старый дом в Николаевске, который недавно вдруг осел, и из-под земли на всеобщее обозрение обнажились камеры, где пытали и расстреливали нивхов и русских, не угодных «самому передовому в мире» строю. Возможно, там покалечили и старейшину нивхов Николая Пухту, известного мудрой справедливостью, добротой, знанием тонкостей восточного этикета. Его дочь Мария Пухта, ученый-этнограф, помнит, как он беседовал с китайскими, корейскими, негидальскими гостями на их родном языке, как заботливо опекал в своем доме семью Сидоренко, русских раскулаченных ссыльных. Детям говорил: «Это наши друзья». Горькая порука еще раз связала негласным братством интернациональных изгоев сталинщины.

Но отчего же и сегодня все чаще убеждаемся, к великому стыду, в реальности дискриминации «малочисленных» (как теперь, заигрывая, говорят вместо «малых») народов, в бытовом шовинизме — буквально на каждом марше нашей социальной лестницы?

Когда-то в школе мы с гордостью учили слова тогдашнего генерального секретаря Маленкова: «Мы уже не те русские, какими были до семнадцатого года». Увы, действительно не те. Вот Карл Лукс, когда-то рыцарски поверивший в благородство революционных перемен, был «тот». Он ратовал за «северные буквари, словари и грамматики на всех основных языках бесписьменных народов». Он создал в Хабаровске в двадцать девятом году техникум народов Севера, который через три года, уже после трагической, нерасследованной смерти Карла Яновича, был перенесен в Нико-









лаевск-на-Амуре. Первых сто сорок студентов-северян Лукс знал лично. Им вверял создание словарей, учебников национальной письменности.

Жиденский музей в существующем и поныне «том самом» техникуме, преобразованном в педучилище, напоминает о прежних подвижниках просвещения. В училище — бывшие нивхи, бывшие нанайцы и т. д. Только внешне — разрезом глаз, цветом волос, смуглотой кожи — они отличаются от русских соучеников. В остальном — полное сходство: интересов, образа жизни, языка, на котором говорят и, главное, думают. Нивхский же изучают как иностранный — несколько часов в неделю.

Галина Григорьевна Скрябина, классный руководитель и преподаватель музыки, полагает, что в училище делают для северян ВСЕ. Она наизусть знает, сколько чего причитается ее подопечным: на одежду, еду, стипендию да плюс каждый месяц выдают пайку икры и красной рыбы. (В этом лишь, пожалуй, и заключаются «национальные особенности» бывшего техникума народов Севера.)

Только один живой, истинно национальный родничок бьет сегодня в Николаевске. Пожилая Мария Семеновна Пимгун — оазис, островок среди все поглотившей, выродившейся массовой современной «культуры». Тих, но глубокий родничок. Переливается он старинными песнями нивхов.

Ансамбль «Эри» — «Ручеек», созданный энтузиастом Аллой Кондино, принадлежит к чистому роднику нивхского фольклора, впитывает, аранжирует, использует в своих танцевальных сценических композициях. Продолжает традиции? И теперь уже нечего за них опасаться? Буклет об ансамбле «Эри», с «комсомольским задом»

написанный методистом Г. Орловым, так и заявляет: «Опасения напрасны». (Знакомый стереотип бодрячества.) Ему и невеждо — по наивности, по невежеству? — что клубная самодеятельность — это не повседневная жизнь традиций, а только стилизованное напоминание о них, отголосок. Магические ритуальные действия не творились на сцене, им не предшествовали «экзерсисы балетмейстера», участники обрядовых празднеств не снимали вместе с одеждой свой родной язык, чтобы, выйдя за кулисы, изъясняться по-русски.

Рождение национальных ансамблей по глубинному счету знак беды. И последнее прибежище сданной в музей, на эстраду никому уже не понятной культуры.

Краевое и николаевское руководство ответственно за то, что нижеамурские нивхи не имеют никакого, даже фиктивного, как у нанайцев в Троицком, культурного центра; что для нивхских детей не создано ни одной художественной школы; что нивхские женщины не работают на художественные промыслы; что первые нивхские кооперативы, хотевшие возродить народные ремесла, лишены этих возможностей. «Мы, аборигены, находясь на родной земле, лишены всех прав и в период оживленной перестройки во всех слоях общества», — это слова из письма отчаявшихся людей, членов нивхского кооператива «Лунь — Пандь». Письмо отправлено в самые высокие инстанции — будет ли деловой ответ?..

Так что же — все? Песенка спета? И остается говорить о духовном достоянии нивхов Нижнего Амура только в прошедшем времени?

В душе Марии Николаевны Пухты еще теплится некоторая надежда:

— Невосполнимы потери, да. Старые рыбаки говорят: «Отправь молодого на рыбалку, он заездок не сможет поставить, уже не нивх он». И все-таки генотип не весь утерян...

В путевых заметках Г. И. Невельского содержится, на мой взгляд, программа «умных перемен». «Они скоро поняли,— пишет он,— что мы не хотим благодетельствовать им нашими реформами, несродными им, и, наконец, что мы глубоко вникаем в их нравы и обычаи».

«Несродные реформы» — те, что предлагаются из «несродных» представлений о жизни, волей приказа сверху, а не из глубины народа. Но загляните в один из свежих документов, созданный в отделе по народностям Севера Хабаровского крайисполкома. Власть имущие устроители судеб северян, и на молоке обжегшись, не дуют на воду. Все с тех же сановных позиций, как и шестьдесят лет назад, оправдывают право грубого вмешательства в устройство жизни северян. Цитирую: «Образование комитета содействия (в 1925 году) было вызвано тем, что народности Севера, даже в условиях ликвидации колониального гнета, не могли самостоятельно решить задачи прогрессивного развития и нуждались в особой помощи и защите национальных интересов».

«Успешное решение задач прогрессивного развития» и довело сегодняшних коренных жителей Дальнего Востока, имевших уникальную древнюю, тысячелетиями развивавшуюся САМОСТОЯТЕЛЬНО культуру, до почти полного исчезновения их национального лица.

А между тем затерянные в просторах амурского устья полумертвые нивхские селения обретают крохотную надежду на возрожде-

ние их национального и человеческого достоинства. В мае прошлого года в Алеевке, из которой — через пролив — виден остров Сахалин, был сход. Из разных мест съехались молодые и немолодые нивхи. Решали, как дальше жить. В этом добровольном стремлении объединиться, выйти из пагубной разобщенности им видится главный шанс на спасение. Пока нивхи определяют свое будущее в формах, им привычных, хоть и некогда навязанных: сельские Советы, коллективные хозяйства. Может быть, потому, что помнят не столь давний «золотой век». Это сейчас в Алеевке отделение колхоза, а точнее сказать — рыболовецкая бригада, да и в ту попасть непросто. Только один из членов семьи имеет право рыbachить в путину, дети до шестнадцати лет вообще отстранены от промысла рыбы — потомственного занятия нивхов. Таковы феодальные законы, принятые в колхозе «Ленинец», правление которого от Алеевки за тридевять земель, в селе Иннокентьевка. До объединения «Зеленая роща» (так называли прежде алеевский колхоз) была миллионером. На звероферме разводили черно-бурых лисиц, на подледном лове зимой добывали кашугу, в кетовые путины и стар и млад знал и использовал способы традиционного лова...

Нивхи хотят вернуть золотой век на берега Амура. На сходе собрали подписи: за создание национального сельского Совета; за создание национального колхоза; за приоритетное пользование земельными, лесными, водными угодьями, которые в течение тысячелетий были реальным домом их предков, хранивших благодатную силу кормилицы-Природы.

Изменение статуса национально-го села повлечет за собой много проблем. И одна из них — не оби-

деть русских старожилов, вросших в национальные села, где давно делят все беды пополам. Не с личными, а общими обидами пришел в дом старого Таука, узнав о приезде корреспондентов, Гавриил Дементьевич Кандалинцев, после фронта отрубивший в алевском колхозе годы и годы... Это в период его правления колхоз благоденствовал, и была школа, и дети не бегали учиться за три километра в поселок Пронге в метели, в лютые морозы; при нем давали лицензии нивхским охотникам на морского зверя, на оленя. «Оленя, нерпу мы лет двадцать в глаза не видели,— говорит Лидия Секан.— Если нерпа попадается в сеть на заездке, русские шкуру себе берут, мясо нам. Набросимся, как собаки. В одном доме наварим, всей деревней едим».

Бесконечен перечень унижений нивхского народа (нанайского, звенкского и других). Мне, русской, стыдно смотреть в глаза старому нивху Григорию Тауку, который был судим и платил огромный штраф только за то, что ловил рыбу древним методом своих предков — сетью...

Не это ли постоянное давление и вызвало искусственную урбанизацию — бегство в города коренных жителей Приамурья, Курил, Камчатки? А в городах они окончательно лишались национальной почвы под ногами.

...Говорим нынче с пафосом о переменах.

Но пришло ли оно, время перемен, сюда, на «нашенский» Дальний Восток?

— Если нас поддержат... — так начинали свою речь почти все старые нивхи, с кем довелось говорить.

Если поддержат законодательно... Если выделяют часть колхозного флота... Если разрешат сда-

вать улов на выгодную колхозную базу... Если их представители войдут в состав районной и краевой власти... Если удастся отстоять закон о приоритетном природопользовании... Если народам дадут право самостоятельно определять формы своего бытия... Если...

Мало где найдешь лучшее, чем музей в Николаевске, пособие по изучению вчерашней идеологии...



68

ДЕВОЧКА С БУЖЕТОМ НА РУКАХ У ВОЖДЯ

СУДЬБЫ



**ЗНГЕЛЬСИНА
МАРКИЗОВА,**
кандидат
исторических
наук

С нынешним интересом к себе она мидится, как с неизбежностью: «Может, и впрямь обо мне пора узнать правду? Нас не так уж много осталось — родом из того времени...»

69

Моя биография кажется специально созданной для разоблачения сталинизма: «отец народов» сделал из меня символ «счастливого детства» — и уничтожил моих родителей. Тут уж нечего придумывать — все лежит на поверхности. Но именно этим, поверхностным, слоем и ограничивалось большинство журналистов, которые интервьюировали меня в последние два года — в результате я попала в стереотип «дочь наркома». Ничего удивительного, что нынешняя пресса использует старые клише и шаблоны, хуже другое: она зачастую пренебрегает документальностью. Видимо, поэтому журналисты в спешке путали не только давние сведения, но и название улицы, на которой сейчас живу, а меня ввергали в глубокую старость и бедность, заставляя лишь причитать: «Будь проклят Сталин»...

И все же я благодарна нашей прессе: она заставила меня глубже задуматься о своей судьбе, соотнеся ее с судьбой Отечества.

Мой отец, Ардан Ангадыкович Маркизов, был участником первых коммунистических организаций в Бурятии, партизаном, затем партийным, советским работником. Сам из бедной крестьянской семьи, он во второй половине двадцатых годов занимал пост наркома РКИ Бурят-Монгольской АССР, а к началу тридцатых стал наркомом земледелия республики и вторым секретарем обкома партии. Участвовал в «съезде победителей» и привез с него, как помню, шелком вытканый трехгорцами портрет Сталина... А через два года мне и самой довелось встретиться с «вождем всех времен и народов»...

В январе 1936 года состоялся прием руководителями партии и правительства делегации нашей республики. Я как раз жила в Москве — мама, Доминика Федоровна, училась тогда в мединституте. И вдвоем мы уговорили отца, прибывшего с делегацией, взять и меня в Кремль. Там все было очень торжественно, свет «юпитеров» бил в глаза. Начались речи — на русском и бурятском языках. Сначала я внимательно слушала их, а затем решила, что пора преподнести букеты, которые держала в руках для Сталина и Ворошилова...

Как это ни покажется странным, я, семилетняя, знала всех вождей, сидевших в президиуме. Впрочем, в любой семье политического деятеля дети наверняка знали всех вождей. (Помню, мой старший брат Владилен предложил 1 декабря 1934 года устроить «торжественные похороны» Сергея Мироновича Кирова у себя дома тайком от родителей. Мне только-только стукнуло 6 лет, а ему — 8. Пели: «Мы жертвою пали в борьбе роковой...» Как в воду глядели.)

Итак, в Кремле...

Я подошла к Сталину почему-то со спины, он обернулся и поднял меня на стол президиума. Я произнесла очень короткую речь: «Это от детей Бурят-Монгольской республики Иосифу Виссарионовичу Сталину». Бурные аплодисменты, вспышки блицев, все встанут... Совсем недавно мне довелось увидеть эти кадры из киноархива — живого отца, как я сижу рядом с ним, веселая, не ведая о грядущем...

В конце встречи членам делегации (и мне в том числе) вручили патефоны. Кроме того, мне преподнесли часы на цепочке, именные: «Геле Маркизовой от вождя партии И. В. Сталина». Фотография вождя с бурятской девочкой на руках мгновенно была растиражирована в тысячах плакатов (и много лет спустя их можно было встретить всюду — в больницах и школах). С легкой руки скульптора Г. Д. Лаврова, изваявшего наш парный портрет в мраморе, композиция стала называться «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Меня стали засыпать письмами и подарками (чуть позже, в Улан-Удэ, получила велосипед и от Никиты Хрущева).

Я стала символом. Девочек с букетами на руках у вождей (союзного или республиканского уровня) одевали в матроски и стригли им челки под плакатную Гелю Маркизову...

Что же было потом?

В декабре 1937 года отца арестовали. Пришла из школы, все вверх дном в доме, мама в слезах. Ошибка, нелепость? Еще бы: только недавно ведь его наградили орденом Трудового Красного Знамени. А теперь вот — «десять лет без права переписки». Следом забрали и маму. Жизнь в школе становилась все более невыносимой: друзья и подруги сторонились нас

с братом, иные родители не считали нужным сдерживаться в высказываниях по нашему поводу. Поэтому, когда маму через год выпустили из тюрьмы с предписанием в 48 часов покинуть город, лично я той ссылке была даже рада. Авошь хуже не будет...

Меня часто спрашивают: что же я думала и чувствовала, когда вручала цветы Сталину? Или позже, получив известие о реабилитации отца — сперва гражданской, а через 35 лет и партийной? Наконец, что я испытала, получив в качестве компенсации за жизнь отца его двухмесячную зарплату? Ответить трудно...

Действительно, почему многие из миллионов жертв безропотно позволяли себя убивать, мало того, шли на убой, славя палача?

Мне кажется, что для тех страшных операций, которые производил над народом Великий хирург, или Великий костолом, необходимы были какие-то мощные обезболивающие средства и, само собой, общий наркоз, а отнюдь не местная анестезия — иначе ни один народ не способен был бы вынести подобных операций.

Но обезболивание было одновременно и обезволиванием, расчеловечиванием. Это средство успешно действовало лишь вместе с универсальным рецептом: «Не надо драматизировать!» Настолько универсальным, что его прописывают и поныне (как при менее болезненных симптомах — вроде нехватки мыла, так и в случаях действительных трагедий международной резни). Из общественного сознания исключалась всякая трагедийность восприятия — разрешалась разве что «оптимистическая трагедия», которая на деле-то выродилась скорее в трагический оптимизм. Не тут ли кро-

ются корни всеобщей нашей индифферентности?

В немалой степени боль снималась и за счет распределения страданий на всех — через систему массового со-участия как в страданиях, так и в радостях. Именно отсюда пошли представления о **наших** тюрьмах, **наших** законах как самых гуманных, **наших** бюрократях и, наконец, **наших** палачах. И прочие извращенные формы со-участия, при которых ответственность за преступления возлагается вовсе не на активистов и подручных Великого костолома, а на всех нас, на нашу общую историю. Все это охранялось еще одним стойким стереотипом общественного сознания: «Не надо обобщений!» Он-то и позволял все новые и новые раны относить как бы на периферию: да, происходит, но ведь не с нами же и нас не касается. Сложилось даже нечто вроде обратной зависимости: чем больше выявлено «отдельных недостатков», тем крепче духовное здоровье в целом...

Стилем жизни стал террор против человека (под знаменем борьбы за всенародное благо), и едва ли не главным чувством на долгие годы — страх. Но нет правил без исключения, и люди все равно оставались людьми. Я до сих пор вспоминаю доброту и смелость узбека Ходжаева из захолустного городка Туркестана, он приютил нас, ссыльных, в своем доме, хоть и у самого была большая семья... Мама работала там в детской больнице да еще обшивала местных модниц, чтобы как-то уйти от нужды, — готовилась к жизни долгой и трудной. Ее неожиданная (в тридцать два года!) необъяснимая смерть была для меня и брата страшным ударом. Мы потеряли самого родного, близкого человека; к тому же лишь приглашение московской тети Анны Анга-

дыковны, младшей сестры отца, спасло нас от отправки в детский дом или еще куда похуже. Это и позволило в итоге брату стать профессиональным военным, а мне окончить школу и поступить на истфак МГУ. (На истфаке же, двумя курсами старше, училась Светлана Сталина...)

...Ежедневно в нас впечатывалось: «Народ и партия едины», «Слава КПСС» и прочее. Не важно, кто и насколько в это верит, главное, все должно восприниматься естественно — как смена времен года. «Природность» сталинского государства обернулась трагическим фарсом в период стагнации, когда политическое правление стало сплошь геронтократическим (причем старейшим, но далеко не мудрейшим), когда надежды на какое-либо изменение данного общества связывались лишь с физической смертью носителя верховного начала (снятие Хрущева — исключение). Ладно Сталин... Как могли мы 20 лет безропотно терпеть Брежнева, как могли согласиться на афганский «десант»? Но соглашались, терпели...

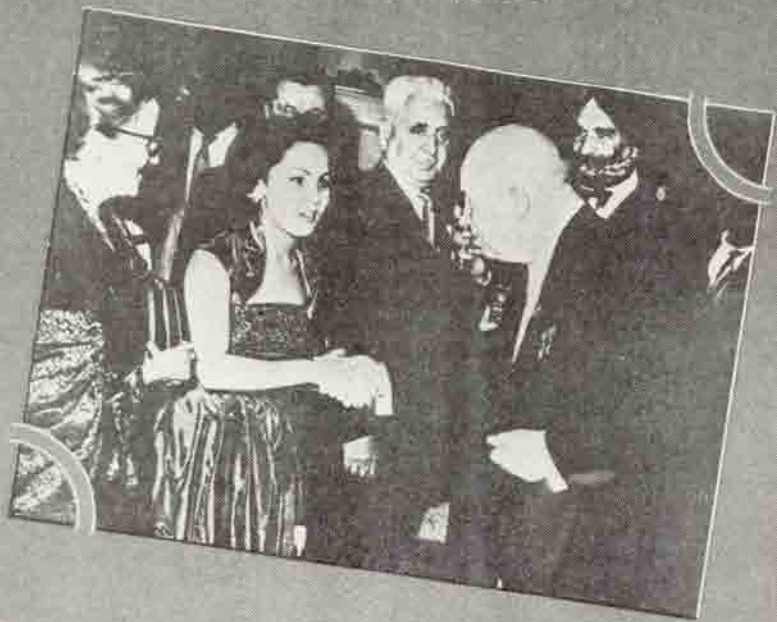
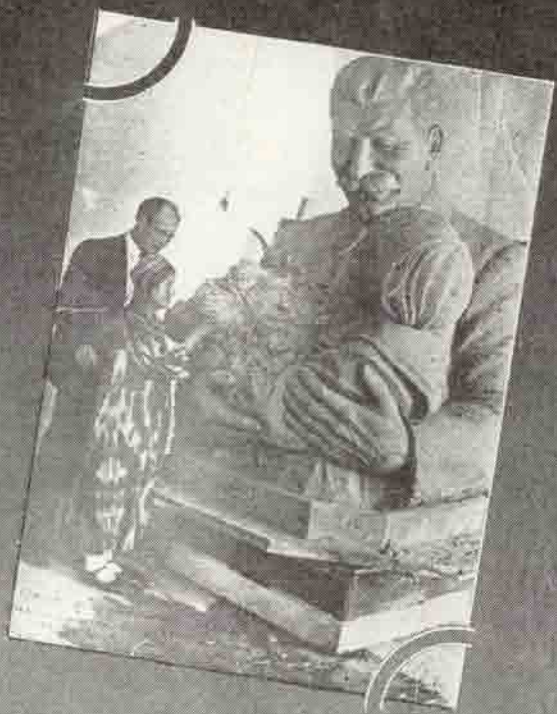
Единственной формой противостояния сталинскому общественному бытию было противостояние человека — не как члена общества или класса, но как индивида. Именно эту позицию, как мне кажется, и выразило движение диссидентов 60—70-х годов, которых гнали и клеймили публично, обвиняя во всех смертных грехах, но именно они инициировали нашу нынешнюю перестройку сознания. Их тогда было немного, переступивших свой страх: их трагедии, увы, до сих пор для нас — лишь частный случай...

Но вернемся к средствам, с помощью которых достигался анабиоз общества и атрофия всех чувств, кроме «чувства глубокого удовлетворения». Если исключе-

ние трагедийного из общественно-го сознания в первую очередь оскорило искусство, одарив нас «картинками с выставки» взамен реальной жизни, то запрет на обобщение поразил в самое сердце научную мысль: выхолощенная наука свелась к фразе или ритуалу, а понятие «теоретическое» стало синонимом бессодержательно-абстрактного. Боязнь обобщений, тем более исторических аналогий, скрытого подтекста была столь сильна, что сама история, какие-то события в ней могли стать секретными. Примеров такой боязни довольно до сих пор. Свою диссертацию об отношениях Вьетнама и Камбоджи в XIX веке (уж какие там архивы ГУЛАГа!) мне в 1975 году пришлось защищать в «закрытом порядке».

На какой же основе возникло такое общественное сознание, откуда взялся «сталинский монстр» — чудовищный провал истории? Уникальность этого образования очевидна (кому хочется, может лишний раз умилиться и такой нашей несхожести с иными прочими): в сталинском социуме индивид не был изолированным атомом — он воплощал в себе «монолитное единство» общества, которое, в свою очередь, как бы концентрировалось в личности вождя.

...Кстати, о «вождях». Мне еще раз довелось увидеть некоторых из них через четверть века. В 1961 году, когда я работала в Индии, туда приезжали К. Ворошилов, Н. Хрущев и другие. Поскольку на приемах тех присутствовал Дж. Неру, контраст — не в пользу наших лидеров — был очевидным. Из всех разве что Н. С. Хрущев выделялся живым и цепким взглядом, хотя быть к нему более снисходительной, чем к остальным, у меня нет оснований: мой муж, Марат Чешков, провел 6 лет в хру-



щевских лагерях по пресловутой статье 58, п. 10. В разгар «оттепели» молодые ученые-историки всерьез поверили, что смогут своими идеями пособить Родине (ни о какой «реставрации капитализма», понятно, и речи не было). Результат идеализма был печален: сроки до 10 лет...

После невнятной «речи» К. Е. Ворошилова перед русской колонией в Дели (от слов которой осталось лишь ощущение полнейшего пренебрежения к слушателям) я подошла к нему и напомнила: Кремль, январь 36-го.

— Как же, как же, отлично помню, — и даже взгляд его на секунду прояснился и снова потускнел, — как же...

Больше я его ни о чем не спрашивала. Да и разве смог бы он ответить на все мои «почему» и «зачем»?

Все это, на мой взгляд, имеет отношение к нашей перестройке. Говорить о ее перспективах и методах можно, лишь ответив на вопрос: что же мы перестраиваем? И во что? Ясно, что ломка и преобразование всего сталинского наследия — задача крайне сложная, решение ее потребует, видимо, целой эпохи. Слишком уж велика инерция, слишком въелась в кровь «естественность» сложившихся социальных отношений, да и воспринимались они массовым сознанием — вплоть до последнего времени — как единственно возможные.

Грубость, бесцветность и угрюмость — все это стиль управления государством, памятный по застойным годам. Поражает и сейчас какое-то олимпийское спокойствие высшего руководства, которое ведет дело так, словно бы страна не стоит на краю пропасти, будто не было ни забастовок, ни других «пиковых» ситуаций, — ре-

акция верхов прежняя... И думается мне, что причина этого спокойствия не столько в хладнокровии и трезвом расчете, сколько в неспособности осознать, что приходит конец прежнему «естественному» ходу вещей.

Ведь если партия и инициировала перестройку, то весьма своеобразным способом, предварительно устранив тех, кто пытался это сделать до нее и вне ее. И только разве что устойчивым духом комчванства можно объяснить постоянные декларации о партии как организаторе, вдохновителе и авангарде...

Да, успешность всей нашей деятельности во многом зависит от поддержки и помощи партийных организаций. Потому-то и необходимо, чтобы партия уже сейчас открыто и официально признала свою историческую ответственность за все события сталинской эпохи и, не ссылаясь ни на какие достижения или объективные трудности, четко и однозначно дала оценку сталинизму. Пусть она также оценит свою «руководящую и направляющую» роль в послевоенных кампаниях против «космополитов» и в гонениях на диссидентов. Только полное осуждение той практики поможет восстановить доверие к партии и уберечь нас всех от новых скорбных мемориалов...

Хватит с нас!

Всякий раз, когда я слышу: «Все лучшее — детям» — и вижу, что реально делается для них (и для моих детей тоже, а теперь вот и для моих внуков), я невольно вспоминаю свою историю со «счастливым детством» и никак не могу избавиться от аналогии.

Кому только сказать «спасибо» теперь?..

Записал ВИКТОР КАЛИНИН.

СКОЛЬКО ЛИЦ У МОРАЛИ ?

ИРИНА КУЗНЕЦОВА,
доктор
философских
наук

**РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТОМ,
КАКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ
ЧЕЛОВЕКУ
БЫТЬ НЕПОРЯДОЧНЫМ**

Все больше разговоров о нравственности. Все очевиднее связь экономических, экологических и других проблем с падением нравов. Старшие обвиняют во всем молодежь: «У вас нет идеалов! Вам бы только балдеть и «Маленькую Веру» смотреть!» Молодежь обвиняет старших: «Ваши слова расходятся с делами, поэтому у нас и веры нет...»

Что же произошло с нами? Почему стали стыдиться нравствен-

ной атмосферы, в которой еще недавно, казалось бы, жили?

Хочу поразмышлять с вами, читатель, о нашей истории и сегодняшнем дне, призвав на помощь Иммануила Канта, великого философа, создавшего могучее этическое учение.

Вспомним историю Отечества, те годы, что в сознании слились с образами героев оптимистических фильмов, с бодрими песнями и убеждением, что страна совер-

шает мощное движение вперед, будучи маяком свободы для всего человечества.

В те предвоенные годы у людей были идеалы, были герои, «с которых делали жизнь». Надо полагать, и моральное сознание было высоким.

Но сейчас мы многое узнаем о подлинных творцах революции, а не тех, кого представлял «Краткий курс истории ВКП(б)». Узнаем о ленинской гвардии, о тех военачальниках, которые привели Красную Армию к победе и чьи имена на десятилетия были вычеркнуты из истории страны. И вот одна из загадок, связанная с оценкой нравственного состояния общества: как получилось, что революционеры, прошедшие царские тюрьмы, каторгу, ссылку, признавались в немыслимом — шпионаже, терроризме, оговаривании товарищей? Только ли в физических пытках?

И вторая загадка. Почему миллионы людей верили в эту фантазмагорию? Почему при таком глубоком уважении к В. И. Ленину люди легко принимали утверждения, что его ближайшие соратники оказались агентами разных разведок, врагами народа? Разве никому не приходила мысль, что если окружение Ленина — агенты империализма, то недалеко от правды и царская охранка, объявлявшая самого Ленина немецким шпионом?

Разумеется, были люди, понимавшие суть происходящего. Но народ, который никогда не ошибается, почему он принял эту ложь? Почему миллионы людей на митингах и демонстрациях требовали смерти своих вчерашних героев? Как обстоит здесь дело с нравственностью?

Открываю серый томик Канта «Трактаты и письма», листаю работу «Религия в пределах только разума».

«Мораль, поскольку она основана на понятии о человеке как существе свободном, но именно поэтому и связывающем себя безусловными законами посредством своего разума, не нуждается ни в идее о другом существе над ним, чтобы познать свой долг, ни в других мотивах, кроме самого закона, чтобы этот долг исполнить.

По крайней мере это вина самого человека, если в нем имеется такая потребность, и тогда ему уже нельзя помочь ничем другим; ведь то, что возникает не из него самого и его свободы, не может заменить ему отсутствие моральности».

Итак, Кант говорит о моральном законе, который не требует каких-либо оправданий, и о потребности людей слабых найти оправдания, когда одни поступают вопреки морали. Чтобы попытаться понять происходящее в нашей стране в сталинское время, будем иметь в виду это высказывание Канта.

Нравственность стали рассматривать как средство для достижения цели — построения социализма. Мораль заменили представлениями о революционной необходимости. Высшими ценностями стали требования партийной дисциплины. Известно, что Сталину удавалось добиться арифметического большинства. И ленинская гвардия подчинялась этому большинству, даже если сознавала, что позиция большинства наносит удар по партии и гибельна для страны. Так было, например, со сталинской коллективизацией — акцией, совершенно противоположной точке зрения Ленина на кооперацию в сельском хозяйстве. При этом речь шла не о безусловных законах морали, а о ложно понятом принципе демократического централизма, заменившем в данном случае нравственные принципы.

Вместо моральных ценностей стали фигурировать требования единства взглядов, нетерпимости к оппозиции, к инакомыслию. Это, кстати, до сих пор ярко проявляется в нашем обществе. Старая ленинская гвардия строго придерживалась принципа: кто не с нами, тот против нас. А тут далеко до моральных норм, до терпимости, уважения к чужим мнениям, к свободе слова, к личности, наконец.

Когда появилась идея высшего существа — вождя всех народов, корифея всех наук, когда сформировались иные — не моральные — мотивы поведения, то отказы подтвердить самые фантастические показания считались антипартийным преступлением. Отсюда — и крушение нравственных устоев: клевета на товарищей в убеждении, что это помогает движению к социализму, признание в шпионаже для разоблачения «истинных врагов». Ради идеи люди, прошедшие революционные бои, нарушали моральный закон, доносили, лгали на себя и на других.

Ложь, безнравственность проникли во все сферы общества. Требованиями уничтожать врагов народа культивировалась жестокость. Это особенно очевидно, если сравнить то, например, как воспринимало общество голод 1891—1892 и 1932—1933 годов. В прошлом веке неурожай воспринимался как трагедия, русские писатели страстно говорили о горестях народа, призывали на помощь, обращались к милосердию сограждан. Вся Россия собирала средства, чтобы помочь пострадавшим. И эта помощь была весьма эффективной. Неурожай в России вели к разорению мелких хозяйств и переходу крестьян в ряды пролетариата, но не к гибели миллионов, как в сталинские

времена. А с какой жестокостью расправлялся Сталин с крестьянами, не желавшими сплошной коллективизации, как относилось население к голодающим!.. Не было сборов средств, не обращались, как при Ленине, за помощью к мировому пролетариату, к ответственности разных стран, но со всей суровостью карался человек, решившийся принести горсть зерна умирающим от голода детям.

Что здесь было — революционная дисциплина, точное выполнение приказа или страх перед товарищами по партии? Безнравственность, отсутствие морального закона видны явно. Мораль тех, кто производил обыски, устанавливал кордоны, препятствовал уходу несчастных в другие края, была заменена идеей борьбы с кулачеством, которое надо уничтожить.

Замена нравственных норм придуманными оправданиями и вызвала подозрительность, недоверие даже к близким, страх и чувство вседозволенности: «Напишу куда надо, он у меня покрутится!..» Ради захвата чужих квартир, бывало, строчили доносы. Упиваясь властью над не защищенным законом человеком, любой мог пригрозить: «А вы не вредитель?..»

Вновь возьмем томик Канта.

«Правдивость есть долг. Стоит допустить одно-единственное исключение из этого закона, и он станет ни на что не годным. Исключение не может быть оправдано, какие бы цели ни провозглашались. Так, например, чтобы узнать, должен ли я перед судом давать правдивые показания, должен ли я (и могу ли я) быть верным, если потребуют возвратить доверенное мне чужое имущество, нет надобности спрашивать о цели, которую я мог бы перед собой поставить, давая объяснения своей деятельности, ведь безразлично, какова эта цель».

Это очень важный момент: человек не должен размышлять о том, позволяют ли ему обстоятельства быть порядочным. Он не должен думать о цели, оправдывающей безнравственность. Но жертвы сталинских репрессий, вынужденные объяснять свои действия, давать показания, видели вполне определенные цели перед собой. Однако были и такие, кто не нуждался «ни в какой цели, ни для того, чтобы узнать, что такое долг, ни для того, чтобы побуждать к его исполнению». Например, генерал Горбатов, несмотря на пытки, не запятнал свою честь, или будущий поэт Анатолий Жигулин с товарищами, совсем юными людьми, выстояли, не допустили предательства, не нарушили моральных законов.

Если у человека в душе был нравственный закон, не замещенный установками, игнорировавшими нравственность, то удавалось выдержать самое чудовищное давление и не солгать.

Кант говорил: поступай так, чтобы правило твоей воли могло всегда стать принципом всеобщего законодательства. Ложь, даже в виде исключения, не может быть принципом всеобщего законодательства. Точно так же — и с другими моральными принципами, для них не существует особых случаев.

Итак, один источник отступления от морали понятен: это замещение нравственных принципов социальными целями, идеологическими и политическими идеями. Отсюда и искаженное восприятие действий, которые при нормальных нравственных установках выглядят преступными. К примеру, раскулачивание семей — часто откровенный грабеж — воспринималось его участниками как акт справедливости во имя уничтожения помех на пути к социализму.

Такой подход живуч и в наше время. Моральные цели и нравственная мотивация нередко замещаются догматикой, технократическим подходом, ссылками на обстоятельства. Так, одна из острейших проблем — экологическая. По идее, действия всех, в том числе и коллективов предприятий, должны быть однозначными: не наносить вреда окружающей среде. И есть коллективы, которые хотели бы действовать так. Например, рабочие Калининградского целлюлозно-бумажного завода требовали отдать завод им в аренду для того, чтобы прежде всего на средства самих работников предприятия построить очистные сооружения, а затем уже производить продукцию. Но у ведомств, решающих этот вопрос, свои цели, и они не совпадают с требованиями морали.

Сейчас эти цели часто связывают с интересами государства, передового рабочего класса. Разумеется, человек действует исходя из определенных интересов. Тогда как же соотносятся цели деятельности и моральные принципы? И еще: можно ли считать, что цели, отвечающие интересам передового класса, автоматически становятся нравственными?

Кант провозгласил независимость морали. Он писал, что нравственный закон невыводим из религиозных заповедей: *«Для себя самой мораль отнюдь не нуждается в религии; благодаря чистому практическому разуму она довлеет сама себе».*

Независимость морали от внешних обстоятельств означает ее автономность по отношению к идеологическим требованиям. Значит, моральный закон независим и от целей, связанных с интересами ведущего класса. Классовые интересы пролетариата не делают автоматически любое действие нрав-

ственным. Более того, в нашей истории есть немало примеров, когда под лозунгом борьбы за классовые интересы рабочих наносился огромный вред народу.

«...цель, которую ставят, уже предполагает нравственные принципы,— писал Кант.— Следовательно, для морали не может быть безразличным, составляет ли она себе или нет понятие о конечной цели всех вещей (согласие с которой хотя и не умножает числа ее обязанностей, но создает для них особую точку объединения всех целей), так как только этим и может быть создана реальность для сочетания целесообразности свободы с целесообразностью природы, без которого мы не можем обойтись».

Итак, по мнению Канта, из самой морали вытекает цель, понимаемая как идея высшего блага. И исключительно важно то, что эта идея следует из морали, а не наоборот. Для того, чтобы цель была доброй, надо понимать, что такое нравственный закон. Что-то должно давать нам веру в то, что данная цель справедлива и достойна. Решая, например, вопрос об очередной стройке века, необходимо соотносить поставленную цель с нравственными принципами, думать о высшем благе.

Мысль о том, что из морали следует цель, а не наоборот, имеет огромный смысл. Деятельность человека должна происходить в соответствии с нравственными принципами, а не принципы должны формироваться из того, что выгодно в данный момент. В. И. Ленин, размышляя о реорганизации госаппарата, считал, что в нем должны работать люди, действительно просвещенные, обладающие такими свойствами: во-первых, они ни слова не возьмут на веру; во-вторых, ни слова не скажут против совести (совесть

не отменяется, как некоторые думают, в политике); в-третьих, они не боятся признаться ни в какой трудности; в-четвертых, они не побоятся никакой борьбы для достижения серьезно поставленной цели.

Тогда и вопрос о том, как соотносятся цели, соответствующие интересам ведущего класса, и цели моральные, должен решаться в пользу идеи высшего блага. В самом деле, разве то, что отвечает добру, моральным принципам, может повредить рабочему классу? Никогда!

...В нас живет стереотип, наивно выражаемый в наших поздравительных открытках, когда мы желаем друг другу успехов в труде и счастья в личной жизни. А разве у человека две жизни — трудовая и личная? Вполне может возникнуть искушение и мораль применять разную к этим «двум жизням»: одна — для трудовой деятельности, другая — для «внутреннего» пользования. Можно ведь в делах точно выполнять максимум «не лги», а в личной жизни позволить себе приврать, быть необязательным, сильным чувством оправдывать пренебрежение долгом и т. д. Или нравственный закон должен действовать и в «личной жизни»?

Думаю, что вопрос о моральном законе в жизни каждого человека достоин обсуждения. Мне хотелось бы, чтобы разговор этот продолжили читатели.





АТТАНДА НЕУТАСЫМА ВАННА ДЕН

БОРИС ШИРЯЕВ

Коллаж ИГОРЯ ЯКОВЛЕВА

Борис Николаевич Ширяев (1889—1959) не принадлежит к числу выдающихся писателей русского зарубежья, и нет у нас достаточных оснований поставить его в один ряд с Буниным, Шмелевым, Ремизовым, Куприным, Замятиным, Зайцевым, Алдановым и другими, чьи книги составили блестящий и обширный материк отечественной литературы, открываемый ныне советскому читателю. Неоспоримое достоинство Ширяева в другом: он был одним из первых живых свидетелей целого пласта до недавнего времени безгласной нашей истории, той самой terra incognita, которую во всей полноте явило миру могучее перо Александра Солженицына и которая, благодаря этому перу, обрела имя — Архипелаг ГУЛАГ. Не думаю, однако, что современный читатель сможет упрекнуть Ширяева, не найдя в его свидетельствах «из первых рук» монументальной эпичности, художественной мощи Солженицына или пронзительной трагедийности Шаламова. Если уж подыскивать «ранг» труду Бориса Ширяева, то вернее всего будет поставить его в один ряд с такими известными сегодня авторами, как Евгения Гинзбург («Крутой маршрут»), Олег Волков («Погружение во тьму»), Лев Разгон («Непридуманное»), — с одной только, но существенной весьма разницей: книга Ширяева была первой ласточкой этой трагической темы русской литературы, правда, как выясняется теперь, далеко не единственной.

По свидетельству А. И. Солженицына, начиная с 20-х годов на Западе было издано чуть ли не четыре десятка книг, посвященных этой глыбе нашей истории, но прошедших мимо внимания западного читателя, который не в силах был поверить в реальность происходящего, даже и в лице первейших своих гуманистов. «О, Бертрам Рассел! О, Хьюлет Джонсон! О, где была ваша пламенеющая совесть тогда!» — справедливо восклицает Солженицын. И действительно, понадобились не годы, а удар такой неотразимой силы, как «Архипелаг ГУЛАГ», чтобы читающий мир застыл в ужасе оцепенения от того, что наконец-то, с трудом Солженицына, проникло в его сознание. И только теперь, и только потому дано нам обратиться к предшественницам беспримерной этой книги. Одна из них — «Неугасимая лампада» Бориса Ширяева, которая, помимо собственных неоспоримых достоинств, вправе, как нам кажется, служить дополнением к «соловецким» страницам солженицынского труда и главы которой мы предлагаем читателю.

Книге этой предпослан эпитафия: «Посвящаю светлой памяти художника Михаила Васильевича Нестерова, сказавшего мне в день получения приговора: «Не бойтесь Соловков. Там Христос близко».

Остается сказать немного об ее авторе, о трагедии «со счастливым концом», если уместно, конечно, такое словосочетание.

В 1918 году Борис Ширяев был приговорен к расстрелу. За несколько часов до исполнения приговора ему удалось бежать. Во второй раз, в 1922-м, он вновь приговорен к смертной казни, замененной, однако, десятью годами концлагеря на Соловках. Здесь по ночам Ширяев и начал писать книгу... планомерно уничтожая написанное, потому что единая страница могла стоить нового срока или смерти, уже миновавшей

его дважды только случаем. Хлебнув полной чашей, лагерный срок дотянул он до того самого дня, когда проверявший документы охранник сказал ему: «Прощай, не поминай лихом». Лихом ли, чем другим, но не поминать было выше человеческих сил. Оказавшись после Соловков в ссылке, в Средней Азии, Ширяев продолжал писать, но и здесь написанные страницы приходилось зарывать в горячий песок пустыни, доверяясь только своей памяти...

Случилось так, что дни свои автор «Неугасимой лампы» закончил в Италии, и книга, создаваемая в муках лагерей и ссылок, а потом завершенная и изданная несколько десятилетий назад на Западе, пробивает теперь дорогу на родину.

Актуальна ли она, заинтересует ли сегодняшнего читателя — вопрос, конечно, риторический, ибо тяжелую болезнь минувшего бытия можно залечить временем, но забыть ее не дано ни современнику, ни поколению, которое за ним последует.

БОРИС ШИРЯЕВ

ПЕРВАЯ КРОВЬ

Вот наконец они, страшные Соловки, рассказам об ужасах которых мы жадно внимали в долгие, тягучие часы бутырской бессонницы. Вот они, проникновенные, молитвенные Соловки, о которых повествовала тихоструйная молвь странников, молитвенников и во Христе убогих Земли Русской. Святой остров Зосимы и Савватия, монастыри с созерцателями-монахами, нежным маревом бледных берез и тысячами трудников покаянных, притекавших сюда со всех концов Святой Руси...

Тяжелый девятидневный путь, от Москвы до Кемь, в специальном арестантском вагоне — позади. Девять дней в клетке. Клетки — в три яруса по всей длине вагона; в каждой клетке — три человека, в коридор — решетчатая дверь на замке, там шагает взад и вперед часовой. В клетках можно было только лежать. Пища — селедка и три кружки воды в день. Ночью кого-то вынесли из вагона; потом узнали: мертвеца, чахоточного, взятого из тюремной больницы.

Подходим к острову... «Глеб Бокий» дал уже три сигнальных свистка. <...>

Глаза всех прикованы к смутным еще очертаниям вырисовывающегося в тумане острова.

Порыв ветра приподнимает туманную пелену, и с неба прямо на ставшие ясными стены монастырского кремля падает сноп лучей. Перед нами вырастает дивный город князя Гвидона на фоне темных, еще не заснеженных елей. Золотые маковки малых церквей высятся над окружающими их многобашенными стенами, теснятся к обгорелой громаде Преображенского собора.

Он обезглавлен... Над усеченным куполом колокольни — шест; на нем — обвисший красный флаг.

Красный флаг, свертнувшийся крест, стал на горнее место над сожженным храмом Преображения. Но кругом еще Русь, древняя, истовая, святая. Она в нерушимой крепости сложенных из непомерных валунов кремлевских стен; она устремляется к нему куполами уцелевших монастырских церквей, она зовет к тайне темнеющей за монастырем дебри.

Кажется, вот-вот выйдут из пены прибоя тридцать три сказочных богатыря и пойдут дозором по берегу... Но вместо них к пристани приближается отряд вооруженных охранников в серых шинелях и остроконечных шлемах. Соловки, видимо, готовы к приему нас.

— Выходи по одному с вещами! Не толпись у сходней! Стройся в две шеренги!

Казалось бы, куда и зачем торопиться? У каждого впереди долгие годы на острове. Но привычка берет свое: на сходнях давка, чей-то мешок шлепается в воду, у кого-то выхватили из рук сумку, и он истошно орет. Толчея и на берегу. Наконец, построены, хотя вместо шеренги причудливо извиваются какие-то зигзаги.

Приемка начинается. Перед рядами «пополнения» появляется начальник, вернее, владыка острова — товарищ Ногтев. Этому человеку предстояло в течение всего первого года нашего пребывания на Соловках играть особую, исключительную роль в жизни каждого из нас. От него, вернее, от изломов его то похмельной, то пьяной психостенической фантазии зависел не только каждый наш шаг, но и сама жизнь. Но тогда, в первые дни по прибытии на остров, мы еще не знали этого. И он, как и его помощник Васьков, были для нас просто чекистами, одними из многих, в лапах которых мы уже побывали и принуждены были оставаться еще долгие годы.

— Здорово, грачи! — приветствует нас начальство. Оно, видимо, в сильном подпитии и настроено иронически-благодушно. Руки Ногтева засунуты в карманы франтовской куртки из тюленьей кожи — высший соловецкий шик, как мы узнали потом. Фуражка надвинута на глаза.

Некоторое время он скептически озирает наш сомнительный строй, перекачивается с носков на пятки, потом начинает приветственную речь.

— Вот, надо вам знать, что у нас здесь власть не советская (пауза, в рядах — изумление), а соловецкая! (Эта формула теперь широко растекалась по всем концлагерям.) То-то! Обо всех законах надо теперь позабыть! У нас — свой закон. — Далее дается пояснение этого закона в выражениях малопонятных, но очень нецензурных, не обещающих нам, однако, ничего приятного.

— Ну, а теперь, — заканчивает свою речь Ногтев, — которые тут есть порядочные, — выходи! Три шага вперед, марш!

В рядах — полное недоумение. Кто же из нас может претендовать на порядочность, с точки зрения соловецкого чекиста? Молчим и стоим на месте.

— Вот дураки! Непонятно, что ли? Значит, которые не шпана, по мешкам не шастают, ну, там, попы, шпионы, контра и такие-прочие... Выходи!

Теперь соловецкий критерий порядочности для нас ясен. Парадоксально, но факт. Вырванные из советской жизни, как враги ее основ, осужденные и заклеенные на материке множеством позорных кличек, здесь, на острове-каторге, мы становимся «порядочными». Но что сулит нам эта «порядочность»?

Большая половина прибывших шагает вперед и снова смыкается в две шеренги. На этот раз линия фронта значительно ровнее. Чувствуется, что в строю много привыкших к нему.

Ногтев снова критически осматривает нас. Он, видимо, доволен быстрым выполнением команды и находит нужным пошутить.

— Эй, опиум,— кричит он седобородому священнику московской дворцовой церкви,— подай бороду вперед, глаза — в небеса, Бога увидишь!

Приветствие окончено. Наступает деловая часть — приемка партии. Ногтев вразвалку отходит к концу пристани и исчезает за дверью сторожевой будки, из окна которой тотчас же показывается его голова.

Перед нами нач. адм. части Соловецких лагерей особого назначения Васьков, человек-горилла, без лба и шеи, с огромной, давно не бритой, тяжелой нижней челюстью и отвисшей губой. Эта горилла жирна, жирна, как боров. Красные, лоснящиеся щеки подпирают заплывшие, подслеповатые глаза и свисают на воротник. В руках Васькова списки, по которым он вызывает заключенных, оглядывает их и ставит какие-то пометки. Сначала идет переключка духовенства. Вызванные проходят мимо Васькова, потом мимо выглядывающего из будки Ногтева и сбиваются в кучу за пристанью.

Наблюдение за проходом духовенства, видимо, доставляет Ногтеву большое удовольствие.

— Какой срок? — спрашивает он седого как лунь епископа, с большим трудом ковляющего против ветра, путаясь в полах рясы.

— Десять лет.

— Смотри доживай, не помри досрочно! А то советская власть из рая за бороду вытянет!

Подсчет духовенства закончен. Наступает очередь каэров.

— Даллер!

Генерального штаба полковник Даллер размеренным броском закидывает мешок за плечо и столь же размеренным, четким шагом идет к будке Ногтева. Вероятно, так же спокойно и вместе с тем сдержанно и уверенно входил он прежде в кабинет военного министра. Он доходит почти до окна и вдруг падает ничком. Мешок откатывается в сторону, серая барашковая папаха, на которой еще видны полосы от споротых галунов, — в другую.

Выстрела мы сначала не услышали и поняли происшедшее, лишь увидев карабин в руках Ногтева.

Два стоявших за будкой шпаненка, очевидно, заранее подготовленных, подбежали и потащили тело за ноги. Лысая голова Даллера подпрыгивала на замерзших кочках дороги. Труп оттащили за будку, один из шпанят выбежал снова, подобрал мешок, шапку отряхнул о колено и, воровато оглянувшись, сунул в карман.

Переключка продолжалась.

— Тельнов!

Я сидел с ним в одной камере Бутырок и слушал его сбивчивые, несколько путанные, но полные ярких подробностей рассказы о Ледовом походе. Поручик Тельнов не лгал, он не раз видел смерть в глаза. Трудно испугать угрозой смерти того, кто уже проходил страшную грань отрешения от надежды на жизнь. Но теперь он бледнеет и на минуту замирает на месте, устремив глаза на торчащее из окна будки дуло карабина. Потом быстро, размашисто крестится и словно прыгает с разбега в холодную воду. Пригнувшись, втянув голову в плечи, он почти пробегает двадцать шагов, отделяющих строй от будки. Пройдя ее, распрямляется и снова размашисто крестится.

Все мы глубоко, облегченно вздыхаем и чувствуем, как обмякают наши напряженные до судорог мускулы.

— Следующий!.. — выкрикивает мою фамилию Васьков.

Меня! Кровь отливает от сердца и чугунным грузом падает в ноги. Они не повинуются, но я знаю, что нужно идти. Стоять на месте нельзя.

— Да воскреснет Бог, и да расточатся врази Его! — шепчу я беззвучно.

Дуло карабина продолжает торчать из окна. Между мною и им какая-то незримая, но неразрывная связь. Я не могу оторвать глаз от него и держащей его волосатой красной руки с толстым указательным пальцем, лежащим на спуске. Эту руку я рассмотрел тогда до малейшей складки на сгибах коротких пальцев, до рыжеватого пуха, уходящего под обшлаг тюленьей куртки. Ее я не забуду всю жизнь.

Но я иду. Дуло все ближе и ближе... Вот поднимается... нет... показалось. Ничего нет в мире, кроме этого дула, лежащего на подоконнике.

Осталось десять шагов... восемь... шесть... пять...

Красная волосатая рука заслонила весь мир. Она огромна. В ней — жизнь и смерть. Каждая секунда — вечность. Четыре шага...

Зажмуриваюсь и прыгаю вперед. Бегу.

Должно быть, роковая черта уже пройдена. Открываю глаза.

— ???

— Да!

Рядом со мною Тельнов. Окно будки позади. Из него по-прежнему торчит карабин. Васьков выкрикивает новую фамилию, не мою, теперь не мою!

Было страшно? Страшнее урагана немецкой шрапнели? Страшнее резки проволоки под пулеметным дождем?

Был не только страх смерти, но отвращение, ужас перед гнусностью этой смерти от руки полупьяного палача, смерти безвестной, жалкой, собачьей... Ощущение бессилия, порабощенности, плена ни на секунду не покидало глубин сознания и делало этот страх нестерпимым.

Но кончено! Я жив! Радость жизни наполняет всего меня. Она разливается по жилам, пьянит, заставляет ликовать животом, по-дикарски... Жив! Жив! Я не знаю, что будет завтра, через час, через минуту, но сейчас я жив. Дуло карабина и держащая его рука — позади.

Больше выстрелов не было. Позже мы узнали, что то же самое происходило на приемках почти каждой партии. Ногтев лично убивал одного или двух прибывших по собственному выбору. Он делал это не в силу личной жестокости, нет, он бывал скорее добродушен во хмелю. Но этими выстрелами он стремился разом нагнать страх на новоприбывших, внедрить в них сознание полной бесправности, безвыходности, пресечь в корне возможность попытки протеста, сковать их волю, установить полное автоматическое подчинение «закону соловецкому».

Чаще всего он убивал офицеров, но случалось погибать и священникам, и уголовникам, случайно привлечшим чем-нибудь его внимание.

Москва не могла не знать об этих незаконных, даже с точки зрения ГПУ, расстрелах (многие из заключенных продолжали оставаться под следствием и в ссылке), но молчаливо одобряла административный метод Ногтева: он был и ее методом. Вся Россия жила под страхом такой же бессмысленной на первый взгляд, но дьявольски продуманной системы подавления воли при помощи слепого, беспощадного, непонятного часто для его жертв террора. Когда нужда в Ногтеве миновала, он сам был расстрелян, и одним из пунктов обвинения были эти самочинные расстрелы. <...>

КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ

87

В 1926 году пароход «Глеб Бокий», доставивший на остров разгрузочную комиссию во главе с Глебом Боким, привез в наглухо запертом трюме и небольшую партию новых ссыльных, среди которых был одесский контрабандист с десятилетним сроком Н. А. Френкель и сыпнотифозная вошь.

Глеб Бокий, без подписи которого не обходился ни один смертный приговор коллегии ОГПУ, был убийцей многих тысяч.

Сыпнотифозная вошь, занесенная в лагеря и до сих пор не переводящаяся в них, стала убийцей многих сотен тысяч людей.

Натан Ааронович Френкель, которому суждено было стать оформителем и главным конструктором системы концлагерей, <...> может смело претендовать на звание убийцы многих миллионов.

Было бы ошибкой назвать его автором, изобретателем системы социалистической принудилочки <...>, но в его мощном, реалистически мыслящем мозгу отвлеченная и еще туманная тогда идея получила свои первые реальные практические формы. Он осознал, оформил ее и включил в действие. Соловки были первым опытом ее широкого применения.

Большинство коммунистических карьер начинается быстрым взлетом — к звездам и очень нередко заканчивается еще более стремительным падением и пулей в подвале всемирно известного учреждения.

Карьера Натана Аароновича Френкеля развернулась в обратном порядке: от более чем вероятной пули в подвале — к звездам, в системе которых он и поныне блистает в составе того созвездия, которое чуть было не прервало не только его карьеру, но и жизненный путь.

Расцвет нэпа в Одессе был особенно пышен. Город, помнивший блаженную для дельцов эпоху порто-франко, насчитывавший даже в царское время более десяти тысяч зарегистрированных уголовников всех видов и специальностей, ожил и возродился в родной ему стихии. Шиберство, спекуляция и контрабанда развернулись в нем тогда в не виданных для России масштабах.

Еще молодой в то время коммерсант, природный одессит Натан Ааронович Френкель разом понял и оценил «дух эпохи», наступившей <...> «всерьез и надолго». Понявши это, Френкель сделал «оргвыводы» и приступил к их широкой реализации — образовал трест контрабанды с размахом поистине американским.

Несколько пароходов, целый флот парусников и катеров этого треста совершали правильные рейсы между советскими портами Черного моря, Румынией и Турцией. «Дело» велось открыто до бесстыдства. Всевозможные товары, начиная с шелковых чулок и кончая валютой всех стран, находили себе место в трюмах этой флотилии и чемоданах доверенных агентов Френкеля. Пограничная охрана, уголовный розыск, суды и даже само ГПУ было закушлено.

Френкель был коммерсантом действительно большого стиля и человеком своей эпохи в истинном ее значении.

История любит иногда подшутить. На этот раз ее шуткой была служебная командировка в Одессу члена коллегии ОГПУ Дерибаса, фамилию которого шпана считала остроумно придуманным псевдонимом «Дери-бас», что на блатном языке означает: ори во всю мочь, нагло и нахально. Но эта фамилия была подлинной и лишь несколько иначе писалась до революции — де Рибас, с добавлением звучного титула. Носивший ее чекист был прямым потомком нашедшего новую, более чем милостивую к нему родину в России французского эмигранта, аристократа, ближайшего сотрудника строителя Одессы герцога Ришелье, главная улица которой носила тогда еще его имя.

Последний из рода де Рибас был чрезвычайно ярко выраженным вырожденцем. Очень маленького роста, почти карлик, с огромными оттопыренными ушами, шелушащейся, как у змеи, кожей и отталкивающими чертами лица, он вызывал среди окружающих чувство отвращения, гадливости, смешанной со страхом, какое испытывают обыкновенно при взгляде на паука, жабу, ехидну...

Он знал это и не старался замаскировать своего уродства, но, наоборот, бравировал, подчеркивая его крайней неопрятностью, бесстыдством, грубостью и презрением к примитивным правилам приличия.

Столь же уродлива была и его психика (сказать — душа было бы ошибкой. Вряд ли у него была таковая). Дерибас был более чем садистом: он был каким-то концентратом зла всех видов, «Лейденской банкой», заряженной дьяволом в аду. Он ненави-

дел все и всех и не переносил улыбки довольства даже на лицах своих ближайших сотрудников и сотоварищей. Дерibas завидовал всему миру в целом и каждому его атому в отдельности. Он никогда не пропускал возможности причинить боль или иной вред каждому, даже бывшему в его лагере. Если коллегия ОГПУ считать ножом гильотины революции, то он был острием этого ножа. Его ненавидели и боялись даже члены этой всемогущей коллегии. Шатобриан или Лермонтов нашли бы в нем готовый прототип выразителя демонизма, который они безуспешно искали среди людей.

Именно эти качества Дерibasа и приковали к нему внимание в первые годы чрезвычайки. <...> В силу своей ненависти ко всему живущему Дерibas был на самом деле... неподкупным. Ненависть превышала в нем все другие чувства, желания и страсти...

Прибыв в Одессу с самыми широкими полномочиями, Дерibas, конечно, тотчас же узнал о контрабандном тресте Френкеля. Знал, конечно, и Френкель о полномочиях Дерibasа. Игра началась.

Френкель по происхождению был евреем, но не имел ничего общего с крупной и мощной в Одессе еврейской общиной, руководимой чтимыми раввинами. Он был циничным и откровенным атеистом, поклонялся лишь золотому тельцу и щедро рассыпал подачки нужным ему людям, но ничего не давал ни на синагогу, ни на еврейскую благотворительность. Раввины были настроены против него. Эту историю рассказывал мне здесь же, на Соловках, также еврей, сосланный туда одесский чекист среднего ранга. От него я и узнал подробности о начале деятельности Френкеля.

Именно этот антагонизм между Френкелем и еврейской общиной помог Дерibasу одержать победу. Борьба с Френкелем в тот период была нелегка даже и для такой крупной фигуры, как Дерibas, ибо у Френкеля были закупленные им «свои люди» в составе самой коллегии. Можно предполагать, что одним из них был возвышавшийся в то время Ягода, который позже, уже во втором периоде карьеры Френкеля, явно ему покровительствовал. <...> Умный, расчетливый и осведомленный о ходе этой борьбы, Френкель был в курсе всех изменений в расстановке внутренних сил НКВД и спекулировал на них столь же умело, как и на валюте.

Но на этот раз он наскочил на достойного противника. Щупальцы спрута, раскинутые от Москвы до Константинополя, встретили жало ехидны. Ехидна была под самым сердцем спрута, в Одессе.

Дерibas, сея ужас вокруг себя, повел игру с Френкелем чрезвычайно осторожно. Он умело делал вид, что хочет сам сорвать с Френкеля крупный, очень крупный куш, столь значительный, что не стеснявшийся обычно в таких случаях Френкель призадумался и начал торг при помощи доверенных лиц. А пока шел этот торг, в Москву, помимо и даже тайно от одесского отдела НКВД и, вероятно, от некоторых членов коллегии, шли сообщения Дерibasа, в чем ему помогала настроенная против Френкеля религиозная часть одесских евреев.

И вот в одну далеко не прекрасную для Френкеля и его друзей ночь в Одессу прибыл зашифрованный поезд с отрядом московских чекистов, который поступил под команду Дерibasа. Френкель, вся головка одесской Чеки и главные «директора» треста были в ту же ночь арестованы и через несколько дней отвезены в Москву самим Дерibasом.

Далее этот авантюрный роман разыгрался так: коллегия ОГПУ вынесла Френкелю и его ближайшим сотоварищам смертный приговор, но их покровители не сложили оружия. Френкель был уже приведен в подвал... и там ему было объявлено помилование, вернее, замена смертной казни десятью годами соловецкой каторги.

Странная, незримая нить связывала Френкеля и привезенную вместе с ним сыпнотифозную вошь. Первой стала действовать она. На острове началась и развилась с необычайной быстротой эпидемия сыпняка.

Лазарет уже не вмещал больных. Заболевали в кремле, в скитах, на соседнем острове Анзер, в Секирном изоляторе... Яма для свалки трупов на монастырском кладбище ежедневно расширялась на несколько метров.

Так действовала вошь, слепо и стихийно, убивая и сама погибая на трупах, убитых ею...

Френкель действовал иначе — обдуманно и систематически. В первые же дни по прибытии на Соловки он при помощи взятки устроился в штат нарядчиков и внимательно присмотрелся к жизни соловецкого муравейника. Его точный коммерческий практицизм констатировал бесцельность, никчемность труда двадцати тысяч каторжников. Практический результат этого труда был ничтожен. Машина работала вхолостую, бесполезно растрачивая горючее. Думается, что тут же, в первые дни пребывания на острове, в его голове начал оформляться грандиозный план, вполне созвучный тому, который уже оформлялся тогда в лабораториях Московского Кремля и вступил в жизнь СССР под именем первой пятилетки.

Но надо было ждать случая для проведения первого опыта, обстановки, нужной для рождения эмбриона.

Эту обстановку создала сыпнотифозная вошь.

Бурное развитие эпидемии вынудило начальство к срочным профилактическим мерам. Населению островов, уже отрезанному от материка прекращением навигации, грозило полное вымирание к весне. В первую очередь нужны были бани и в кремле, и в раскиданных по островам командировках, нужны немедленно, срочно.

Инженеры, которым было задано составить план и сметы построек, запроектировали их сроки в 10—20 дней. В проекте, поданном Френкелем по его личной инициативе, значился срок в 24 часа для постройки самой большой бани и только 50 человек рабочих, набранных по его выбору.

Баринов вызвал Френкеля к себе.

— Берешься построить за сутки?

— Берусь, если дадите все, что указываю.

— Дадим. Надуешь — Секирка!

— Знаю!

— Вали!

Френкель отобрал около 30 сильных молодых работников, в большинстве ловких на все руки кронштадтских матросов. Служа нарядчиком и надсмотрщиком в отделе рабсилы, он уже знал их и намечал безошибочно. Остальных он потребовал из бараков инвалидов.

— На какой черт тебе это барахло? — изумился Баринов.

— Мое дело.

— Раз так — бери. У меня попов да генералов хватит. Только помни: сорвешь — сгною на Секирке!

Обе команды — работников и инвалидов — Френкель построил друг против друга на месте намеченной стройки. Дул норд-ост. Мороз грыз уши и руки. Старики меньшей шеренги кутались, топчась на месте. Многие были в лохмотьях.

— Дело обстоит так, — обратился к рабочим Френкель, — в 24 часа мы должны построить здесь баню. Не выполним задания — уйдем с работы прямо на Секирку. И вы, и я, и они, — указал он на стариков. — Горячую пищу — мясную — принесут сюда. Будет по стакану спирта. Начинаем.

Молодежь смотрела на стариков. Старики на молодежь. И те, и другие были людьми. Молодежь поняла не столько умом, сколько сердцем, что от нее и только от нее зависит в данный момент жизнь стариков.

— Берись, братва! Дружно! По-авральному!

— Свисти всех наверх, боцман!

— Боевая тревога!

Вероятно, в давно минувшие времена Святой Руси так же дружно, с таким же напряжением всех сил строились по обету церкви-однодневки. В мятежных кронштадтцах, последних матросах Русского Императорского флота, еще жили пронесенные в их сердцах сквозь кровавый туман безвременья традиции Севастополя и Порт-Артура. Ими еще пелась тогда песня о героической смерти «Варяга».

Стены из толстых бревен были еще не закончены, а в огороженном ими пространстве уже клали печи. Доски, баланы, брусья словно сами летали по воздуху. Двухдюймовые гвозди загонялись одним ударом молотка сильной, привычной рукой...

— Даешь! Даешь! Полундра! — звучало над стройкой.

Старики помогали, чем могли, но могли они мало. Френкель умышленно выбрал самых убогих, самых старых епископов и генералов. Сам он был центром всей работы, ее мозгом и распорядился спокойно, дельно, толково... Свои обещания он сдержал: были и густые мясные щи, и хлеб без веса, и спирт...

Чахлый день соловецкой зимы замирал. Над стройкой вспыхнули прожекторы, и работа продолжалась в том же темпе.

Пришедший на следующее утро Баринов вошел в пахнувший свежей сосновой стружкой предбанник. Из двери бани валил белый пар уже закипевших котлов.

— Молодцы, так-рastaк, в сердце, в кровь, в селезенку!.. — рявкнул восхищенный Баринов. — Всем по стакану спирта! От меня! А ты, — обратился он к Френкелю, — зайдешь ко мне... побалакаем...

Работа была выполнена за два с половиной часа до срока. В лазарет унесли только двух замерзших ночью стариков священников.

Этот день был началом новой эры в жизни соловецкой каторги. Она вступила в систему социалистического строительства, раскинутую на территории одной шестой мира...

Вторая часть зимы протекала под знаком напряженной работы сыпнотифозной вши и Натана Аароновича Френкеля.

Первая работала в низах, транспортируя уже не в одну, а десятки ям, вырытых в мерзлой земле, новые и новые сотни мертвых.

Второй работал в верхах, подготавливая транспортировку того же продукта социалистического производства уже не в десятки, а в сотни, тысячи, сотни тысяч братских могил.

Управление СЛОН было реорганизовано коренным образом. Его отделы, возникшие в период хаотического развития Соловков — свалки недорезанных, были преобразованы, частью аннулированы и пополнены новыми, сведены в стройную систему воспитательно-трудовой части, во главе которой стоял Френкель.

Для специалистов-техников всех видов настал золотой век. Первыми вступили в него экономисты-плановики — уродливая, паразитарная профессия, порожденная практикой социалистического хозяйства, и бухгалтеры. Пишущие машинки управления стучали день и ночь, продуцируя кипы планов, смет, схем, которые единственный тогда соловецкий самолет едва успевал перебрасывать на материк — в Кемь, а оттуда — на Лубянку.

Соловки были всегда микрокосмом, чутко отражавшим в уменьшенном во много раз виде все процессы, возникавшие на материке. Они пережили свой период военного коммунизма, свой нэп и теперь вступали в эпоху формирования социалистической кабалы.

Отразили они и последний бой зубров революционного подполья с провозвестниками грядущей армии роботов. Воспитательно-просветительная часть встала на путь воспитательно-трудовой. Коган вступил в борьбу с Френкелем и был разбит, приведен к молчанию, утратив разом все свое влияние. Иначе быть не могло. Соловки отражали жизнь СССР.

Вместе с воспитательно-трудовой частью были разгромлены и все ячейки соловецкого пережитка русской культуры. Первым умер журнал, ненадолго пережила его и газета. Музей сохранился лишь как показательное-рекламное учреждение; его научные сотрудники-краеведы были растасованы по канцеляриям, а часть их — геологи, топографы, картографы, геодезисты и пр. — направлена на изыскательные работы в торфяники Колы, тайгу Северного Урала и даже на Новую Землю, где была запроектирована база промышленного лова тюленей, моржей и трески. Биосад обезлюдел, театр был разделен на несколько мелких передвижек для обслуживания пропаганды в новых непрерывно формировавшихся лагерях и командировках.

Размах Френкеля был широк, и его организационные способности, несомненно, велики. Если до него распорядители соловецкой рабсилы в большинстве случаев не знали, куда девать

прибывших каторжников, то теперь людей, и особенно техников всех специальностей, не хватало. В отправленных в Москву планах и схемах значилась потребность в десятках, сотнях тысяч... ОГПУ удовлетворяла ее в срочном порядке.

Молох <...> рабства рос с каждым днем, и ничтожный северный остров не мог уже вместить даже его мозга. Управление лагерями особого назначения было перенесено на материк, а сами Соловки превратились к 1930 году в третьеразрядный лагерь, последнее пристанище безнадежных доходяг. Их роль была сыграна.

Соловецкий этап развития <...> рабства сменился Беломоро-Балтийским. Во главе этой новой гигантской системы стоял Н. А. Френкель, превратившийся из каторжника с высшим сроком в неограниченного повелителя миллионов жизней, орденоносца и Героя Социалистического Труда. Надо быть справедливым: это последнее звание он мог носить по праву. Его вклад в практику осуществления социализма грандиозен.

В наши дни Френкель продолжает вести свое страшное дело, разворачивая его все шире и шире. Теперь он уже имеет чин генерала госбезопасности и множество орденов. С Дерibasом он, очевидно, сосчитался: этот последний исчез в период террора 1938 года на Дальнем Востоке.

ФРЕЙЛИНА ТРЕХ ИМПЕРАТРИЦ

93

По строгому уставу Соловецкого монастыря женщины на остров не допускались. Они могли поклониться святыням лишь издали, с крохотного Заячьего островка. От пристани до него — верста с небольшим, и весь кремль с высящимися над ним куполами виден оттуда как на ладони.

Традиция сохранилась. Новый хозяин острова отвел Зайчики под женский изолятор, куда попадали главным образом за грех против седьмой заповеди и куда в качестве представителя власти был допущен лишь один мужчина — семидесятилетний еврей, Бог-весть какими путями попавший на службу в хозяйственную часть ЧК, проштрафившийся чем-то и угодивший в ссылку. Возраст и явная дряхлость ставили его, как жену Цезаря, вне подозрений.

Каторжницы, ни в чем не провинившиеся на Соловках, жили на самом острове, но вне кремля, в корпусе, обнесенном тремя рядами колючей проволоки, откуда их под усиленным конвоем везли на работы в прачечную, канатную мастерскую, на торфоразработки и на кирпичный завод. Прачечная и «веревочки» считались легкими работами, а «кирпичики» — формовка и переноска сырца — пугали. Чтобы избавиться от «кирпичиков», пускались в ход все средства, и немногие выдерживали 2—3 месяца этой действительно тяжелой, не женской работы.

Жизнь в женбараке была тяжелей, чем в кремле. Его обитательницы, глубоко различные по духовному укладу, культурному уровню, привычкам, потребностям, были смешаны и сбиты в одну кучу, без возможности выделиться в ней в обособленные однородные группы, как это происходило в кремле. Количество уголовных здесь во много раз превышало число казрок, и они господствовали безраздельно. Притонодержательницы, проститутки, торговки кокаином, контрабандистки... и среди них — аристократки, кавалерственные дамы, фрейлины.

Выход из барака строго контролировался; даже в театр женщины ходили под конвоем и сидели там обособленно, тоже под наблюдением.

Женщины значительно менее мужчин приспособлены к нормальному обществу. Внутренняя жизнь женбарака была адом, и в этот ад была ввержена фрейлина трех императриц, шестидесятипятилетняя баронесса, носившая известную всей России фамилию.

Великую истину сказал Достоевский: «Простолюдин, идущий на каторгу, приходит в свое общество, даже, быть может, более развитое. Человек образованный, подвергшийся по законам одинаковому с ним наказанию, теряет часто несравненно больше него. Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки; должен перейти в среду для него недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом... И часто для всех одинаковое наказание превращается для него вдесятеро мучительнейшее. Это истина...»

Именно такое, во много более тяжелое наказание несла эта старая женщина, виновная лишь в том, что родилась в аристократической, а не в пролетарской семье.

Если для хозяйки кронштадтского портового притона Кораблихи быт женбарака и его среда были привычной, родной стихией, то чем они были для смолянки, родной стихией которой были ближайšie к трону круги? Во сколько раз тяжелее для нее был каждый год, каждый день, каждый час заключения?

Беспрерывная, не прекращавшаяся ни днем, ни ночью пытка. ПТУ это знало и с явным садизмом растасовывало казрок в камеры поодиночке. С мужчинами в кремле оно не могло этого сделать, в женбараке это было возможно.

Петербургская жизнь баронессы могла выработать в ней очень мало качеств, которые облегчили бы ее участь на Соловках. Так казалось. Но только казалось. На самом деле фрейлина-баронесса вынесла из нее истинное чувство собственного достоинства и неразрывно связанное с ним уважение к человеческой личности, предельное, порою невероятное самообладание и глубокое сознание своего долга.

Попав в барак, баронесса была там встречена не «в штucky», а более жестоко и враждебно. Стимулом к травле ее была зависть к ее прошлому. Женщины не умеют подавлять в себе, взнуздывать это чувство и всецело поддаются ему. Слабая, хилая старуха была ненавистна не сама по себе в ее настоящем, а как носительница той иллюзии, которая чаровала и влекла к себе мечты ее ненавистниц.

Прошлое, эlegantное, утонченное, яркое, проступало в каж-

дом движении старой фрейлины, в каждом звуке ее голоса. Она не могла скрыть его, если бы и хотела, но она и не хотела этого. Она оставалась аристократкой в лучшем, истинном значении этого слова; и в соловецком женбараке, в смраде матерной ругани, в хаосе потасовок она была тою же, какой видели ее во дворце. Она не чуждалась, не отграничивала себя от окружающих, не проявляла и тени того высокомерия, которым неизменно грешит ложный аристократизм. Став каторжницей, она признала себя ею и приняла свою участь как неизбежность, как крест, который надо нести без ропота, без жалоб и жалости к себе, без сетования и слез, не оглядываясь назад.

Тотчас по прибытии баронесса была, конечно, назначена на «кирпичики». Можно представить себе, сколь трудно было ей на седьмом десятке носить на лотке двухпудовый груз. Ее товарки по работе ликовали:

— Баронесса! Фрейлина! Это тебе не за царицей хвост таскать! Трудись по-нашему! — хотя мало кто из них действительно трудился до Соловков.

Они не спускали с нее глаз и жадно ждали вопля, жалобы, слез бессилия, но этого им не пришлось увидеть. Самообладание, внутренняя дисциплина, выношенная в течение всей жизни, спасли баронессу от унижения. Не показывая своей несомненной усталости, она доработала до конца, а вечером, как всегда, долго молилась, стоя на коленях перед маленьким образком.

Моя большая приятельница дней соловецких, кронштадтская притонница Кораблиха, баба русская, бойкая, зубастая, но сохранившая «жалость» в бабьей душе своей, рассказывала мне потом:

— Как она стала на коленки, Сонька Глазок завела было бузу: «Ишь ты, Бога своего поставила, святая какая промеж нас объявилась». — а Анета на нее: «Тебе жалко, что ли? Твое берет? Видишь, человек душу свою соблюдает!» Сонька и язык прикусила.

То же повторялось и в последующие дни. Баронесса спокойно и мерно носила сырые кирпичи, вернувшись в барак, тщательно чистила свое платье, молча съедала миску тресковой баланды, молилась и ложилась спать на свой аккуратно прибранный топчан. С обособленным кружком женбарачной интеллигенции она не сближалась, но и не чуждалась, и как и вообще не чуждалась никого из своих сожительниц, разговаривая совершенно одинаковым тоном и с беспрерывно вставлявшей французские слова княгиней Шаховской, и с Сонькой Глазком, пользовавшейся в той же мере словами непечатными. Говорила она только по-русски, хотя «обособленные» предпочитали французский.

Шли угрюмые соловецкие дни, и выпады против баронессы повторялись все реже и реже. «Остроумие» языкатых баб явно не имело успеха.

— Нынче утром Манька Длинная на баронессу у рукомоиника наскочила, — сообщала мне вечером на театральной репетиции Кораблиха, — щетки, мыло ее покидала: крант, мол, долго занимаешь! Я ее поганой тряпкой по ряшке как двину! Ты чего божескую старуху обижаешь? Что, тебе воды мало? У тебя где болит, что она чистоту соблюдает?

Окончательный перелом в отношении к бывшей фрейлине наступил, когда уборщица камеры, где она жила, «объявилась».

«Объявиться» на соловецком жаргоне значило заявить о своей беременности. В обычном порядке всем согрешившим против запрета любви полагались Зайчики, даже и беременным до седьмого-восьмого месяца. Но бывших уже на сносях отправляли на остров Анзер, где они рожали и выкармливали грудью новорожденных в сравнительно сносных условиях, на легких работах. Поэтому беременность тщательно скрывалась и объявлялась лишь тогда, когда можно было, минуя Зайчики, попасть прямо к «мамкам».

«Объявившуюся» уборщицу надо было заменить, и по старой тюремной традиции эта замена производилась демократическим порядком — уборщица выбиралась. Работа ее была сравнительно легкой: вымыть полы, принести дров, истопить печку. За место уборщицы боролись.

— Кого поставим? — запросила Кораблиха. Она была старостой камеры.

— Баронессу! — звонко выкрикнула Сонька Глазок, безудержная и в любви, и в ненависти. — Кого, кроме нее? Она всех чистоплотней! Никакой неприятности не будет...

Довод был веский. За грязь наказывалась вся камера. Фрейлина трех всероссийских императриц стала уборщицей камеры воровок и проституток. Это было большой «милостью» к ней. «Кирпичики» явно вели ее к могиле.

Я сам ни разу не говорил с баронессой, но внимательно следил за ее жизнью через моих приятельниц, работавших в театре: Кораблиху и ту же Соньку Глазок, певицу в хоре.

Заняв определенное социальное положение в каторжном коллективе, баронесса не только перестала быть чужачкой, но автоматически приобрела соответствующий своему «чину» авторитет, даже некоторую власть. Сближение ее с камерой началось, кажется, с консультации по сложным вопросам косметических таинств, совершающихся с равным тщанием и во дворце, и на каторге. Потом разговоры стали глубже, серьезнее... И вот...

В театре готовили «Заговор императрицы» Ал. Толстого — халтурную, но игровую пьесу, шедшую тогда во всех театрах СССР. Арманов играл Распутина и жадно собирал все сведения о нем у выдавших загадочного старца.

— Все это враки, будто царица с ним гуляла, — безапелляционно заявила Сонька, — она его потому к себе допускала, что он за Наследника очень усердно молился... А чего другого промеж них не было. Баронесса наша при них была, а она врать не будет.

Кораблиха, воспринявшая свое политическое кредо среди кронштадтских матросов, осветила вопрос иначе:

— Один мужик до царя дошел и правду ему сказал, за то буржуи его и убили. Ему царь поклонился за Наследниково выздоровление землю крестьянам после войны отдать. Вот такое дело!

Нарастающее духовное влияние баронессы чувствовалось в ее камере все сильнее и сильнее. Это великое таинство пробуждения Человека совершалось без насилия и громких слов. Вероятно, и сама баронесса не понимала той роли, которую ей назначено было выполнить в камере каторжного общежития. Она дела-

ла и говорила «что надо» так, как делала это всю жизнь. Простота и полное отсутствие дидактики ее слов и действия и были главной силой ее воздействия на окружающих.

Сонька среди мужчин сквернословила по-прежнему, но при женщинах стала заметно сдерживаться и, главное, ее «эпитеты» утратили прежний тон вызывающей бравады, превратившись просто в слова, без которых она не могла выразить всегда клокотавшие в ней бурные эмоции. На Страстной неделе она, Кораблиха и еще две женщины из хора говели у тайно проведенного в театр священника — Утешительного попа. Таинство принятия Тела и Крови Христовых совершалось в темном чулане, где хранилась бутафория, Дарами, пронесенными в плоской солдатской кружке в боковом кармане бушлата. «На стреме» у дверей стоял бутафор-гурок Решад-Седад, в недавнем прошлом коммунист, нарком просвещения Аджаристана. Если б узнали, быть бы всем на Секирке и Зайчиках, если не хуже...

Когда вспыхнула страшная эпидемия сыпняка, срочно понадобились сестры милосердия или могущие заменить их. Нач. санчасти УСЛОН М. В. Фельдман не хотела назначений на эту смертническую работу. Она пришла в женбарак и, собрав его обитательниц, уговаривала их идти добровольно, обещая жалованье и хороший паек. Желающих не было. Их не нашлось и тогда, когда экспансивная Фельдман обратилась с призывом о помощи умирающим.

В это время в камеру вошла старуха уборщица с вязанкой дров. Голова ее была укучена платком — на дворе стояли трескучие морозы. Складывая дрова к печке, она слышала лишь последние слова Фельдман:

— Так никто не хочет помочь больным и умирающим?

— Я хочу, — послышалось от печки.

— Ты? А ты грамотная?

— Грамотная.

— И с термометром умеешь обращаться?

— Умею. Я работала три года хирургической сестрой в Царскосельском лазарете...

— Как ваша фамилия?

Прозвучало известное имя, без титула.

— Баронесса! — крикнула, не выдержав, Сонька, но этот выкрик звучал совсем не так, как в первый день работы бывшей фрейлины на «кирпичиках».

Второй записалась Сонька и вслед за нею еще несколько женщин. Среди них не было ни одной из «обособленного» кружка, хотя в нем много говорили о христианстве и о своей религиозности.

Двери сыпнотифозного барака закрылись за вошедшими туда вслед за фрейлиной трех русских императриц. Оттуда мало кто выходил. Не вышло и большинство из них.

М. В. Фельдман рассказывала потом, что баронесса была назначена старшей сестрой, но несла работу наравне с другими. Рук не хватало. Работа была очень тяжела, так как больные лежали вповалку на полу и подстилка под ними сменялась сестрами, выгребавшими руками пропитанные нечистотами стружки. Страшное место был этот барак.

Баронесса работала днем и ночью, работала так же тихо,

мерно и спокойно, как носила кирпичи и мыла пол женбарака. С такую же методичностью и аккуратностью, как, вероятно, она несла свои дежурства при императрицах. Это ее последнее служение было не самоотверженным порывом, но следствием глубокой внутренней культуры, воспринятой не только с молоком матери, но унаследованной от ряда предшествовавших поколений. Придет время, и генетики раскроют великую тайну наследственности.

Владевшее ею чувство долга и глубокая личная дисциплина дали ей силы довести работу до предельного часа, минуты, секунды...

Час этот пробил, когда на руках и на шее баронессы зарделась зловещая сыпь. М. В. Фельдман заметила ее.

— Баронесса, идите и ложитесь в особой палате... Разве вы не видите сами?

— К чему? Вы же знаете, что в мои годы от тифа не выздоравливают. Господь призывает меня к Себе, но два-три дня я еще смогу служить Ему...

Они стояли друг против друга. Аристократка и коммунистка. Девственница и страстная, нераскаянная Магдалина. Верующая в Него и атеистка. Женщины двух миров.

Экспансивная, порывистая М. В. Фельдман обняла и поцеловала старуху.

Когда она рассказывала мне об этом, ее глаза были полны слез.

— Знаете, мне хотелось тогда перекрестить ее, как крестила меня в детстве няня. Но я побоялась оскорбить ее чувство веры. Ведь я же еврейка.

Последняя секунда пришла через день. Во время утреннего обхода баронесса села на пол, потом легла. Начался бред.

Сонька Глазок тоже не вышла из барака смерти, и души их вместе предстали перед Престолом Господним.

ДУШУ ЗА ДРУГИ ПОЛОЖИВШИЙ

Удачных побегов с Соловков не было. Напечатавший в Риге в 1925 или 1926 году свои очерки «Остров крови и смерти» Мальсагов бежал не с самих островов, а с одной из командировок на Кемском берегу. Но и оттуда его побег был до 1927 года единственным и, несомненно, героическим.

Три или четыре офицера, выйдя на работу в лес, разоружили и связали конвоира и без карты, без компаса устремились к финской границе. Нужно было идти тундрой и болотистым лесом не менее 300 километров, избегая больших поселков. Продоволь-

ствия у них не было, оружия — одна винтовка и две обоймы патронов. Питались, очевидно, лишь ягодами да грибами.

Погоня, пущенная через несколько часов по их следу, шла все время по пятам. Ее вели собаки. Иногда беглецов настигали. Тогда их лучший стрелок маскировался и меткими выстрелами укладывал ближайших преследователей. Говорили, что пять-шесть красноармейцев было убито и ранено.

Беглецы все же дошли до финской границы, были приняты генералом Маннергеймом и позже переехали в Ригу, где Мальсагов и выпустил свои очерки.

Но попыток к побегу было много. Бежали исключительно уголовники с большим сроком, главным образом бандиты-«мокрятники» (убийцы). Обычно они пытались незаметно проскочить на отходящий пароход и спрятаться где-нибудь в трюме. Проскочить удавалось, но спрятавшихся неизменно обнаруживали при выгрузке в Кемь. Расстреливали их не всегда, чаще гноили на Секирке.

Бывали и трагикомические случаи. Один шпаненок решил укрыться в трубе парохода, но как только затопили печь, конечно, сам выскочил оттуда.

Самой смелой из попыток уголовников был побег бандита по кличке «Драгун». Он бежал в одиночку и рассчитывал перебраться на лодке, но захватить ее ему не удалось. Тогда Драгун скрылся в лесу, в тот же день напал на проходившего лесной дорогой охранника и отобрал у него оружие.

Эйхманс выслал погоню, но она не смогла найти Драгуна в дебрях. Не помогли и собаки. Драгун появлялся то там, то здесь, нападал на мелкие рабочие посты, отбирал продовольствие и действовал настолько смело, что обобрал даже повараху Эйхманса, несшую продукты в его резиденцию, отстоявшую в двух-трех километрах от кремля.

Взбешенный Эйхманс разнес чекистов-охранников и двинул на Драгуна чуть ли не весь Соловецкий особый полк, который прочесал цепочками весь остров от края до края. Драгун снова ускользнул. Тогда Эйхманс ввел на острове нечто вроде осадного положения, покрыл его сетью застав, пустил патрули, но не помогли и эти меры.

Эйхманс капитулировал. Он снял заставы и разбросал по дорогам объявления, в которых гарантировал «своим честным чекистским словом» жизнь Драгуну, если тот придет с повинной.

Драгун сдался. Эйхманс пытался сдержать свое «чекистское слово». Много странных сплетений было в душе этого чекиста из рижских студентов, захлестнутого русской революцией, и, несомненно, в ней была своя трещина, своя драма, закончившаяся его расстрелом на Новой Земле. Он просил о смягчении приговора Драгуну, мотивируя просьбу тем, что убийств при побеге он не совершил. Но Москва не сочла нужным посчитаться с его «чекистским словом», и Драгун был расстрелян.

Рассказывали, что, узнав о приговоре, он только крепко выругался, а смерть встретил совершенно спокойно.

Но вряд ли бы удалось Драгуну спастись, даже захватив лодку. Его настигли бы моторные катера или единственный

имевшийся тогда на Соловках самолет. Их наличие делало летом побег морем невозможным.

Зимой бежать было еще труднее. Белое море замерзает не сплошь, остаются широко пространства чистой воды. Следовательно, надо тянуть с собой лодку. Это требует страшных усилий нескольких человек, так как лед не ровен, а загроможден хаосом глыб.

Самым удобным временем для побега морем была поздняя осень, когда над ним ползут густые туманы. Под их покровами беглецы могли рассчитывать укрыться и от катеров погони, и, главное, от зорких глаз самолета. Но в это время года их подстерегал другой страшный враг — шуга.

Море замерзает не сразу. Сначала по нему идут отдельные мелкие льдинки. Потом они скопляются густыми массами и ползут, подгоняемые ветром или течением. Это и есть шуга. Не только лодки, но и промысловые шхуны, попав в нее, не могут вырваться. Соловецкая летопись сохранила предание о нескольких монахах-рыболовах, занесенных шугою на Новую Землю — далекий пустынный Грумант, где они прожили робинзонами десять лет, пока их не спас норвежский китобой.

Это-то время и избрали для осуществления своего плана несколько морских офицеров. Душою заговора был князь Шаховской, более известный на Соловках под фамилией Круглов, под которой он был захвачен после провала заговора Таганцева, к которому, кстати сказать, прямого отношения не имел.

Все флотские держались особняком, работали обычно, сбиваясь в свои группы. Тяжелых работ не боялись, и странно, что в этих группах и офицеры, и матросы не только легко уживались вместе, но стремились к этому объединению и крепко держались друг за друга. От слепой ненависти «братвы» к «драконам», столь ярко вспыхнувшей в первые годы революции, не осталось и следа. Наоборот, в этих морских группах, всегда твердо державших свою внутреннюю дисциплину, было заметно если не чинопочитание, то, во всяком случае, признание старшинства и авторитета офицера. Он всегда становился фактическим старшим в группе, даже если назначен был другой. Но чужаков в эти артели и не назначали. После нескольких печально окончившихся попыток начальство решило предоставить флотских самим себе, так как дорожило ими как лучшими ударниками на самых тяжелых работах.

Характерен такой случай. Позднею осенью на Соловки зашел возвращавшийся в Архангельск ледокол. Капитан пропьянствовал ночь с Эйхмансом, а в то время ударил сильный мороз и бухта разом покрылась толстым слоем льда. Ледокол вмерз, и вмерз безнадежно, так как был построен по системе адмирала Макарова, то есть пробивал себе путь, вползая на лед с разбега и продавливая его своею тяжестью. Лишенный возможности разбежаться по чистой воде, он был бессилен.

Работавший в то время в порту морской офицер Вонлярлярский предложил пропилить путь ледоколу во льду, пользуясь обычными двуручными пилами. На один конец такой пилы привязывался груз, который тянул ее книзу, а за другой пиль-

щик вытягивал ее вверх, действуя по вертикали. Но для успеха дела — пропилки дороги в полтора-два километра — была необходима одновременная работа на всем ее протяжении, так как иначе уже готовые участки замерзали бы снова за время пропилки последующих. Для такой работы нужно было мобилизовать всех дроворубов и побудить эту нестройную, хаотическую толпу к одновременному, дружному и напряженному действию в тяжелых условиях.

Чтобы достигнуть этого, Вонлярлярский, которому было поручено руководство работой, использовал именно эту внутреннюю спайку и дисциплину флотских. Он поставил их старшими групп по всей линии и создал этим крепкий передаточный аппарат для утверждения своей воли.

Работа была выполнена быстро и четко, без неразберихи и суетолоки, ругани и избиения, неизменно сопровождавших администрирование грузино-меньшевицкой рабсилы.

Только в такой среде мог возникнуть и вызреть рациональный, обладавший шансами на успех план побега. Возможность предательства в ней была сведена к нулю, хотя сексотов, навербованных из самих заключенных, было много. Но среди флотских каждый возможный предатель знал, что он будет узнан и неминуемо убит не самими пострадавшими от него, но коллективом — «братвой». О подготовке к побегу этой группы знали и другие, но тайна была сохранена.

Выполнению плана помог случай. Талантливый молодой инженер Стрижевский сконструировал для морских прогулок Эйхманса глиссер — моторный катер с воздушным винтом, развивавший скорость вдвое большую, чем катера обычного типа. Получив пять-шесть часов преимущества, он становился, безусловно, неуловимым для наводных преследователей. Но оставался самолет. Он мог догнать глиссер и потопить его одной ручной гранатой. Нужно было избавиться от этой угрозы.

Ангар тщательно охранялся чекистами. Сам летчик уходом за машиной не занимался, называл ее не иначе как «гробом», чего этот аппарат времен первой великой войны вполне заслуживал. Кажется, в авиационной механике летчик сам был слаб и поднимался в воздух только в пьяном виде, но летал смело и искусно.

Уход за самолетом вел некто Силин, лицо мало кому известное, инвалид, хромавший на обе ноги. Он помещался при ангаре, под строгим контролем охраны, имел большой срок. Появляясь иногда в кремле, он редко с кем разговаривал, брал по многу книг в библиотеке, закупал продукты в закрытом магазине, куда был допущен, и уходил. Начальство, видимо, им дорожило и даже платило ему какое-то жалованье.

Позже говорили, что это был известный морской летчик, носивший тогда другую фамилию, но точно об этом знали очень немногие.

Силин, этот загадочный человек — таких немало было тогда на Соловках, — и взял на себя главную роль в осуществлении побега. К намеченному времени, не раньше, не позже, он должен был вывести самолет из строя.

Это был не риск. Это было осознанное обречение себя на гибель. Сам бежать он не мог. Он находился под постоянным наблюдением, и даже отсутствие его на квартире в ночное время, несомненно, тотчас бы вызвало тревогу. Кроме того, можно было предполагать, что при его выходе из ангара за ним направлялся наблюдатель. Следовательно, побег был бы сорван.

Участь его при удаче побега без него тоже была вполне ясна. Непригодность аппарата к полету в нужный момент была вполне достаточной причиной для расстрела, даже при отсутствии других улик.

На сохранение жизни у Силина не было ни одного шанса. Он шел на неотвратимую смерть. И все же он пошел.

Туманной ноябрьской ночью, после вечерней поверки, из крепля скрылось три или четыре человека. Вероятно, они спустились со стены по веревке, что было нетрудно, потом веревка была кем-то убрана.

Нападение на часового при катерах вынырнувших внезапно из тумана людьми тоже не представляло большого труда. Он не был убит, а лишь обезоружен и связан. Гораздо труднее было снабдить к этому моменту глиссер большим запасом бензина. Это мог выполнить только Силин, имевший в своем распоряжении горючее самолета. Вероятно, он заранее пронес баки в условленное место.

Отважные беглецы вышли в море ночью. Их отсутствие было замечено только на утренней поверке. В то же время обнаружено исчезновение глиссера.

Беглецы могли уйти за ночь на 250—300 километров.

— Самолет!

Мотор был разобран для генеральной чистки без приказа пилота. Некоторые части его оказались негодными.

Силин был расстрелян, но, очевидно, не назвал никого при допросах. Несколько моряков было арестовано, но держали их недолго. Улик не было.

Лишь один Силин «положил живот свой за други своя» и совершил этот подвиг, следуя славной традиции Российского Императорского флота. Он был верен ей до конца.

О дальнейшей судьбе этих единственных беглецов, которым все же удалось вырваться с каторги, сведений нет. Можно сказать с уверенностью лишь то, что они не были пойманы. Вышедшие все же в погоню катера вернулись ни с чем.

Но в эмиграции никто не мог дать сведений об их прибытии, которое не могло пройти незамеченным. Остается предположить лишь одно: отважные моряки погибли в пути. Это вполне возможно. Глиссер был хрупким суденышком. Столкновение с льдиной в тумане было бы верною гибелью для него. Попав в шуту, он был бы растерт ею в щепки... Кроме того, вряд ли у беглецов были компас и морская карта.

«Безумству смелых поем мы славу», но высшей славы достоин тот, кто без малейшей надежды на спасение принес себя в жертву их подвигу...

Предисловие и публикация АЛЕКСЕЯ ВИНОГРАДОВА

ЧИТАТЕЛЬ • «СМЕНА» • ЧИТАТЕЛЬ

- Г Чужих детей не бывает?
- Г Доля солдатская...
- Г Комсомол — моя судьба?

Г Мы, члены Ленинградского центра помощи детским домам и интернатам, депутаты, представители других общественных организаций, обращаемся с просьбой защитить права детей-сирот от произвола работников исполкома Куйбышевского района.

В то время когда сотни юных спортсменов подросткового клуба «Маяк» находились в туристских походах и поисковых экспедициях, участвовали в соревнованиях в «Артеке» и Новороссийске, проводили спартакиады в 34 пионерских лагерях страны, председатель райисполкома В. Кретов втайне от депутатов 13 июля 1989 года подписал решение исполкома о ликвидации подросткового клуба «Маяк».

Чем же помешал детский клуб районным властям?

Оказывается, их не устраивает, что наряду с трудными подростками из неблагополучных семей района в клубе занимаются дети-сироты из детских домов и интернатов, расположенных за пределами района. Этих юных ленинградцев, не имеющих родителей, чиновники исполкома называют «чужими». В поддержку клуба выступили три ленинградские газеты, были две передачи по ра-

дио, но, как говорится, глухих не дозовешься.

После всего этого казенно мыслящие люди, по образному выражению К. Чуковского, «мертвецы от педагогики», стали обвинять работников клуба, что они якобы незаконно ездили на спасательные работы в Армению. Но никто из должностных лиц так и не смог нам ответить, на каком основании закрыты бесплатные детские секции. Почему обмануты дети-сироты? Под разными предлогами этот же исполком ликвидировал подростковые клубы «Невский» и «Спутник», а в оставшихся клубах и пустующих помещениях разместил платные кружки и видеосалоны, пропагандирующие разгул насилия и порнографии. По вине должностных лиц эти видеосалоны способствуют развитию в центре Ленинграда криминогенных зон.

Райисполком не отозвался и на сообщения из интернатов об избивании и насилии над детьми-сиротами со стороны воспитателей интернатов. Секретарь исполкома Г. Козлова прямо заявила: «Вы готовы защищать каждого ребенка, но своими жалобами отрываете людей от работы». Где теперь ребятам искать защиты? Группа избитых девочек пришла на Ле-

нинградское телевидение, а мальчишки, не выдержав садистских пыток, без копейки денег добрались до Москвы просить защиты в Советском детском фонде имени В. И. Ленина. Но разве это выход?

В обращении к школьникам 1 сентября Н. И. Рыжков, в частности, сказал: «Правительство поддержит любое начинание, интересное для вас и полезное для общества».

Хотелось бы верить.

А. ИОРДАН, член президиума правления Советского детского фонда имени В. И. Ленина,
В. СКВОРЦОВА, член правления Советского детского фонда имени В. И. Ленина. Всего 270 подписей

Мне двадцать два года. Всю свою сознательную жизнь я верила в людей. Верила в то, что справедливость восторжествует, что добро победит зло, что в конце концов хороших людей больше, чем плохих, и они всегда помогут, поддержат, подскажут.

За последние год-два я разуверилась во многом. В комсомоле, например. Вижу, что это только ступенька для тех, кто, пройдя по головам своих же товарищей, стремится на вершину партийного олимпа или хотя бы на маленькую вершинку, потому что даже она дает кое-какие выгоды, а главное — власть. Власть над теми, из кого эти «новопомазанные боги» выбиваются сами. В прошлом школьная активистка, в двадцать один год я поняла, что комсомол — фикция. Для меня люди делятся на честных и нечестных, а есть у человека комсомольский или партийный билет — это не имеет значения. Я написала заявление с прось-

бой исключить меня из рядов ВЛКСМ, потому что не хочу врать и притворяться, потому что не считаю комсомол какой-то реальной силой. Боже мой, если бы вы слышали, какими словами меня заклеили парторг нашей фабрики на заседании комитета ВЛКСМ! «Мусор, грязь, смазливая девчонка...» — вот далеко не полный набор. А ведь такие люди, как он, только позорят партию, потому что ничего не умеют делать, кроме как попусту болтать. Да и комсомольцы от него не оставали: осудили меня за то, что я «бросила комсомол в такой трудный перестроечный момент». А ведь некоторые из них уже по полгода не платили комсомольские взносы.

Я приехала в Ленинград из небольшого городка в Тульской области. Не спешите скептически ухмыляться, подождите. Нет, не на «ловлю счастья и чинов», но, возможно, «по воле рока» — просто потому, что, приехав сюда в четырнадцать лет, влюбилась в этот город, как в человека, не было сил без него жить. Потом поняла, что это ловушка для таких романтических девочек, как я. Поймает тебя город, выжмет, высосет все соки и выкинет на свою прекрасную бульжную мостовую. Впрочем, при чем здесь город? Он-то как раз ни в чем не виноват. Жаль уезжать отсюда, потому что все же люблю здесь все: мосты, дворцы и даже страшные проходные дворы. А за пять лет ни разу ни в ресторане, ни в баре не была, все больше по театрам и ножками по улицам.

Приехала я сюда почти с пятерочным аттестатом (три четверки) и пошла учиться в техникум, потому что экземе-

ны не надо было сдавать. В институт идти не хотела: все боялась чужое место занять, себя хотела найти...

Почему у нас к рабочему человеку относятся, как к скотине? Страна рабочих и крестьян... Много ли они имеют, те, которые вкалывают по восемь, а то и по десять—двенадцать часов в сутки, так как любой ценой нужен план? Почему у нас все наоборот? Со мной в общежитии живет много людей. Есть шестнадцатилетние девочки, тридцатилетние женщины, семьи. Условия, по общежитским меркам, вполне хорошие: газ, горячая вода, ванна. Но ведь все мы люди. Нельзя же нас держать, как лошадей в конюшне, там и то у каждой отдельное стойло. Выходит, мы, люди, хуже? Я ничего не требую. Просто хочу понять, как дошли мы до такой жизни. Мы потихоньку тупеем в очередях, многие опускаются на дно пьянства и наркомании от собственного бессилия и неверия в провозглашенные идеалы. Зависимые от бумажек и маленьких царьков, мы теряем последние признаки цивилизованности, вырывая друг у друга деньги, квартиры, должности, мы разрываем друг друга на части из-за куска колбасы. А тех, кто отходит в сторону, кто кричит нам: «Люди, остановитесь, опомнитесь! Люди!» — мы разрываем первыми, как стая волков, почуявшая добычу.

Достоевский говорил, что красота спасет мир. Из нашей жизни она ушла. Что или кто спасет нас с вами? Может быть, те мальчишки, что прошли через Афганистан? Мне кажется, они знают что-то такое, чего нам, не бывшим там, никогда не постичь. Может быть,

это цена жизни. Или цена смерти... Я не могу жить без веры. Я не верю в партию, в коммунизм, в Бога. Но я верю, что есть в мире любовь, чистая и бескорыстная, есть люди, которые сумеют помочь и поддержать. Я верю, что человек может что-то изменить. И хочется, чтобы мы не поливали друг друга помоями, не соревновались в пошлости, не подставляли ближнему ножку. Давайте помнить, что мы люди, что мы способны не только ненавидеть, но и любить, не только втаптывать в грязь, но и славить друг друга в песнях, не только оскорблять друг друга, но и подавать руку помощи и участия.

**ИРИНА И.,
Ленинград**

Очень часто говорят сейчас о том, что «авторитет комсомола упал». И еще говорят, что авторитет этот нужно поднимать. Друзья мои дорогие! До каких же пор мы будем разглагольствовать об этом?! Не пора ли от слов перейти к делу?

Здесь очень много зависит от комсомольского вожака. Если он будет работать по-настоящему, молодежь потянется за ним, поверит в него, а значит, и в комсомол! Мне на этот счет повезло — я встретил человека, благодаря которому по-настоящему поверил в комсомол. Им был первый секретарь нашего РК ЛКСМУ Павел Дробаха. К сожалению, он ушел с этой работы. За Пашей молодежь тянулась. Потому, что он не был похож на какого-то начальника — он был простецким парнем, всегда старался разбираться в наших проблемах, чем

мог помогал. Вот из-за недостатка таких людей авторитет нашего молодежного союза и упал. А поднимать его всем нам вместе. Кто же это сделает, если не мы сами? Ведь не будет же так, как в популярной детской песенке: «Прилетит вдруг волшебник...» Не прилетит он! У нас получается, что сор мы в избе смели в одну кучку, а вынести не решаемся. То ли руки боимся замарать, то ли ече что-то мешает.

Я верю в комсомол! И буду верить до тех пор, пока у нас будут такие молодые люди, как Павел Дробаха. Такие, как Николай Чепик, Александр Микула — воины, погибшие в Афганистане, Сергей Крылов, машинист электровоза, который во время бакинской трагедии спас десятки людей, первым бросившись в огонь на своей машине. Такие люди у нас всегда были и будут. А тем комсомольцам, которые потеряли веру в комсомол, я хочу сказать: не спешите класть на стол комсомольский билет. Поверьте сначала в то, что этот авторитет можно поднять, а потом постарайтесь заняться конкретным делом, тем, которое, по вашему мнению, смогло бы помочь возрождению нашего союза молодежи. Задайтесь вопросом: если не я, то кто же?

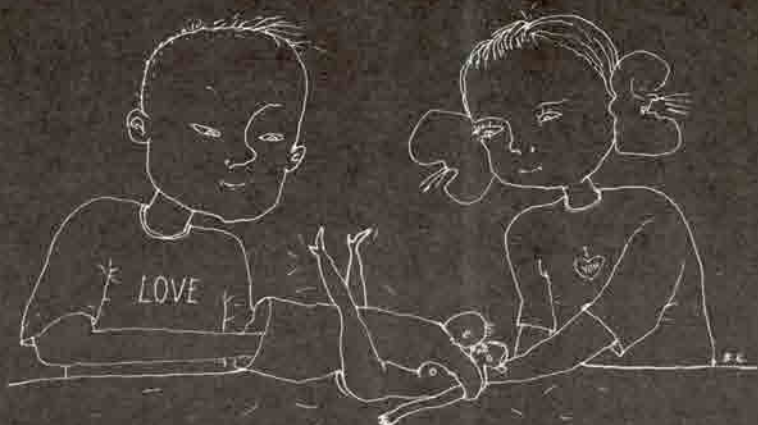
ВИТАЛИЙ ОХРИМЕНКО,
учащийся 11-го класса,
пгт Андреевка Бердянского района
Запорожской обл.

Считаем, что никакая демократия, никакая гласность нам не помогут, так как не подкрепляются действиями. Перестройка пока лишь выразилась в талонной системе и повальном дефиците. И так будет до тех

пор, пока существуют незаслуженные льготы и привилегии. Как говорится: сытый голодного не поймет. Об этом много говорилось, но что поделаешь, мало что меняется. Пока кто-то пользуется спецснабжением, специальным медицинским обслуживанием и другими льготами, до тех пор у нас ничего не будет. В нынешнем положении хорошо живут только хапуги, нечестные люди и руководители всех рангов.

Все материальные льготы прежде всего надо назначать многодетным семьям, ветеранам, пенсионерам. Надо наконец навести порядок в торговой сети. Любой продавец, завмаг, завбазой, попавшийся на обмане, обмане, припрятывании и сбывании товара налево, должен быть немедленно уволен из торговли без права в ней работать. Только тогда в торговле будут работать честные люди. А на возражения типа «Кто будет работать, если всех разогнать?» — я отвечаю: «У нас огромная армия безработной молодежи. Надо организовать курсы при магазинах, торговать по передовым методам. Возможностей много. Смешно и стыдно писать, но постоянно видишь валяющиеся обертки, коробки, кожуру и т. д. от всего того, чего в продаже не бывает. Но кто-то все же этим пользуется. А уверения председателей горисполкомов и секретарей горкомов, что они тоже стоят в очередях в обычных магазинах, вызывают только смех и злобу. Вот так и получается, что никакая гласность ничего не даст — поговорили, и ничего не меняется, а у людей пропадает вера в справедливость.

М. ЕЛИСЭЕВА,
Магадан



ЮРИЙ РАГОЗИН

ЖЕНА ИЗ

-ГО

«А»

Можно ли
в браке
остаться
свободным?
И нужно ли?

Рисунки ВЛАДИМИРА БУРКИНА

107

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

В нашей стране подобных исследований не проводят. А вот в Швеции, Дании, Бельгии, Австрии, США, Финляндии информация о внебрачных союзах ни для кого не в диковинку. Как, впрочем, и в других высокоразвитых капиталистических странах.

Как же называть такие семьи? Незарегистрированными? Неофициальными? Пробными? Как относиться к ним? Как к чему-то если и не совсем безнравственному, то, во всяком случае, не заслуживающему подражания? Или как к нормальному явлению? Предоставлять ли юридические права таким союзам? Или подвергать их дискриминации по сравнению с зарегистрированными? И, наконец, как относиться к детям, рожденным в этих семьях? И как детям, когда подрастут, воспринимать свое внебрачное появление и существование?

Сколько вопросов!.. Не проще ли поставить штамп в загсе?

Зарубежная статистика свидетельствует: внебрачные союзы характерны в основном для молодых людей в возрасте лет до двадцати пяти. С чем это связано? С неустоявшейся моралью? (А если есть свидетельств о браке, мораль устоялась?) С нежеланием мужчин жениться и попадать в зависимость? А ведь в Швеции, например, каждый четвертый брак — незарегистрированный.

И все же, наверное, основная причина роста числа пробных браков в том, что молодые люди, как правило, не имеют финансовой независимости, необходимой для семейной жизни. Однако каждый второй неофициальный союз все же завершается регистрацией.

Известный шведский социолог Я. Трост делает вывод, что мужчину и женщину, живущих вместе без регистрации (за исключением тех случаев, когда это длится

очень недолго), можно считать вполне нормальным брачным союзом. Так воспринимают себя и сами мужчина и женщина, так относятся к ним и окружающие.

Еще пятнадцать лет назад в Швеции, например, к внебрачным семьям большинство людей относилось, как к явлению аморальному. Ныне же там девяносто девять пар из ста, прежде чем вступить в официальный брак, какое-то время живут вместе до свадьбы. Интересно, что это происходит независимо от социального положения молодых людей. И даже родители не усматривают в таком поведении своих детей покушения на нравственность.

Более того. Проводимые на Западе в последние годы опросы подтверждают, что люди стали относиться к подобным бракам не просто лояльнее, а видят в них даже необходимость: так проще узнать привычки друг друга, притереться, проверить себя на совместимость, в том числе и сексуальную: лучше ведь основательно познакомиться на берегу, чем в открытом море. Многие, имеющие уже немалый стаж семейной жизни, даже выражают некоторое сожаление, что сами в свое время не прошли подобных испытаний, а сразу заключили брак...

Все опрашиваемые сходятся на том, что основой и незарегистрированного союза должны быть любовь и взаимное уважение; когда же ожидается рождение ребенка, брак все-таки следует узаконить. То есть пробный брак большинство людей воспринимают не как случайный союз сексуально свободных людей, а как нормальную форму совместной жизни, которая по изначальным признакам соответствует типу традиционной семьи. Ну а забота о будущем ребенка — это следствие того, что в некоторых странах внебрачные дети

обладают меньшими правами, нежели дети, рожденные в зарегистрированном браке (в частности, это касается наследственных прав).

В США общественное мнение более консервативно по отношению к внебрачным союзам, чем в Европе. Однако за последние пятнадцать лет процент мужчин, считающих добрачные половые отношения аморальными, упал с тридцати пяти до пятнадцати, для женщин эти цифры соответственно семьдесят и тридцать пять.

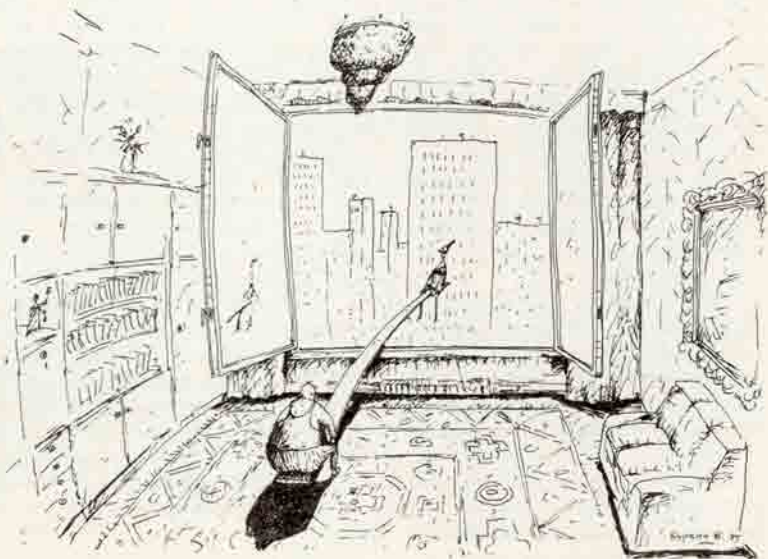
Причем растет не только число людей, лояльно относящихся к пробному браку, но и тех, кто вступает в такие союзы сам. И речь идет не о каких-то случайных отношениях. За двадцать лет — с семидесятого года — удвоилось количество таких пар, их теперь в США более миллиона.

Институт Гэллага неоднократно проводил опросы на эту тему. Аб-

солютное большинство живущих вместе без свидетельств о браке говорят о взаимной любви и считают, что именно в таких семейных отношениях нет посягательств на индивидуальную свободу. Девяносто пять процентов студентов, живущих в пробном браке, сообщили, что в будущем готовы зарегистрироваться.

Однако американцы старшего возраста не очень-то одобрительно относятся к подобным союзам. Особенно это проявляется тогда, когда речь идет об их собственных детях. Одно дело — рассуждать, и совсем другое, когда касается тебя лично... И, конечно же, основная часть родительских упреков падает на головы дочерей.

Социологи западных стран весьма серьезно изучают наравне с традиционными семьями и внебрачные. Интересно, например, как распределяются домашние обязанности между молодыми людьми



ми, состоящими в зарегистрированном и пробном браке. Можно предположить, что во внебрачном союзе власть мужчины как главы дома не узаконена, и он делит домашние заботы со своей спутницей более покорно, чем в традиционной семье. Однако исследования показывают, что разделение труда в семье почти не зависит от формы брака. То есть именно женам достается привилегия хлопотать по дому.

Специалисты отмечают еще одно немаловажное обстоятельство. Большинство молодых людей — в силу ли незнания или других причин, — несмотря на широкий выбор контрацептических средств, не пользуются ими. И вероятность добрачной беременности достаточно велика. И хотя беременность стимулирует заключение брака, число внебрачных рождений, особенно у женщин моложе двадцати пяти лет, увеличивается.

Ну это все у них. А у нас?

Я попросил ученицу одиннадцатого класса 232-й московской школы Юлию Гармаш, которая мечтает стать журналисткой, провести анкетирование среди старшеклассников. Вопросы этой анонимной анкеты касались семейных отношений. В Юлином классе всего три юноши, остальные девушки, поэтому мы решили взять два десятых класса, в которых соотношение мальчиков и девочек более равномерное.

Практически все шестнадцатилетние юноши и девушки, ответившие на вопросы, вступать в брак собираются обязательно. Только шестьдесят пять процентов оценивают брак собственных родителей как удачный. Около пятидесяти процентов опрошенных спокойно относятся к перспективе пожить в незарегистрированном браке.

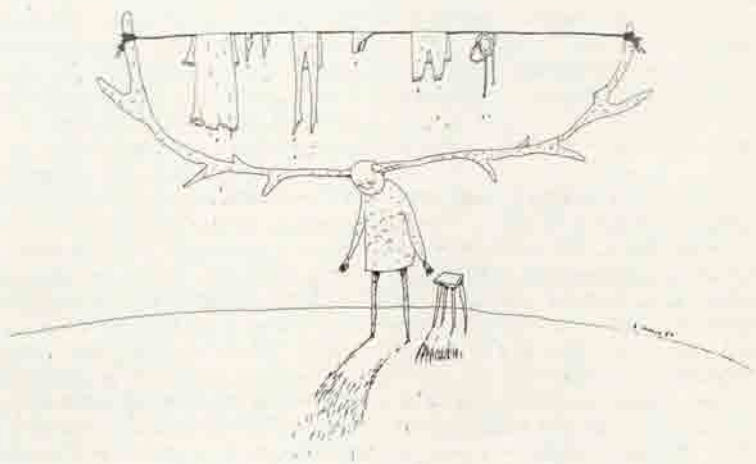
Личная беседа с одной из десятиклассниц позволила мне узнать массу интересных вещей. Например, то, что примерно половина девушек класса активно живет половой жизнью, и разговоры на переменах ведутся в основном о том, кто какими презервативами пользуется, где и за какие деньги их достает. Конечно, не обходят стороной в беседах и ощущения, которые дарят половые контакты с разными партнерами. Причем непопулярны связи с ровесниками (для семиклассниц нормально иметь любовника из десятого класса, а для «взрослых» — шестнадцатилетних девиц — престижен партнер лет этак двадцати пяти, а то и посолоднее; такой может угостить не только мороженым, деньги на которое школьники стреляют у родителей, да и опыт у зрелого мужчины, естественно, больше).

Одна из подруг моей собеседницы познакомилась и стала регулярно отдаваться молодому человеку (уже не первому у нее), который сказал, что ему двадцать шесть лет. Позднее выяснилось, что ему тридцать пять. Однако это несколько не смутило юную прелестницу.

Такова первая половина девичьей части десятого класса. Вторая половина, по наблюдениям моей собеседницы, или менее активна в любовных утехх, или более плотно держит язык за зубами. Любовной вопрос: «Есть ли в классе хотя бы одна девственница?», поверг девушку в легкий румянец. Ведь отрицательный ответ мог в моих глазах и ее причислить к разряду распутниц. Поколебавшись немного, она ответила: «По-моему, нет».

Победная точка была поставлена.

Вот результаты второго опроса.



который провели по моей просьбе Юля Гармаш и Настя Ромашкевич в одном девятом и двух десятых классах своей школы.

Всего было опрошено 98 человек — 57 ребят и 41 девушка.

На вопросы о целомудрии отказались отвечать, ссылаясь на то, что тема стара и опрос бесполезен, 19 юношей и 7 девушек.

6 юношей (из 38) считают целомудрие своей будущей жены совершенно необходимым, объясняя это тем, что так принято (2 человека), в ином случае не будет возможности уважать ее (1 человек), причин не указали 3.

Собираются хранить целомудрие до свадьбы, считая это обязательным, 12 девушек (напомню: из 36). Причины: так принято (4 человека), иначе вообще невозможно выйти замуж (1 человек), причин не указали (2), в противном случае они оказывают супругу неуважение (5).

17 юношей и 11 девушек считают, что требовать сохранения целомудрия до замужества не следует: «дико», «старо», «ненормально» и т. д.

8 юношей и 5 девушек никогда не задавались подобным вопросом, такой проблемы для них вовсе не существует.

2 ребят и 5 девушек относятся к целомудрию как к чему-то желательному, но необязательному.

Выяснилось также несколько сторонников свободной любви, открыто (хотя и анонимно) заявляющих о своем существовании: 5 ребят и 1 девушка.

...Школу я окончил семнадцать лет назад. Сколько же перемен произошло с тех пор в отношении к сексу среди молодежи! Конечно, и в нашем классе потихоньку обсуждались запретные темы, но чтобы открыто бравировать числом любовников, — этого не было.

Я отнюдь не ханжа, но, согласитесь, после такой анкеты невольно задумаешься о достижении сексуальной революции.

То, что школьники узнали не только о тычинках и пестиках, хорошо, о существовании контрацептивов — тоже полезно, но в сумме эти знания порой к чему приводят? Не всех, конечно, однако же...

Продолжим беседу с моей очаровательной собеседницей.

Оказывается, две девочки из ее класса с прошлого еще года живут в семьях у своих мальчиков. И об этом все знают. И к этому уже привыкли. И учителя. И одноклассники. И родители.

Мне ничего не оставалось, как встретиться с юными представителями пробного брака.

Его родители. Отец: «У меня прабабушка вышла замуж в пятнадцать лет. Это было за двенадцать лет до революции. Значит, в принципе в ранних браках нет ничего нового и плохого, так? Мы с женой пошли в загс на четвертом курсе института. Небольшой сексуальный опыт был у обоих. Наш сын очень хорошо относится к своей будущей жене. Да, да, мы уверены, что они поженятся через несколько лет. И он, и она занимаются домашним хозяйством, точнее, помогают нам, это ведь не вредно для дальнейшей жизни. Не боимся ли мы, что Света забеременеет? Нет, она поставила себе спираль».

Ее родители вначале были категорически против. Смирная прежде дочь выдвинула ультиматум: «Уйду из дома, но не хотела бы с вами ссориться, я же вас люблю. Вы же тоже были молодыми...» И после долгих обсуждений родители пришли к выводу, что «действительно, ничего страшного в этом нет. По крайней мере меньше шансов, что сексуальная сво-

бода приведет их дочь к сексуальному распутству». Света младше Алеши на три года.

Алеша и Света. «Мы же любим друг друга. Зачем нам жить отдельно, если есть возможность вместе? Зарегистрируемся ли, как только Свете исполнится восемнадцать? Может, подождем еще: так мы ощущаем себя свободнее».

От кого свободнее? Друг от друга? Но зачем нужна эта свобода? Для потенциальных или реальных связей с другими? Для невыполнения каких-то клятв и обязательств? Толком они не смогли ответить на эти вопросы. Как и на вопрос: если вы любите друг друга, то почему бы вам не зарегистрировать отношения? Ведь если один из партнеров достиг восемнадцатилетия, то с согласия родителей брак может быть заключен. «А зачем нам этот штамп? Он ничего не значит». Хорошо, если он пустой звук, то почему вы его не поставите, ведь, по вашим словам, он не будет играть решающей роли в ваших отношениях? Пожимают плечами.

Одна маленькая деталь. До той поры, как Алеша и Света стали открыто жить вместе, у них уже были неприятности «нелегальные». Если то, что случилось, можно назвать неприятностями. В пятнадцать лет Света сделала аборт от Алеши. Не криминальный. По паспорту своей совершеннолетней знакомой, на которую вполне похожа внешне. Недавно Света полмесяца пролежала в больнице: какие-то женские болезни... Пока она учится в школе, Алеша, окончивший техникум, устроился официантом: нужны деньги...

Так что же делать? С двенадцати лет — под присмотром родителей — позволять детям жить как мужу с женой, чтобы исключить «нелегальность» и тем самым по-

пытаться избежать абортов? А с пятого класса раздавать на уроках презервативы?

Но не произойдет ли в сознании школьников в итоге сдвиг нравственных ценностей? Не упадет ли в их глазах и без того невысокий престиж семьи?

Профессор А. Свядош не считает пробный брак делом аморальным. Если подлинные чувства руководят молодыми, то все остальное не имеет решающего значения, считает он. С этим трудно спорить.

Но как сделать, чтобы подобный брак не превратился в стимул к вседозволенности? «Сегодня, папа, у нас поживет Оля». А через неделю: «Пусть Катя поживет у нас...»?

Кто научит юные создания пониманию важности семьи? И постигается ли это в четырнадцать или в восемнадцать лет? По книгам, фильмам? Отчасти, конечно, и они помогут. Но главным примером (какую банальность сейчас скажу!..), наверное, все-таки должны быть родители.

Они могут каждый день читать детям Библию, но сами жить совершенно по другим законам. И никакая Библия не спасет их детей.

Они могут забыть нравоучения и вести себя так, чтобы у детей не было причин когда-нибудь крикнуть им в запальчивости: «А самито!..»

Пробный брак, он хоть и свободнее — формально — традиционного, но не свобода же друг от друга определяет благополучие. Ответственность друг за друга цементирует любовь. Счастье не зависит ни от штампа в паспорте, ни от пресловутой свободы.

ДОНАЛЬД УЗСТЛЕЙК

Проклятый

ФАЗА ПЕРВАЯ

1

Дортмундер высморкался и смял в кулаке носовой платок.

— Господин директор, трудно представить, до какой степени я ценю то, что вы для меня сделали.

Директор Оутс наградил его сияющей улыбкой и, обойдя письменный стол, похлопал Дортмундера по руке.

— Полное удовлетворение приносят лишь те, кого мне удастся спасти.

Он принадлежал к новому типу чиновников — образцовый слуга народа, приверженный к реформам идеалист, атлетически сложенный, энергичный, открытый и дружелюбный. Дортмундер его ненавидел.

— Я провожу вас до ворот, — прибавил директор.

— Право, не стоит трудиться, — ответил Дортмундер.

Носовой платок был холодным и скользким.

— Но я счастлив от одной только мысли, — настаивал директор, — что вы никогда больше не сделаете дурного шага, никогда не вернетесь в эти стены. Значит, и я сыграл определенную роль в вашем перевоспитании. Вы не представляете, какое я получаю от этого удовольствие.

Дортмундер удовольствия не получал. Он продал свою камеру за триста долларов: в ней был умывальник с горячей водой и работающим краном! Кроме того, она соединялась с комнатой медицинской сестры, что было очень существенно при определении цены. Деньги отдадут Дортмундеру в момент его выхода. Но

Журнальный вариант.

ИЗУМРУД

как их смогут передать, если рядом будет стоять директор?

Чувствуя безнадежность попытки, он заметил:

— Господин директор, в этом кабинете я всегда видел вас, в этом кабинете я слушал ваши...

— Идите, идите, Дортмундер, — оборвал его директор. — Поговорим по дороге.

Они направились к воротам. Пересекая большой двор, Дортмундер увидел Кризи — человека, который должен был передать ему эти триста долларов. Кризи сделал несколько шагов навстречу, потом резко остановился и беспомощно махнул рукой — «ничего не поделаешь».

Дортмундер, в свою очередь, тоже сделал жест — «знаю, черт возьми, ничего не поделаешь!».

У ворот директор протянул ему руку:

— Желаю успеха, Дортмундер. Надеюсь больше никогда вас не увидеть.

При этих словах он хохотнул.

Дортмундер переложил платок в левую руку, пожал руку директора и ответил:

— Я тоже надеюсь больше никогда вас не увидеть, господин директор.

Выражение лица директора слегка изменилось.

— Да, — сказал он, — да...

И посмотрел на свою ладонь.

Высокие ворота отворились, Дортмундер вышел. Он был свободен. Он заплатил свой долг обществу и, черт возьми, потерял

триста долларов, на которые рассчитывал. У него оставалось лишь десять долларов и железнодорожный билет.

В сердцах он бросил носовой платок на тротуар.

2

Келп увидел стоявшего у ворот Дортмундера. Ему было хорошо знакомо это чувство: первая минута свободы, свободный воздух, свободное солнце... Келп подождал, не желая портить Дортмундеру удовольствие, затем включил мотор и медленно поехал за ним.

Отличная машина — черный «кадиллак», со штормками на боковых окнах, кондиционером, автоматической коробкой передач, специальным устройством для опускания дальних фар при оживленном ночном движении и еще массой всяких штучек.

Келп предпочитал появиться в Нью-Йорке на машине, поэтому предыдущей ночью отправился на поиски. На Восточной Шестьдесят седьмой улице он приглядел подходящий автомобиль. Судя по номеру, машина принадлежала врачу; Келп любил медиков — они вечно оставляли ключи в машине. И на этот раз благородная профессия его не разочаровала.

Разумеется, сейчас на машине стоял совсем другой номер — государство не зря четыре года обучало Келпа мастеровитости. Тихонько урчал двигатель, шуршали по грязному асфальту шины, и Келп думал об удивлении и радости, которые Дортмундер испытает при виде друга. Он уже собирался подать ему знак клаксоном, но Дортмундер внезапно повернулся, посмотрел на черную, молчаливую машину с задернутыми занавесками, мрачно следовавшую за ним, и, охваченный паникой, помчался вдоль серой стены тюрьмы.

— Дортмундер! — закричал Келп, нажимая на акселератор. «Кадиллак» сделал рывок вперед, стукнулся о край тротуара, потом повернул прямо на безумно визжавшего Дортмундера.

В последнюю секунду Келп надавил на педаль тормоза. «Кадиллак» встал как вкопанный, а Келпа бросило на руль. Он попытался вылезти из машины, но в возбуждении нажал на другую кнопку — ту, что автоматически блокировала все четыре двери.

— Проклятые врачи! — вскричал Келп и стал бить по всем кнопкам подряд. Наконец ему удалось вывалиться из машины. Дортмундер, весь позеленевший, прижался к стене.

Келп подошел к нему.

— Почему ты убегаешь, Дортмундер? — спросил он. — Ведь это я, твой старый друг Келп.

И протянул ему руку.

Дортмундер ударил его кулаком в глаз.

3

Со скоростью сто километров в час «кадиллак» мчался по автостраде на Нью-Йорк.

— Чего ты от меня хочешь? Я вовсе не просил тебя заезжать. Мне дали билет на поезд.

Сперва проворонить триста долларов, потом так дико перепугаться и, наконец, разбить сустав — и все это в один день!

— Держу пари, тебе нужна работа,— возразил Келп.— Если, конечно, у тебя ничего нет на примете.

— Пока ничего нет.

— Так вот, есть потрясающее дельце,— заявил Келп, демонстрируя в улыбке все свои зубы.— Ты когда-нибудь слышал о местности под названием Талабво?

Дортмундер сморщил нос.

— Один из островов в южной части Тихого океана?

— Нет, страна. В Африке.

— Никогда не слышал. Но я слышал о Конго.

— Кажется, это рядышком.

— Там, должно быть, нездоровый климат?

— Да-а... думаю так. Хотя точно не знаю, никогда там не был.

— Что-то мне не хочется туда ехать,— продолжал Дортмундер.— Сплошная зараза. И к тому же убивают белых.

— Только сестер милосердия,— уточнил Келп.— Но работать надо здесь, в доброй старой Америке. Ты когда-нибудь слышал об Акинзи?

— Это врач, который написал книжку о сексе,— ответил Дортмундер.— Я хотел взять ее в библиотеке, когда сидел, однако список желающих был лет на двенадцать. Тем не менее я записался, но так и не увидел книги. Он вроде умер?

— Я не о нем, я о стране. Акинзи — такая страна.

Дортмундер покачал головой.

— Тоже в Африке?

— Ты о ней слышал?

— Нет. Просто догадался.

— Так вот... Раньше это была британская колония. Получив самостоятельность, они передрались и решили в конце концов разделиться на две страны: Талабво и Акинзи.

— Ты так много знаешь!.. Я потрясен,— вставил Дортмундер.

— Мне рассказали,— скромно признался Келп.

— Но я пока не вижу сути.

— Сейчас. Кажется, у одного из этих кланов был изумруд. Драгоценность, которой молились как богу. Теперь это символ или талисман.

— Изумруд?

— Он стоит полмиллиона долларов.

— Немало,— заметил Дортмундер.

— Естественно, продавать такую вещь нельзя — она слишком известна. Но покупатель есть. Он готов заплатить по тридцать тысяч долларов каждому, чтобы получить этот изумруд.

Дортмундер достал из кармана рубашки пачку «Кэмел» и сунул сигарету в зубы.

— А сколько человек?

— Возможно, пять.

— Итого, сто пятьдесят тысяч долларов за камень, который стоит полмиллиона. Выгодное дельце.

— Но каждый из нас получит по тридцать тысяч,— возразил Келп.

— А кто этот парень? — Дортмундер утопил прикуриватель в гнездо на панельной доске.— Коллекционер?

— Нет. Представитель Талабво в ООН.

Дортмундер повернул голову к Келпу.

— Поясни.

— Хорошо. Когда английская колония разделилась на две страны, Акинзи получила город, в котором хранился изумруд. Но клан, который владел камнем, живет в Талабво. Из ООН отправили экспертов, чтобы разобраться в ситуации, и Акинзи выложила деньги. Но проблема не в деньгах. В Талабво хотят изумруд.

— Предположим, мы крадем изумруд для Талабво... Почему бы Акинзи не отправиться в ООН и не сказать: «Заставьте вернуть нам наш изумруд»?

— Талабво не станет кричать на всех углах, что он у них,— ответил Келп.— Они не собираются выставлять его напоказ, а хотят просто владеть им. Как символом. Тебя это интересует?

— Посмотрим,— уклончиво ответил Дортмундер.— Где он находится в настоящий момент?

— В Нью-Йорке. В «Колизее» проходит выставка всяких африканских штук. Изумруд — часть экспозиции Акинзи.

— Значит, стащить его надо из «Колизея»?

— Не обязательно. Через несколько недель выставка отправится в турне по разным городам. Перевозка поездами и грузовиками. Может представиться множество возможностей наложить на него лапу.

Дортмундер кивнул.

— Хорошо. Мы стащим изумруд, отдадим этому парню...

— Айко,— подсказал Келп, делая ударение на первом слоге.

Дортмундер нахмурил брови.

— Это же японский фотоаппарат.

— Нет, это имя представителя Талабво в ООН. И если дело тебя заинтересовало, мы поедем к нему. Я сказал, что нам необходим организатор, способный составить план, и предложил тебя. Но он не знает, что ты сидел в тюрьме.

— Хорошо,— удовлетворенно произнес Дортмундер.

Майор Патрик Айко — черный, коренастый, усатый — изучал досье на Джона Арчибальда Дортмундера и неприязненно качал головой.

Он прекрасно понимал, почему Келп не хотел сказать ему, что у Дортмундера заканчивается срок в тюрьме. Но Келп должен понимать, что майор автоматически проверяет всех людей, которые будут заниматься изумрудом «Балабобо». Ведь только честнейшие из честных передадут украденный камень Талабво.

Секретарь майора — чернокожий, худой и скромный,— поблескивая стеклами очков, доложил:

— Сэр, вас хотят видеть господин Келп и еще один джентльмен.

— Пусть войдут.

Майор закрыл досье, спрятал его в ящик письменного стола и с широкой улыбкой приветствовал двух белых, приближающихся к нему по огромному восточному ковру.

— Господин Келп, счастлив видеть вас.

— Я также счастлив, майор Айко,— ответил Келп.— Позвольте представить вам Джона Дортмундера, человека, о котором я вам говорил.

— Господин Дортмундер,— майор слегка поклонился,— пожалуйста, садитесь.

Если придерживаться фактов, майор Айко знал о Дортмундере довольно много: тридцать семь лет, родился в одном из маленьких городов центрального Иллинойса, вырос в детском доме, служил в американской армии и в извечной войне «полицейские — преступники» находился на стороне последних. Дважды сидел в тюрьме за кражи, освобожден сегодня утром под честное слово.

Судя по одежде, это был человек, привыкший к обеспеченной жизни, но испытывающий сейчас временные трудности. Глаза Дортмундера были холодными, внимательными и невыразительными. Такие люди хранят мысли при себе, подумал майор. Они медленно принимают решение, но твердо его придерживаются. Сдержит ли Дортмундер слово? Майор решил, что рискнуть стоит.

— Поздравляю с благополучным возвращением, господин Дортмундер,— сказал он.— Полагаю, вам приятно вновь оказаться на свободе.

Дортмундер и Келп переглянулись.

Майор улыбнулся.

— Нет, господин Келп ничего мне не говорил.

— Знаю,— сказал Дортмундер.— Вы осведомлялись на мой счет?

— Естественно,— ответил майор.— Разве вы не сделали бы то же самое на моем месте?

— Возможно, мне следовало бы так же поступить,— вслух подумал Дортмундер.

— Возможно,— согласился майор.— В ООН будут счастливы дать вам сведения обо мне. Или обратитесь в ваше министерство иностранных дел — уверен, что у них есть на меня досье.

Дортмундер пожал плечами.

— Не имеет значения. Что вы обо мне выяснили?

— Вероятно, вам можно доверять. Господин Келп сказал, что вы составляете хорошие планы.

— Стараюсь.

— Что же произошло в последнем случае?

— Не получилось.

Келп бросился на защиту друга.

— Майор, это не его вина. Просто неудача. Он полагал...

— Я читал досье,— перебил майор и повернулся к Дортмундеру.— Это был превосходный план, вам просто не повезло. Но

я очень доволен, что вы не тратите время на оправдания.

— Давайте лучше поговорим о вашем знаменитом изумруде, — сказал Дортмундер.

— Давайте. Вы можете завладеть им?

— Не знаю. А какую помощь вы можете нам оказать?

Майор нахмурил брови.

— Помощь?

— Нам, вероятно, понадобится оружие. Может быть, машина или две, может быть, что-нибудь еще — все зависит от того, как пойдет дело.

— О, да, — ответил майор. — Материальное обеспечение я беру на себя.

— Хорошо. Теперь относительно денег. Келп сказал мне, что вы платите по тридцать тысяч на человека.

— Да, тридцать тысяч долларов.

— При любом количестве людей?

— Ну, — промолвил майор, — в разумных пределах. А то наберете армию...

— Каков лимит?

— Господин Келп говорил о пятерых.

— Хорошо. Это составит сто пятьдесят тысяч. А если мы справимся меньшим числом?

— Все равно по тридцать тысяч на человека. Я не хочу поощрять ограбление с недостаточными силами. Так что по тридцать тысяч на человека, много вас будет или мало.

— До пяти?

— Если вы мне скажете, что необходимы шестеро, я оплачу шестерых.

Дортмундер кивнул.

— Плюс расходы.

— Прошу прощения?

— Речь идет о работе, которая может занять месяц, а то и шесть недель, — заявил Дортмундер. — Нам нужны деньги на жизнь.

— Вы хотите сказать, что нужен аванс в счет тридцати тысяч?

— Я хочу сказать, что нужны деньги на жизнь. Независимо от тридцати тысяч.

— Нет, нет. — Майор покачал головой. — Так мы не договаривались. Тридцать тысяч на нос, и все.

— Салют, — бросил Дортмундер. — Пошли, Келп.

— Как?! Вы уходите? — воскликнул Айко.

— Да.

— Почему?

— Вы слишком жадны. Такая работа будет действовать мне на нервы. Если я приду к вам за оружием, вы не дадите мне больше одной пули на ствол.

— Подождите.

Майор размышлял, быстро производя в уме финансовые подсчеты.

— Я дам вам по сто долларов в неделю на человека.

— Двести,— возразил Дортмундер.— Никто не сможет прожить в Нью-Йорке на сто долларов в неделю.

— Сто пятьдесят,— сказал майор.

Келп, до этого сидевший молча, оживился:

— Разумная сумма, Дортмундер. Какого черта, всего-то на несколько недель.

— Согласен,— ответил Дортмундер.— Что вы можете сообщить мне относительно этого изумруда?

— Мне известно лишь то, что его хорошо сторожат. Я пытался узнать подробности: количество охранников и тому подобное... Но все сведения держатся в секрете.

— В настоящее время камень в «Колизее»?

— Да, в экспозиции Акинзи.

— Хорошо. Мы пойдем и посмотрим на него. Где получить деньги?

— Деньги? — переспросил майор.

— Сто пятьдесят за первую неделю.

— О! — Майор не привык к подобным скоростям.— Я позволю в бухгалтерию. Вы можете зайти туда за деньгами.

— Отлично.— Дортмундер встал, и Келп последовал его примеру.— Я сообщу вам, когда что-нибудь понадобится.

Майор не сомневался в этом.

5

— Не выглядит он на полмиллиона,— разочарованно заметил Дортмундер.

— Не забывай про тридцать тысяч каждому.

Изумруд — темно-зеленый камень со множеством граней, размером немного меньше мяча для гольфа — покоился на маленькой белой треноге. Тренога стояла на покрытом красной шелковой материей столе, заключенном в стеклянный куб. Кроме того, красный бархатный шнур, закрепленный на подставках, удерживал любопытных на почтительном расстоянии. У каждого угла стоял чернокожий страж в голубой морской форме, с пистолетом у бедра. Небольшая табличка на подставке, похожей на шопитр, гласила: «ИЗУМРУД «БАЛАБОМО». Дальше шло описание его истории в деталях, с названиями имен, дат и местностей.

— Я видел достаточно,— заявил через некоторое время Дортмундер.

— Я тоже,— отозвался Келп.

Они вышли из «Колизея» и направились в Центральный парк.

— Стащить его будет трудно,— произнес Дортмундер.

— Безусловно,— согласился Келп.

— А не лучше ли нам подождать, пока они отправятся в путь? — вслух подумал Дортмундер.

— Это будет не завтра,— указал Келп.— Айко решит, что мы бьем баклуши и только проживаем его денежки.

— Про Айко забудь. Если мы пойдем на дело, то командовать буду я, не беспокойся.

— Согласен, Дорт. Как хочешь.

— Что ты думаешь об Айко? — спросил Дортмундер.

— Нормальный парень. А что?

— Ты веришь, что он заплатит?

Келп засмеялся.

— Конечно, заплатит! Если он хочет получить изумруд, то заплатит как миленький!

— А вдруг откажется? Мы нигде не найдем другого покупателя.

— Страховая компания, — не задумываясь, ответил Келп. — Они не моргнув выложат сто пятьдесят тысяч долларов за камешек, который стоит полмиллиона.

— Пожалуй, — согласился Дортмундер. — Возможно, это лучший выход. Пусть Айко финансирует дело, а когда у нас будет изумруд, мы продадим его страховой компании.

— Мне это не нравится, — твердо заявил Келп.

— Почему?

— Потому что он все о нас знает. Если изумруд действительно большая ценность для их страны, они могут здорово обозлиться. А мне вовсе не хочется быть преследуемым целой африканской страной. Даже если я получу деньги.

— Ну, ладно, — сказал Дортмундер. — Посмотрим, как все пойдет.

— Целая страна против меня, — с дрожью пробормотал Келп. — Мне это совсем не нравится.

— Ладно.

— Духовые трубки и отравленные стрелы, — продолжал Келп.

— Я думаю, они не такие отсталые.

— Ты воображаешь, что это меня успокаивает? Пулеметы, самолеты...

— Ладно, ладно, — повторил Дортмундер. Он предпочел переменить тему. — Кого, по твоему мнению, нужно привлечь к делу?

— Нас должно быть пятеро или шестеро?

— Полагаю, что пятеро, — ответил Дортмундер и высказал одно из правил своего существования: — Если работу невозможно выполнить впятером, значит, ее вообще невозможно выполнить.

— Хорошо, — согласился Келп. — Значит, нам нужен шофер, слесарь и мастер на все руки. Ты знаешь Чефуика?

— Железнодорожный фанат? Он совершенный псих!

— Но замечательный слесарь. И на свободе.

— Хорошо, — сказал Дортмундер, — позвони ему.

— Теперь шофер.

— Что ты скажешь о Ларце? Помнишь его?

— Брось, — сказал Келп. — Он в госпитале.

— Давно?

— Недели две. Налетел на самолет.

— Что-что?

— Я не виноват, — продолжал Келп. — Насколько мне известно, он отправился на свадьбу кузена. Возвращаясь в город, поехал по ошибке в другую сторону и оказался на аэродроме Кеннеди...

— Да-а, — произнес Дортмундер.

— Да. Он запутался в знаках и не успел опомниться, как на взлетной полосе № 17 врезался в самолет, прилетевший из Майами.

— На взлетной полосе № 17...

— Так мне сказали.

Дортмундер достал пачку «Кэмел» и предложил Келпу. Тот покачал головой.

— Я не курю. Бросил — после рекламных роликов о раке.

Дортмундер застыл.

— Рекламных роликов о раке?

— Ну, по телеку.

— Я не смотрел телевизор четыре года.

— Ты много потерял.

— Очевидно, — произнес Дортмундер. — Рекламные ролики о раке... Так о водителе. А со Стэном Марчем ничего страшного в последнее время не происходило, не слышал?

— Нет. А что с ним?

Дортмундер пристально посмотрел на Келпа.

— Я ведь тебя спрашиваю.

Келп недоуменно пожал плечами.

— По последним сведениям, с ним все в порядке.

— Тогда почему бы не пригласить его?

— Если ты уверен, что с ним все в порядке...

— Я позвоню Стэну.

— И, наконец, — напомнил Келп, — «мастер на все руки».

— Боюсь кого-нибудь называть, — вздохнул Дортмундер.

Келп удивленно посмотрел на него.

— Почему? Ты хорошо разбираешься в людях.

— Как насчет Эрни Данфорга?

Келп покачал головой.

— Он завязал.

— Завязал?

— Да. Стал священником. Понимаешь, судя по тому, что я слышал, он посмотрел фильм о...

— Хорошо, хорошо. — Дортмундер встал и швырнул свою сигарету в пруд. — Я хочу узнать относительно Алана, — напряженным голосом проговорил он, — меня интересует только «да или нет»!

Хлопая глазами, Келп спросил:

— Как это — да или нет?!

— Его можно использовать?

— Конечно. Гринвуд очень хороший парень.

— Я позвоню ему! — закричал Дортмундер.

— Я слышу тебя, слышу.

Дортмундер огляделся.

— Пойдем выпьем немного.

— Конечно, конечно, — ответил Келп и вскочил. — Все, что ты хочешь.

мой улицы, где жил вместе с матерью, взял с заднего сиденья новую пластинку «Звуки Индианополиса» и не спеша направился к дому.

— Мама! — закричал он, входя на кухню. — Посмотри, что у меня есть.

Они прошли в гостиную, и Марч поставил пластинку на проигрыватель.

Комната наполнилась визгом тормозов, ревом моторов, скрежетом шестеренок в коробках передач.

Они молча прослушали ее, а когда пластинка кончилась, Марч заявил:

— Потрясающая вещь!

— Одна из лучших, что я слышала, Стэн, — поддержала мать. — Честно. Переверни на другую сторону.

Марч взял пластинку, и тут зазвонил телефон.

— Черт побери!

— Пускай себе трезвонит, — сказала мать. — Ставь!

— Угу.

Марч перевернул диск, и телефонный звонок был заглушен диким ревом двадцати моторов, запущенных разом. Однако звонивший не сдавался. Это жутко действовало на нервы. Гонщик, делающий повороты при скорости сто девяносто в час, не должен отвечать на телефонные звонки.

В конце концов побежденный Марч с отвращением передернулся, посмотрел на мать и снял трубку.

— Кто это? — закричал он, перекрывая шум пластинки.

Далекий голос спросил:

— Стэн Марч?

— Слушаю!

Далекий голос что-то произнес.

— Что?!

Далекий голос заорал:

— Это Дортмундер!

— А! Как дела?

— Хорошо. Ты где живешь? На испытательном полигоне?

— Подожди секунду! — завопил Марч и, положив трубку, остановил проигрыватель. — Сейчас дослушаем, — сказал он матери. — Это парень, которого я знаю. Может, предложит мне работу.

— Я знала, обязательно что-нибудь наклонится, — ответила мать. — Нет худа без добра.

Марч снова взял трубку.

— Алло, Дортмундер?

— Вот теперь лучше. Что ты сделал? Закрыл окно?

— Нет, это была пластинка.

Наступило молчание.

— Дортмундер? — окликнул Марч.

— Я тут, — ответил Дортмундер. — Хотелось бы знать, свободен ли ты для работы шофером?

— Спрашиваешь!

— Встречаемся сегодня вечером в «Гриль-баре» на Амстердам-авеню.

— Ладно. Когда?

— В десять.

— Буду. До скорого, Дортмундер.

Марч повесил трубку.

— Похоже на то, что в скором времени у нас будут деньги.

— Отлично,— сказала мать.— Давай включай.

— Угу.

Марч подошел к проигрывателю и поставил вторую сторону.

7

— Ту-ту-у! — произнес Роджер Чефуик.

Три его небольших поезда были в движении — сновали туда и сюда по подвалу. Переводились стрелки, подавались команды, проводились всевозможные маневры. Сигнальщики выходили из своих будок и махали флажками. Вагоны-платформы останавливались в определенных местах и наполнялись зерном, чтобы немного дальше освободиться от него. Почтовые мешки грузились в почтовые вагоны. Раздавались звонки, опускались шлагбаумы, потом, после прохождения поезда, поднимались. Движение было очень интенсивным.

— Ту-ту-у! — произнес Роджер Чефуик.

— Роджер! — позвала его жена.

— Да, дорогая?

— К телефону!

— О, господи! — Чефуик вздохнул.— Скажи, сейчас подойду.

Он опустил рычаг главного контроля и поднялся наверх.

Кухня — крошечная, белая, теплая — пахла шоколадным кремом. Мод стояла у раковины и мыла посуду.

— Ммм, аромат!..— восхищенно простонал Чефуик.

— Скоро остынет.

— У меня просто слюнки текут,— добавил он, чтобы доставить ей удовольствие, и прошел в гостиную, где находился телефон.

— Алло?

— Чефуик?

— Он самый.

— Это Келп.

Имя было знакомо, но Роджер никак не мог вспомнить.

— Простите...

— В булочной,— сказал голос.

Чефуик вспомнил. Ну, конечно, ограбление булочной.

— Келп! Рад тебя слышать! Как поживаешь?

— О, помаленьку. Я хотел...

— Очень, очень рад тебя слышать. Сколько мы не виделись?

— Два года. Я хотел...

— Да-а, время летит.

— Что говорить. Я хотел...

— А я не забыл тебя. Просто думал о другом.

— Это ничего. Я хотел...

— Но я же не даю тебе и слова сказать. Извини. Слушаю внимательно.

Молчание.

— Алло? — позвал Чефуик.

— Да, — ответил Келп.

— Ты здесь? Ты, кажется, что-то хотел? — напомнил Чефуик.

— Да, я хотел кое-что... Я хотел узнать, свободен ли ты.

— Секундочку, прошу тебя.

Чефуик положил трубку на стол, подошел к кухне и спросил у жены:

— Дорогая, как у нас сейчас с финансами?

Мод с задумчивым видом вытерла руки о передник и ответила:

— По-моему, у нас осталось около семи тысяч на текущем счету.

— И ничего в загашнике?

— Нет. Я взяла последние три тысячи в конце апреля.

— Спасибо, — сказал Чефуик, вернулся в гостиную, сел на диван и взял трубку.

— Алло?

— Да, — устало ответил Келп.

— Меня это очень интересует.

— Отлично. Встретимся сегодня вечером в десять часов в «Гриль-баре» на Амстердам-авеню.

— Хорошо, до скорого. — Чефуик повесил трубку и вернулся на кухню. — Я вечером выйду ненадолго.

— Надеюсь, не задержишься допоздна?

— Сегодня нет, вряд ли. Мы просто поболтаем. — Чефуик широко улыбнулся. — Ну, крем готов?

Мод ответила ему улыбкой.

— Мне кажется, теперь можно попробовать.

8

— Это ваша квартира? — спросила девушка.

— Гм... да, — с улыбкой ответил Алан Гринвуд, закрывая дверь и пряча ключ в карман. — Чувствуйте себя как дома.

Девушка остановилась посредине комнаты и осмотрелась:

— Должна сказать, ваше холостяцкое гнездышко содержится в исключительном порядке.

— Делаю, что могу, — ответил Гринвуд, направляясь к бару. — Но женской руки здесь не хватает.

— Это совсем незаметно.

Гринвуд включил электрокамин.

— Что будете пить?

— О! — произнесла она, поведя плечами и слегка жема-нясь. — Что-нибудь полегче.

Гринвуд открыл небольшой бар в книжном шкафу и приготовил «Роб Рой», достаточно сладкий, чтобы сгладить убийственную крепость виски.

Когда он повернулся, девушка любовалась картиной, висевшей в простенке между окнами, завешенными бархатными портьерами.

- Как интересно! — воскликнула она.
- «Изнасилование сабинянок», — объяснил Гринвуд. — Конечно, в символическом изображении. Ваш бокал.
- О, спасибо!
- Он поднял свой бокал и торжественно произнес:
- За вас... Миранда.
- Миранда улыбнулась, смущенно опустила голову и прошептала:
- За нас.
- Гринвуд улыбнулся.
- За нас.
- Они выпили.
- Идите сюда, садитесь, — сказал он, увлекая ее к дивану, покрытому белой бараньей шкурой.
- О, это настоящая баранья шкура?
- Гораздо теплее, чем кожа, — мягко произнес он.
- Они сидели рядышком, соприкасаясь плечами, и глядели в камин.
- Ах, совсем как настоящий! — восхитилась Миранда.
- И никакого пепла, — добавил Гринвуд. — Я люблю, чтобы все было... чисто.
- Как я вас понимаю! — Миранда озарилась улыбкой.
- Он положил руку ей на плечо. Она подняла подбородок.
- Раздался телефонный звонок.
- Гринвуд закрыл глаза, потом открыл их.
- Не обращайтесь внимания.
- Телефон продолжал звонить.
- Может быть, это что-нибудь важное, — сказала девушка.
- Я числюсь в списках Службы ответа. Они разберутся.
- Телефон продолжал звонить.
- Я сама подумываю, не стать ли их абонентом. — Миранда слегка подалась вперед. Рука Гринвуда соскользнула с ее плеча. — Не дорого ли?
- Телефон зазвонил в четвертый раз.
- Прилично — двадцать пять в месяц, — ответил он с деланной улыбкой, — но удобства стоят того.
- В пятый раз.
- Гринвуд напряженно засмеялся.
- Конечно, в любом деле бывают сбои.
- В шестой раз.
- Сейчас все люди таковы, — заметила она. — Никто не желает честно работать за честную зарплату.
- В седьмой раз.
- Верно.
- Девушка наклонилась к Гринвуду.
- Это у вас нервный тик? Вот, правый глаз...
- В восьмой раз.
- Гринвуд резко поднес руку к лицу.
- В самом деле... Случается иногда, когда я устаю.
- О! Значит, вы устали?
- В девятый раз.
- Нет, — быстро ответил он. — Совсем нет. Просто свет в ре-

сторане был немного тускловат. Я, наверное, перенапряг глаза...

В десятый раз.

Гринвуд бросился к телефону, сорвал трубку, с яростью закричал:

— Ну что?!

— Алло?

— Сами вы «алло»! Чего вам надо?

— Гринвуд? Алан Гринвуд?

— Кто это?

— Это Алан Гринвуд?

— Да, черт возьми! Чего вы хотите?

— Это Джон Дортмундер.

— Дорт...— Гринвуд спохватился и остаток фамилии заглушил кашлем.— Да-а-а,— продолжал он спокойнее,— как дела?

— Хорошо. Ты свободен для небольшой работы?

Гринвуд посмотрел на лицо девушки и подумал о своем счете в банке. Ни то, ни другое не вызывало удовлетворения.

— Да.

Он улыбнулся девушке, но та не ответила, а лишь с подозрением посмотрела на него.

— Встретимся сегодня вечером,— сказал Дортмундер,— в десять. Ты свободен?

— Полагаю, да,— ответил безрадостно Гринвуд.

9

Дортмундер вошел в «Гриль-бар» на Амстердам-авеню без пяти десять. Ролло стоял за стойкой — высокий, плотный, начинающий лысеть, с синей от щетины челюстью, в грязном белом переднике поверх грязной белой рубашки.

Дортмундер обо всем условился с Ролло по телефону еще днем, но из вежливости остановился на секунду у стойки и спросил:

— Никто не приходил?

— Один парень,— ответил Ролло.— Пьет пиво. Кажется, я его не знаю. Он там, в задней комнате.

— Спасибо.

— А тебе двойной бурбон без воды, не так ли?

— У тебя отличная память! — восхитился Дортмундер.

— Я никогда не забываю своих клиентов. Очень рад снова видеть тебя. Хочешь, я принесу тебе бутылку?

— Спасибо,— повторил Дортмундер и проследовал по коридору в маленькое квадратное помещение с цементным полом, стены которого до самого потолка были заставлены ящиками.

Стэн Марч сидел за столом с наполовину осушенной кружкой бочкового пива. Дортмундер закрыл дверь.

— Ты пришел раньше времени.

— Я нашел замечательно короткий путь,— ответил Марч.— Ночью так быстро ездится.

Открылась дверь, и вошел Ролло. Он поставил перед Дортмундером стакан, бутылку и сообщил:

— Там внизу какой-то парень. К тебе? Пьет шерри.
— Он спросил меня? — поинтересовался Дортмундер.
— Он спросил некоего Келпа. Это тот Келп, которого я знаю?

— Тот самый, — ответил Дортмундер. — Должно быть, один из наших. Пришли его сюда.

— Ясно. — Ролло посмотрел на кружку Марча. — Повторить?

— Не сейчас.

Через минуту вошел Чефуик со стаканом шерри в руке.

— Дортмундер! — удивленно воскликнул он. — Но ведь мне звонил Келп, правда?

— Он скоро придет, — успокоил его Дортмундер. — Ты знаком со Стэном Марчем?

— Не имел такого удовольствия.

— Стэн — наш водитель. Стэн, это Роджер Чефуик, наш слесарь. Лучший в своем роде.

Марч и Чефуик кивнули друг другу.

— Мы ждем остальных? — спросил Чефуик.

— Еще двоих, — ответил Дортмундер, и в комнату вошел Келп со стаканом в руке.

— Садись, — пригласил его Дортмундер. — Вы все знакомы, не так ли?

Все обменялись приветствиями. Келп плеснул себе бурбона. Марч сделал маленький глоток пива.

Открылась дверь, и Ролло просунул голову.

— Там тебя спрашивает один тип, виски с водой, — сказал он Дортмундеру, — но я что-то сомневаюсь...

— Почему?

— По-моему, он нетрезв.

Дортмундер скривился.

— Если это Гринвуд, пошли его сюда.

— Отлично. — Ролло посмотрел на пиво Марча. — Достаточно?

— Порядок, — ответил Марч. Его кружка была на четверть наполнена, но пены не оставалось. — Быть может, только щепотку соли, — добавил он.

Минутой позже вошел Гринвуд со стаканом в одной руке и солонкой в другой.

— Бармен сказал, что бочковое пиво хочет соли.

Он казался немного навеселе, но пьян не был.

— Это мне, — сказал Марч и слегка посолил пиво — для пены.

— Теперь все в сборе. — Дортмундер повернулся к Келпу. — Начинай.

— Нет, — замахал руками Келп. — Расскажи сам.

— Ладно, — согласился Дортмундер и рассказал собравшимся все. — Вопросы есть?

— Мы будем получать по сто пятьдесят в неделю, пока не выполним работу? — поинтересовался Марч.

— Точно.

— В таком случае, зачем нам вообще за нее браться?

— Это будет продолжаться недели три-четыре, больше из майора Айко не вытянуть, — ответил Дортмундер. — От силы

шестьсот долларов на нос. Я все же предпочитаю получить тридцать тысяч.

— Ты хочешь стащить изумруд, пока он в «Колизее», или будем ждать, когда они тронутся в путь? — спросил Чефуик.

— Вот это и надо решить, — ответил Дортмундер. — Мы с Келпом ходили посмотреть на него, и, похоже, он охраняется хорошо. Возможно, в дороге меры безопасности будут еще строже. Отчего бы тебе завтра не бросить взгляд самому?

— Согласен, — кивнул Чефуик.

— Когда изумруд будет у нас, зачем отдавать его майору? — спросил Гринвуд.

— Он — единственный покупатель. Мы с Келпом уже думали об этом и о других вариантах. — Дортмундер обвел собравшихся взглядом. — Еще вопросы? Нет? Хорошо. Никто не хочет выйти из дела? Нет? Завтра обязательно сходите в «Колизей», взгляните на камень, а вечером встретимся здесь же. Я принесу первую получку от майора.

— Может, соберемся завтра пораньше? — предложил Гринвуд. — У меня разбивается весь вечер.

— Очень рано не надо, — возразил Марч. — В час пик бешеные пробки.

— Может, в восемь? — спросил Дортмундер.

— Отлично, — произнес Гринвуд.

— Угу, — добавил Марч.

— Вполне устраивает, — сказал Чефуик.

— Значит, договорились, — подытожил Дортмундер, отодвинул стул и поднялся. — Встречаемся завтра в восемь.

Все встали. Марч допил пиво и смачно облизал губы.

— А-а-а!.. Кого куда подбросить?

10

Келп поднялся по ступенькам и нажал на звонок. В окнах первого этажа горел свет, но пришлось долго ждать, прежде чем ему открыли. Чернокожий молчаливый мужчина жестом пригласил его войти и провел через несколько роскошно убранных комнат в библиотеку. Посередине стоял бильярд.

Келп достал из-под стола кий, собрал шары и начал играть. Он как раз собирался положить восьмой, когда отворилась дверь и вошел майор.

— Вы пришли позже, чем я ожидал.

— Не мог поймать такси, — ответил Келп и стал шарить по карманам в поисках смятого листка бумаги. — Вот что нам необходимо. — Он протянул листок майору. — Позвоните, когда все будет готово.

— Секунду, — вставил майор. — Дайте посмотреть.

— Можете не торопиться, — сказал Келп, закрыл левый глаз и стал изучать расположение шаров.

— Насчет униформы... — начал майор.

— Один момент. — Келп прищурился, выпрямился, аккуратно прицелился и ударил. Шар отскочил от борта и закатился в лузу.

— Ч-черт! — Келп отложил кий и повернулся к Айко. — Что-то не в порядке?

— Униформа, — проговорил майор. — Тут сказано «четыре униформы», но не сказано, какие именно.

— Ах, да, я забыл. — Келп достал из кармана несколько фотографий, на которых были изображены сторожа «Колизея».

Майор взял снимки.

— Хорошо. А что означают эти цифры?

— Размер каждого из нас.

— Конечно, я должен был сам догадаться. — Майор сунул бумагу и снимки в карман и одарил Келпа хитрой улыбкой. — Значит, есть еще трое?

— Естественно, вдвоем мы не справимся.

— Очевидно, Дортмундер забыл сообщить мне фамилии трех других.

Келп покачал головой.

— Ничего он не забыл. И даже предупредил, что вы попытаетесь узнать их у меня.

— Но, черт возьми, — возмутился майор, — я должен знать людей, которых нанимаю. Это абсурд.

— Вовсе нет, — возразил Келп. — Вы наняли Дортмундера и меня. А Дортмундер и я наняли трех других.

— Но мне нужно их проверить! — настаивал майор.

— Вы уже говорили об этом с Дортмундером и знаете его мнение.

— Да, оно мне известно.

— Вы захотите получить досье на всех. Занимаясь сбором сведений, вы привлечете к нам внимание, и дело может сорваться.

Майор покачал головой.

— Но я не могу иметь дело с человеком, о котором ничего не знаю. Это невозможно.

Келп пожал плечами.

— Дортмундер сказал, чтоб я получил деньги за неделю.

— Пошла уже вторая неделя, — заметил майор.

— Верно.

— Когда вы приступите к операции?

— Мы не сидели сложа руки, и вам это известно. Мы каждый день ходили в «Колизей» и каждый вечер занимались составлением плана. Эти деньги заработаюц нами. Приготовьте все необходимое по списку, и вы получите изумруд.

— Хорошо, — ответил майор и проводил Келпа к выходу.

11

В конце июня, в пятницу, около трех часов двадцати минут утра Келп, одетый в светло-бежевый плащ, шел по Восточной Шестидесятой улице. Напротив входа в «Колизей» с ним случился припадок: он упал на тротуар и забился в конвульсиях.

Поблизости никого не было. Сторож, наблюдавший за Келпом сквозь стекло двери, быстро направился к нему, присел около Келпа на корточки, положил руку на его вздрагивающее плечо и спросил:

— Эй, приятель, могу я вам чем-нибудь помочь?

— Да,— ответил Келп и сунул под нос сторожу кольт тридцать третьего калибра.— Ты можешь очень медленно встать и держать руки так, чтобы я их видел.

Из машины, стоявшей на другом конце улицы, появились Дортмундер, Чефуик и Гринвуд, одетые, как охранники.

Келп поднялся, и четверо мужчин поволокли сторожа в здание. Они связали его и бросили в конце коридора. Келп снял свой плащ, под которым тоже была форма, вернулся к двери, где и остался стоять на страже. Между тем Дортмундер и двое других ожидали, глядя на часы.

Внезапно у главного входа появился автомобиль, мчавшийся прямо на дверь.

За рулем автомобиля, украденного Келпом в то утро, сидел Стэн Марч. В последний момент перед столкновением он выдернул чеку из бомбы, толкнул дверцу и выпрыгнул из машины.

Столкновение было великоленным. Машина влетела на широкий тротуар, с силой ударила в застекленные двери и, оказавшись наполовину внутри здания, превратилась в пылающий факел. Через несколько секунд огонь достиг бензобака, и взрыв выбил остатки стекол, уцелевших при ударе.

Трое мужчин, услышав взрыв, обменялись улыбками, двинулись вперед, оставив Келпа охранять двери, и, наконец, открыли одну из тяжелых металлических дверей в зал экспозиции на втором этаже.

Сторожей не было видно, они находились у главного входа, возле горячей машины. Несколько человек окружили Марча, явно находившегося в шоковом состоянии. Другие столпились вокруг горячей машины, на все лады обсуждая редкостное везение этого счастливого, четверо висели на разных телефонах, вызывая врачей, полицию и пожарников.

Дортмундер, Чефуик и Гринвуд быстрыми бесшумными шагами направились к экспозиции Акинзи. Нужно было открыть четыре замка — тогда стеклянный куб снимался.

Чефуик принес с собой большую черную сумку, извлек оттуда множество замысловатых инструментов и набросился на замки. Первый занял у него три минуты, на остальные три ему понадобилось всего четыре минуты. И все же эти семь минут тянулись очень долго...

— Все! — хрипло выдохнул Чефуик.

Стоя на коленях у последнего взломанного замка, он быстро убирал инструменты в свою сумку.

Дортмундер и Гринвуд встали у противоположных сторон куба. Он весил около ста килограммов и был абсолютно гладким. Им пришлось прижать ладони к углам и так поднять его. Дрожа от напряжения и покрываясь крупными каплями пота, они смотрели друг на друга сквозь стекло. Едва куб поднялся на шестьдесят сантиметров, как Чефуик скользнул под него и схватил изумруд.

— Скорей! — хрипло прошептал Гринвуд.— Скользит!

— Не оставляйте меня внутри! — завопил Чефуик, быстро выскальзывая из куба.

— У меня влажные ладони,— дрожащим голосом пролепетал Гринвуд,— ставь скорее!

— Не выпускай его, ради бога! — взмолился Дортмундер.— Ради бога, не выпускай!

— Не могу... я не удержу... Он...

Куб скользнул по ладоням Гринвуда, выскользнул из рук Дортмундера, упал на пол, но не разбился. Он просто стукнулся и задребезжал: БрррууррааНННННГГГГГггггги...

Снизу донеслись крики.

— Бежим! — завопил Дортмундер.

Испуганный Чефуик сунул изумруд в руку Гринвуда.

— Возьми его,— сказал он, хватая свою черную сумку.

— Эй, вы! — закричал один из появившихся сторожей,— не двигаться, оставаться на месте!

— Разбегайтесь! — крикнул Дортмундер, рванувшись вперед.

Чефуик побежал налево.

Гринвуд побежал прямо.

Тем временем приехала санитарная машина. Появилась полиция. Подъехали пожарные. Полицейский в форме пытался задавать Марчу вопросы, санитар в белом халате просил оставить пострадавшего в покое. Пожарные приступили к тушению огня. Кто-то достал из кармана Марча бумажник, в котором находились фальшивые документы, положенные им туда полчасика назад. Марч, явно не пришедший в себя, все время повторял: «Он больше не поворачивается... Я поворачиваю, а он не поворачивается...»

— По-моему,— сказал полицейский,— вы просто-напросто записывали. Что-то случилось с рулевым управлением, а вы, вместо того, чтобы нажать на тормоз, нажали на газ. Такое бывает сплошь и рядом.

Марча уложили на носилки, внесли в санитарную машину. Машина отъехала, включив сирену.

Чефуик, мчавшийся сломя голову к ближайшему выходу, услышал сирену и прибавил скорость.

Он на бегу распахнул дверь, кубарем скатился по лестнице, побежал по коридору и внезапно оказался перед входной дверью и сторожем.

Пытаясь повернуться, он уронил сумку, споткнулся и упал. Сторож помог ему подняться. Это был Келп.

— Что происходит? Вышла осечка?

— Где остальные?

— Я не знаю. Не лучше ли смыться?

— Подождем пару минут,— решил Чефуик.

— Да, лучше подождать,— согласился Келп.— Ключи от машины все равно у Дортмундера.

Дортмундер в это время бегом обогнул «Колизей» и присоединился к преследователям.

— Стойте! — вопил он, мчась среди сторожей за Гринвудом, скользнувшим в какую-то дверь.

Дортмундер первым достиг двери, широко раскрыл ее и держал открытой, пока не пробежали все сторожа, закрыл ее за

ними и спокойно прошел к ближайшему лифту. Потом спустился на первый этаж и достиг бокового входа, где ждали Келп и Чефуик.

— А где Гринвуд? — спросил он.

— Не здесь, — ответил Келп.

— Будет лучше, если мы подождем его в машине, — подумав, решил Дортмундер.

Что касается Гринвуда, он в это время, зажав в руке изумруд и тщетно разыскивая выход на улицу, бежал по промежуточному коридору, опоясывающему здание кольцом.

Тем временем в санитарной машине Марч солидным ударом в челюсть оглушил санитаря. Санитар безропотно отключился, и Марч устроил его на соседних носилках. Когда машина притормозила на повороте, Марч открыл заднюю дверь и сыркнул. Санитарная машина рванулась вперед и быстро исчезла, устрещающе ревя сиреной, а Марч помахал проезжавшему мимо такси.

— «Гриль-бар» на Амстердам-авеню, — велел он.

В другой украденной машине, предназначенной для бегства, Дортмундер, Чефуик и Келп с беспокойством наблюдали за боковым выходом. Дортмундер завел мотор и нервно давил на педаль газа.

Послышался вой полицейских сирен.

— Больше ждать нельзя, — сказал Дортмундер.

— Вот он! — воскликнул Чефуик, увидев, как открылась дверь и из нее выскочил сторож в униформе.

— Это не он, — произнес Дортмундер и быстро отъехал.

В первом мезонине Гринвуд продолжал бежать по кругу, как борзая, догоняющая механического зайца. Топот погони слышался со всех сторон.

Гринвуд остановился, сообразив, что попал в западню, и посмотрел на свою ладонь, где лежал камень — почти круглый, со множеством граней, глубокого зеленого цвета, немногим меньше мяча для гольфа.

— Проклятье! — пробормотал он.

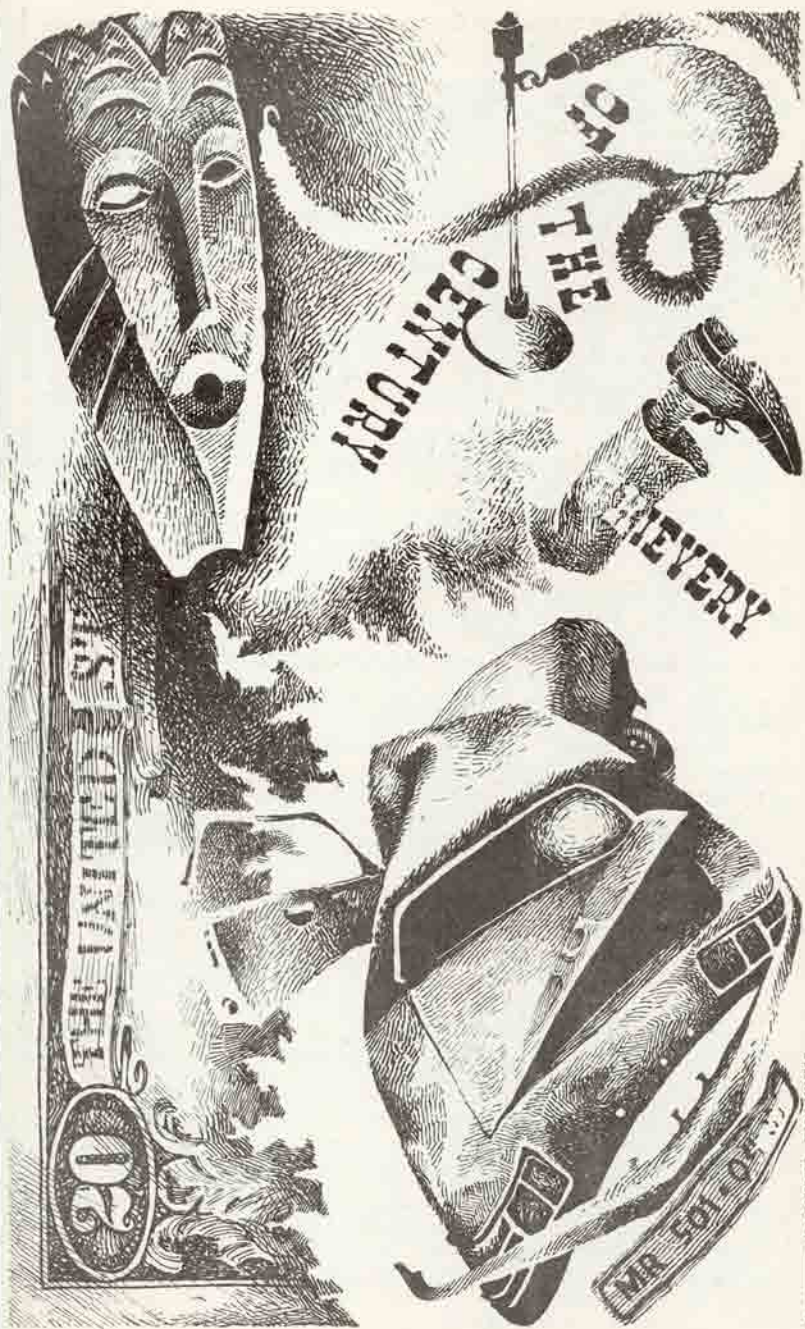
И проглотил изумруд.

ФАЗА ВТОРАЯ

1

Дело было пятого июля. Прошло девять дней после фиаско в «Коллизее». Уже целую неделю газеты не вспоминали о Гринвуде, а больше ничего в мире Дортмундера не волновало.

Триста долларов, полученных от майора Айко, растаяли, как дым. Прибыв в Трентон, Дортмундер сразу же зарегистрировался в полицейском участке, как выпущенный под честное слово, — зачем напрашиваться на неприятности? — и ему предложили паршивую работенку на муниципальном поле для гольфа. Он даже вышел туда как-то днем, подстриг зеленую травку, цветом напоминавшую ему трижды проклятый изумруд, и обгорел. Этого было достаточно.



Рисунки ЛЕОНИДА ЛИФШИЦА

Дортмундер пил кофе и просматривал комиксы, когда в дверь постучали. Он вздрогнул и машинально посмотрел на окно, пытаясь сообразить, есть ли там пожарная лестница, потом вспомнил, что в настоящий момент он не в розыске, и, обозленный на себя, пошел открывать дверь.

Это был Келп.

— Тебя трудно найти.

— Не так уж и трудно, — возразил Дортмундер. — Входи. Ну, очередное выгодное дельце?

— Не совсем, — ответил Келп, оглядываясь кругом, и усмехнулся. — Ты купаешься в роскоши.

— Я всегда бросал деньги на ветер. Для меня только все самое лучшее. Что ты имеешь в виду под «не совсем»?

— Не совсем очередное выгодное дельце.

— Что ты имеешь в виду — «не совсем очередное выгодное дельце»?

— То же самое, — ответил Келп.

Дортмундер удивленно уставился на него.

— Опять изумруд?

— Гринвуд спрятал его. Он послал своего адвоката сказать об этом майору Айко. Айко сказал мне, а я говорю тебе.

— Зачем?

— У нас еще есть надежда получить наши тридцать кусков. И по сто пятьдесят в неделю, пока дело не будет сделано.

— Какое дело?

— Освободить Гринвуда, — ответил Келп.

— Ты свихнулся, — бросил Дортмундер и пошел допивать свой кофе.

— Гринвуд знает, что здорово погорел. Его адвокат того же мнения. У него нет ни малейшей надежды выйти оттуда — все в ярости от пропажи изумруда. Или он вернет камень и заслужит более легкое наказание, или отдаст его нам, если мы его освободим. Следовательно, надо помочь Гринвуду выйти оттуда, и камень наш.

— А где он? — нахмутив брови, спросил Дортмундер.

— В тюрьме.

— Я понимаю, что в тюрьме. Но в какой? В Томбе?

— Нет, там была заварушка, и его увезли из Манхэттена.

— Заварушка? Какая заварушка?

— Черные обозлились, что белые организовали похищение изумруда. Целая банда приехала из Гарлема и начала буяннить. Они хотели линчевать Гринвуда.

— Линчевать?

Келп пожал плечами.

— Хотелось бы знать, где они этому научились...

— Мы украли камень для Айко, а он черный.

— Да, но никто об этом не знает.

— Достаточно посмотреть на него.

Келп покачал головой.

— Я хотел сказать — никто не знает, что именно он стоит за похищением.

Дортмундер стал мерить комнату шагами.

— Так где же он? В какой тюрьме?

— Гринвуд?

Дортмундер остановился и бросил на Келпа долгий взгляд.

— Нет,— саркастически проговорил он,— король Фарук.

Келп выпучил глаза.

— Король Фарук? Я много лет о нем не слышал. Разве он в тюрьме?

Дортмундер вздохнул.

— Я имел в виду Гринвуда.

— Тогда зачем...

— Это была шутка,— оборвал Дортмундер.— В какой тюрьме находится Гринвуд?

— О, в какой-то тюрьме Лонг-Айленда. Его будут держать там до суда.

— Жаль, что его нельзя освободить под честное слово,— сказал Дортмундер, кружа по комнате и покусывая пальцы.

— Сделаем вторую попытку, вот и все. Чем мы рискуем? — Келп презрительно махнул рукой.— Судя по тому, что я здесь вижу, ты не слишком роскошествуешь. В крайнем случае просто получим у Айко зарплату.

— Да, пожалуй.— Дортмундер все еще был полон сомнений, но в конце концов пожал плечами.— У тебя есть машина?

— Естественно.

— А ездить ты на ней умеешь?

Келп был оскорблен.

— Я и на «кадиллаке» умел! — возмущенно воскликнул он.— Беда в том, что проклятая штуковина пыталась ездить сама!

— Ясно.— Дортмундер вздохнул.— Помоги мне сложить вещи.

2

Майор Айко сидел за письменным столом и перелистывал досье на Эжена Эндрю Проскера, 53 лет, адвоката Гринвуда. У Э. Эндрю Проскера, как он себя называл, было все, о чем мог мечтать состоятельный человек: от конюшни на Лонг-Айленде с парой скаковых лошадей, совладельцем которых он являлся, до квартиры на Восточной Шестидесят седьмой улице с любовницей-блондинкой, единственным обладателем которой он себя считал. Проскер пользовался довольно сомнительной репутацией во Дворце Правосудия и большим успехом у темных элементов. Но на него никогда не поступали жалобы, и клиенты ему доверяли. Один клиент отозвался о нем так: «Я бы на целую ночь доверил Эндрю свою сестру, если бы у нее при себе было не больше пятнадцати центов».

Секретарь, поблескивая стеклами очков, открыл дверь и доложил:

— Вас спрашивают господина Келп и Дортмундер.

Майор спрятал досье в ящик.

— Пусть войдут.

Келп, казалось, ничуть не изменился. Зато Дортмундер выглядел еще более худым и изможденным.

— Ну вот, я привел его,— сказал Келп.

— Вижу.— Майор встал.— Весьма рад, господин Дортмундер.

— Хочу надеяться, что вы и дальше будете рады.— ответил Дортмундер, опускаясь в кресло и складывая руки на коленях.— Келп сказал мне, что у нас есть еще один шанс.

— И очень реальный. Честно говоря, я подозревал, что вы взяли изумруд себе.

— Изумруд мне не нужен,— сказал Дортмундер,— однако я охотно выпил бы бурбон.

— Но... разумеется,— проговорил Айко.— Келп?

— Не могу спокойно смотреть, как человек пьет один. Бурбон со льдом.

Майор протянул руку, чтобы позвонить секретарю, но секретарь вошел сам.

— Сэр, к вам некий господин Проскер.

— Спросите у него, что он будет пить.

— Просите?— изумился секретарь.

— Бурбон для этих господ и скотч с капелькой воды для меня.

— Хорошо, сэр.

— И пригласите сюда господина Проскера.

— Да, сэр.

Через несколько секунд в комнату размашистым шагом вошел Проскер с черным «дипломатом» в руке. На его лице сияла улыбка.

— Господа, я спешу,— заявил он.— Надеюсь, мы не будем задерживаться. Полагаю, вы — майор Айко?

Майор встал и пожал руку адвоката. Последовали дальнейшие представления. Проскер вручил визитки Дортмундеру и Келпу.

— На случай, если вам понадобится помощь, хотя, надеюсь, до этого не дойдет.

Он хихикнул и подмигнул.

Затем все снова сели, и Проскер взял слово.

— Господа, я редко даю своим клиентам советы, которые идут против закона, но ради нашего друга Гринвуда я сделал исключение. «Алан,— сказал я ему,— свяжи из простыней лестницу и удирай отсюда».

Господа, Алан Гринвуд, как говорится, был пойман с поличным. На нем не нашли изумруда, но это не имеет значения. Он находился на месте преступления в форме сторожа и был опознан полудюжиной охранников, как один из людей, застигнутых около изумруда «Балабомо» в момент кражи. Гринвуд находится в их власти. Его единственная надежда — побег.

— А изумруд?— спросил Дортмундер.

Проскер развел руками.

— По словам моего клиента, получив камень от вашего коллеги Чефуика, он успел спрятать изумруд на себе, прежде чем его схватили, а потом укрыл в надежном месте, известном ему одному.

— Значит, если мы поможем ему бежать, он отдаст нам изумруд, и мы получим условленную сумму?

— Безусловно.

Дортмундер повернулся к Айко.

— И мы вновь начинаем получать зарплату?

Майор неохотно кивнул.

— Операция обходится дороже, чем я предполагал, но выхода, очевидно, нет.

— Только не надо идти на жертвы, майор.

— Возможно, вы не понимаете, Дортмундер,— повысил голос Айко.— Талабво не относится к числу богатых стран. Наш валовой национальный продукт едва перевалил за двенадцать миллионов долларов. Мы не можем, как другие государства, содержать иностранных преступников.

Дортмундер оцетинился.

— Это какие же государства вы имеете в виду?

— Я не буду их называть.

— На что вы намекаете, майор?

— Ну, ну,— с напускным благодушием вмешался Проскер.— Не будем разжигать национальную рознь. Я уверен, что каждый по-своему патриот, но главное сейчас — Алан Гринвуд и изумруд «Балабобо». У меня здесь...— Он взял «дипломат», положил его на колени, открыл замки и вынул бумаги.— Вам, Дортмундер.

— Что это?

— Планы тюрьмы, составленные Гринвудом. Фотографии, которые я сделал сам. Указания Гринвуда в отношении прихода и ухода сторожей, и прочее.

Проскер достал из «дипломата» три больших конверта и отдал их Дортмундеру.

После этого говорить было не о чем, и они еще некоторое время молча пили, потом все встали и, обменявшись рукопожатиями, разошлись.

3

— А здесь симпатично,— сказал Келп.

— Недурно,— признал Дортмундер. Он закрыл дверь, спрятал ключ в карман и спросил:

— Хочешь выпить?

— Еще бы!

Келп пошел следом за Дортмундером в кухню и смотрел, как тот достает кубики льда, стаканы и бурбон.

— Что ты думаешь о Проскере?

Дортмундер открыл ящик, вытащил штопор, подержал его секунду и положил на место. Келп утвердительно кивнул головой.

— Я тоже,— сказал он.— Эта фигура такая же прямая, как штопор.

— Гринвуд ему доверяет.

— Ты думаешь, он его облапошит? Мы достанем камень, получим деньги, а он снова засадит Гринвуда в тюрьму и прикармнит тридцать тысяч?

— Не знаю,— отозвался Дортмундер.— Все, что я хочу, это не позволить обжулить меня самого.

Они вернулись в гостиную и сели на диван.

— Мне кажется, нам понадобятся оба,— сказал Келп.

Дортмундер кивнул.

— Один — чтобы вести машину, другой — чтобы вскрывать замки.

— Ты позвонишь сам или звонить мне?

— На этот раз я вызову Чефуика, а ты — Марча.

— Согласен. Начинаю?

— Валяй.

Телефон стоял на полке около Келпа. Он заглянул в маленькую записную книжку и набрал номер.

— Марч? — Келп потряс головой и заорал в аппарат: — Это я, Келп! Келп! Хорошо! Хорошо, говорю, давай!

Из трубки раздался голос:

— Келп! Келп! Алло?

Келп, как бы против воли, снова прижал трубку к уху.

— Да. Это ты, Стэн?

Дортмундер встал, прошел на кухню и положил на тарелку дожину крекеров с сыром. Когда он с тарелкой в руке вернулся в гостиную, Келп вешал трубку.

— Встретимся в «Гриль-баре» в десять, — сообщил он.

— Хорошо, — ответил Дортмундер и набрал номер Чефуика.

— Алло?

— Ты помнишь нашу идею, которая не осуществилась?

— О, да, отлично помню.

— Так вот, может быть, несмотря ни на что, все устроится. Это тебя еще интересует?

— Конечно, очень, — ответил Чефуик. — Полагаю, разговор не телефонный?

— Уж точно. В десять в «Гриль-баре».

— Хорошо.

— До вечера.

4

В десять часов одну минуту Дортмундер и Келп вошли в «Гриль-бар». Ролло протирал стаканы довольно чистым полотенцем.

Марч читал руководство по «мустангу».

— Ты пришел раньше, — заметил Дортмундер.

— Я испробовал новый маршрут, — ответил Марч, сдунул пену с пива и сделал маленький глоток.

Вошел Ролло с бутылкой бурбона и стаканами. Когда он поставил их на стол, появился Чефуик.

— Тебе шерри? — спросил его Ролло.

— Да, спасибо.

— Вот.

Ролло вышел, даже не спросив у Марча, хочет ли он еще пива, а Чефуик сел и сказал:

— Я заинтригован. Не представляю, как дело с изумрудом может ожить. Он, кажется, потерялся?

— Нет, — ответил Дортмундер. — Гринвуд его спрятал.

— В «Колизее»?

— Точно неизвестно, но где-то спрятал, значит, можно попытаться вновь завладеть им.

— Не все так просто, нутром чую,— сказал Марч.

— Ничего сложного,— возразил Дортмундер.— Еще одно похищение.

— А что на этот раз надо стянуть?

— Гринвуда.

— Что?!

— Гринвуда,— повторил Дортмундер.— Его адвокат считает, что у него нет ни малейшего шанса выбраться оттуда.

— Выходит, нам нужно проникнуть в тюрьму? — спросил Чефуик.

— И выйти оттуда,— уточнил Келп.

— Будем надеяться,— добавил Дортмундер.

— Никогда бы не подумал, что добровольно отправлюсь в тюрьму,— сказал Чефуик, улыбнулся и сделал глоток шерри.

— Вы хотите, чтобы я вел машину? — Марч нахмурил лоб и сделал большой глоток пива.

— Точно,— ответил Дортмундер,— а что тебя беспокоит?

— В машине с заведенным мотором, среди ночи? У тюремных стен? Не могу себе представить.

— Если не будет подходящих условий, мы не будем браться за дело,— заверил Дортмундер.

— Никто из нас не жаждет оставаться в тюрьме больше одной или двух минут,— поддержал его Келп.— Если возникнет угроза, что наше пребывание затянется там на годы,— не беспокойся, мы бросим эту затею.

— Мне нужно быть очень осторожным, я единственный кормилец у матери.

— Разве она не водит такси? — спросил Дортмундер.

— Только не ради денег,— ответил Марч.— Она занимается этим, чтобы общаться с людьми.

— А что за тюрьма? — поинтересовался Чефуик.

— Мы еще посмотрим на нее,— сказал Дортмундер.— А пока у меня есть вот это.

И он начал раскладывать на столе содержимое трех конвертов.

5

На этот раз Келпа провели в другую комнату, но он спохватился:

— Эй, погодите!

Чернокожий секретарь повернулся в дверях.

— Да, сэр?

— А где бильярдный стол?

— Что, сэр?

Келп выразительно повертел руками, словно совершая удар кием.

— Ну, бильярд... Зеленый стол с дырками.

— Да, сэр. В другой комнате, сэр.

— Вот та комната мне и нужна,— сказал Келп.— Проведите меня туда.

Секретарь в нерешительности застыл, явно не зная, что делать.

— Ну же, — поторопил Келп, — мне охота погонять шары.

— Я не уверен...

— Я уверен, — успокоил его Келп. — Не сомневайтесь, действительно охота. Идем же!

— Да, сэр, — сдался секретарь, проводил Келпа в комнату со столом и удалился.

Келп уложил двенадцать шаров, промахнувшись всего четыре раза, и уже метил в тринадцатый, когда вошел майор Айко.

— Салют, майор! — сказал Келп, отложив кий. — Я принес новый список.

— Давно пора, — буркнул майор и метнул хмурый взгляд на бильярдный стол. Айко, казалось, был чем-то недоволен.

— Как это «давно пора»? — запротестовал Келп. — Прошло меньше трех недель.

— В прошлый раз вам понадобилось две недели.

— Тюрьма охраняется не так, как музей.

— Понимаю, — проворчал майор. — Но я выплатил вам три тысячи долларов, не считая того, что стоило материальное обеспечение, а до сих пор ничего не получил.

— Неужели так много? — Келп покачал головой. — Так или иначе, вот список.

— Спасибо.

Майор, насупившись, прочитал список.

— Грузовик?

— Причем некраденый, иначе я сам занялся бы этим, — ответил Келп.

— Но это очень дорого.

— После выполненной работы вы сможете его продать.

— В остальном никаких проблем. Вы заберетесь по стене, да? — сказал майор, еще раз пробежав глазами список.

— Что поделаешь, у них там стены, — бросил Келп, подошел к столу, взял кий и закатил в лузу тринадцатый шар.

— Этот грузовик должен быть быстроходным?

— Мы не собираемся никого обгонять.

— Значит, годится и подержанный?

— Но с бумагами все должно быть в порядке.

— А если взять напрокат?

— Сделайте так, чтобы до вас не добрались, и помните, для чего он нам нужен.

— Я буду помнить, — сказал майор. — Теперь, если вы закончили игру...

— А может, заделаем партию?

— Простите, — произнес майор с застывшей улыбкой, — я не играю.

6

Из окна своей камеры Алан Гринвуд мог видеть асфальтированный прогулочный дворик и наружную, побеленную известью стену тюрьмы. Он проводил у окна весь день, потому что не любил ни камеры, ни напарника по камере. Оба были серые, грубые, старые и грязные. Но камера по крайней мере не действовала на нервы, а компаньон по камере проводил долгие

часы, копясь в пальцах ног, а потом нюхая руки. Гринвуд сидел здесь уже месяц, и его терпение истощилось.

Заскрипела дверь. Гринвуд повернулся и увидел стоящего на пороге сторожа, похожего на старшего брата сокамерника, но по крайней мере в ботинках.

— Гринвуд, к вам посетитель.

— Отличненько!

Гринвуд и сторож прошли по металлическому коридору, спустились по металлической лестнице, прошли по другому металлическому коридору, через две двери, которые им открыли сторожа, и попали в помещение светло-коричневого цвета. Эжен Эндрю Проскер сидел по другую сторону решетки, делившей комнату надвое, и улыбался.

Гринвуд сел напротив.

— Как дела в мире?

— Он вертится,— заверил его Проскер.

— А как мое прошение?

Речь шла не о прошении к правосудию, а к бывшим партнерам.

— Недурно,— ответил Проскер.— Я не удивлюсь, если завтра утром вы узнаете что-то новенькое.

Теперь улыбнулся Гринвуд.

— Хорошая новость. Поверьте, я очень нуждаюсь в хороших новостях. Думаю, вы не уточняли детали с моими друзьями?

— Нет,— ответил Проскер.— Мы решили подождать, когда вы будете на свободе.— Он поднялся и взял свой портфель.— Надеюсь, мы скоро вытащим вас отсюда.

— Я тоже на это надеюсь,— с чувством произнес Гринвуд.

7

В два часа двадцать пять минут ночи, на следующий день после визита Проскера в тюрьму, автострада была почти пуста, не считая одного грузовика — большого пыльного фургона с надписью: «Грузовики проката Паркера». Айко нанял его через посредника на весьма скромных условиях. Когда Келп замедлил скорость, чтобы выехать с автострады, Дортмундер, сидящий рядом, наклонился вперед и, посмотрев на часы в свете приборной панели, сказал:

— У нас пять минут лишних.

— Я поеду медленнее по узким улицам — с таким-то грузом сзади,— ответил Келп.

— Нам нельзя приезжать раньше времени,— напомнил Дортмундер.

— Я знаю. Знаю.

В этот момент в тюрьме Гринвуд тоже смотрел на часы.

Через двадцать пять минут грузовик с погашенными фарами остановился на стоянке у большого магазина, в трех кварталах от тюрьмы. Келп и Дортмундер вышли из кабины и осторожно обошли грузовик, чтобы открыть заднюю дверь. Пока Дортмундер помогал Чефуику спрыгнуть на асфальт, Марч передал Келпу лестницу трехметровой длины. Келп и Дортмундер при-

слонили лестницу к фургону, а Марч протянул Чефуику моток серой веревки и маленькую черную сумку.

Дортмундер взял веревку и первым поднялся по лестнице, за ним последовал Чефуик, Келп передал им лестницу. Дортмундер положил ее на крышу грузовика, потом он и Чефуик улеглись по обе ее стороны. Келп сел в кабину и, не зажигая фар, медленно объехал большой магазин.

В тюрьме Гринвуд взглянул на часы: без пяти три. Момент настал. Он откинул одеяло и вперил взгляд в человека, спавшего на верхней койке. Старик храпел с открытым ртом, и Гринвуд ударил его кулаком по носу.

Глаза старика открылись; он и Гринвуд в течение секунды смотрели друг на друга. Потом старик заморгал, вытащил руку из-под одеяла и пощупал болевший нос.

— Ой!..

— Перестань копать в пальцах ног!

— Что-что?

Гринвуд завопил во весь голос.

— И перестань нюхать свои руки!

Старик отвел пальцы — они оказались в крови.

— На помощь, — сказал он тихо, будто сомневаясь, правильно ли выбрал слово.

Потом, видимо, перестав сомневаться, закрыл глаза и визгливо заверещал:

— На помощьпомощьпомощь...

— Ну все! — взревел Гринвуд. — Я тебя убью!

Зажегся свет. Закричали сторожа. Послышался скрежет металла, лязг запоров.

Гринвуд оторвал старика от нар, держа его за лодыжку, но стараясь не причинить вреда, поймал его одной рукой за шею, а другую занес над лицом. При этом он непрерывно вопил. Открылась дверь, вбежали три сторожа.

Внезапно Гринвуд стих и выпустил старика, который сразу же сел на пол и бессильно поник с пустым взглядом.

— Не знаю, — ошалело проговорил Гринвуд, качая головой. — Не знаю...

Сторожа схватили его за руки.

— Зато мы знаем, — сказал один из них.

А второй добавил вполголоса:

— Съехал парень. Не ожидал от него...

У тюремной стены бесшумно остановился грузовик. Дортмундер вылез, прислонил к стене лестницу и быстро поднялся по ней. Затем спустился и прошептал:

— Все нормально.

— Отлично, — прошептал Чефуик.

Дортмундер старательно установил лестницу и снова поднялся. На этот раз за ним следовал Чефуик. У Дортмундера через плечо висел моток веревки. Несмотря на свою сумку, Чефуик карабкался с поразительной для человека его комплекции ловкостью.

На самом верху лестницы Дортмундер размотал веревку и закрепил ее при помощи крюка на вершине стены.

Как только луч прожектора пробежал мимо, Дортмундер быстро поднялся на стену и сел на нее верхом; вскоре к нему присоединился Чефуик. Они схватили лестницу за верхнюю перекладину, втащили ее и перекинули на другую сторону. Лестница коснулась асфальтированной поверхности, и Дортмундер скользнул вниз. Чефуик последовал за ним.

Келп остался около грузовика и наблюдал за Дортмундером и Чефуиком. Когда те благополучно исчезли, он удовлетворенно кивнул головой, вернулся в кабину и отъехал.

Тем временем Дортмундер и Чефуик побежали к зданию, нашли дверь в том месте, где и полагалось ей быть по плану; Чефуик достал из кармана две отмычки и сразу же принялся за работу. Дортмундер стоял на страже.

Раздался щелчок, и дверь открылась.

Они скользнули внутрь и закрыли дверь.

— Одной меньше,— прошептал Дортмундер.

— Теперь мне понадобится сумка,— так же тихо произнес Чефуик, не утративший своего невозмутимого вида.

Комната, в которой они очутились, была погружена в полнейший мрак, но Чефуику и не нужен был свет. Он присел на корточки, открыл сумку, сунул обе отмычки в предназначавшиеся им карманчики и достал два других инструмента. Закрыл сумку, выпрямился и произнес:

— За работу.

На расстоянии нескольких стен и запертых дверей Гринвуд сказал:

— Я пойду с вами сам, не беспокойтесь.

Один из сторожей предложил:

— Послушай, приятель, мы найдем тебе другое место для сна.

Гринвуд довольно улыбнулся. Он знал, куда его отведут: в одну из камер лазарета.

Гринвуд прощально улыбнулся старику, вытирающему кровь, текущую из носа, и вышел из камеры.

Его повели тем же путем, как и на свидание к Проскере: по металлическому коридору и через две охраняемые двери. В тихом, спокойном местечке из дверного проема возникли двое, в черных капюшонах и с черными револьверами в руках.

— Без шума.

Сторожа смотрели на Дортмундера и Чефуика и моргали от удивления глазами.

— Вы сошли с ума,— сказал один из них.

— Необязательно,— возразил Чефуик, остановившийся возле двери.— Сюда, господа.

Все вошли в камеру, и Гринвуд закрыл дверь. Поясами сторожей связали им ноги, галстуками — руки, а подолами рубашек — заткнули им рты. Затем все трое направились по коридору и воспользовались тяжелой металлической дверью, которая долгие годы стояла на запоре, пока до нее не добрался

Чефуик. Пройдя в обратном направлении путь, проделанный Дортмундером и Чефуиком, они, наконец, оказались у выхода из здания и стали ждать. Дортмундер посмотрел на часы. Три двадцать.

— Пять минут,— прошептал он.

За четыре квартала от тюрьмы Келп посмотрел на часы. Потом бесшумно вылез из кабины грузовика и открыл фургон.

— Готовы! — прошептал он Марчу.

— Есть! — ответил тот и стал вытаскивать из кузова длинную широкую доску. Келп схватил ее за конец и опустил на землю таким образом, что доска образовала наклонную плоскость. Марч вытолкнул другую доску, которую Келп положил таким же образом рядом с первой, оставив между ними расстояние примерно в полтора метра. Они отошли на тротуар и стали ждать. Через минуту послышалось урчание мотора, и из недр фургона появился капот почти нового «мерседес-бенца» с откидным верхом. Келп наткнулся на него вечером на Парк-авеню в районе Шестидесятых улиц. Так как машина должна была служить им недолго, ей оставили номерной знак «МД». Келп решил простить врачей.

Дортмундер опять посмотрел на часы и скомандовал:

— Пошли!

146
Трое мужчин помчались, пересекая двор, к тюремной стене. Дортмундер и Чефуик поставили лестницу, и Гринвуд первым поднялся по ней. Когда все трое оказались на крыше, в открытой машине появился Марч. Чефуик соскользнул на землю и перелез в машину.

Гринвуд спустился по веревке и прыгнул на переднее сиденье. Чефуик уже устроился на заднем.

Одним прыжком Дортмундер отделился от стены, выпустил веревку и упал на заднее сиденье машины, закричав:

— Поехали!!!

Марч вдавил акселератор. В то время, как его пассажиры цеплялись за сиденья и друг за друга, он вихрем домчался до конца квартала, точно направил машину на доски, въехал в фургон и намертво затормозил, остановив машину в пяти сантиметрах от передней перегородки. Потом выключил мотор и фары. Фургон закрылся.

Секунд тридцать в полнейшей темноте слышалось лишь прерывистое дыхание пятерых мужчин. Потом Гринвуд заявил:

— Нужно вернуться. Я забыл зубную щетку.

Все засмеялись, и, хотя смех был нервный, атмосфера тем не менее разрядилась. Все стали пожимать друг другу руки и поздравлять с отлично выполненной работой.

Через некоторое время Келп достал из кармана карты, и они немедленно принялись играть в покер...

В четыре утра Келп заявил:

— Завтра мы отправимся за изумрудом и получим деньги.

— Что ж, можно начать и завтра,— заметил Гринвуд и повернулся к сдававшему Чефуику.

— Что ты имеешь в виду — «начать завтра»? — спросил Дортмундер.

Гринвуд нервно передернул плечами.

— Потому что это будет непросто сделать.

— Почему же? — настаивал Дортмундер.

Гринвуд прочистил горло. На губах играла смущенная улыбка. Он по очереди посмотрел на своих приятелей и ответил:

— Потому что я спрятал его в комиссариате полиции.

ФАЗА ТРЕТЬЯ

1

— В комиссариате полиции? — сказал майор Айко, обводя присутствующих недоверчивым взглядом.

Собрались все пятеро: Дортмундер и Келп сидели на своих обычных местах перед письменным столом, Гринвуд, так удачно бежавший из тюрьмы прошлой ночью, расположился между ними в кресле, рядом с ним устроились еще двое, представленных майору как Роджер Чефуик и Стэн Марч. Часть мозга майора Айко была занята этими двумя. Он с нетерпением ждал окончания встречи, чтобы поскорее составить два новых досье.

Но главная часть мозга майора была полна недоверия.

— В комиссариате полиции? — повторил он блеющим голосом.

— Это там, где я находился, — деликатно напомнил Гринвуд.

— Но вы ведь безусловно могли... в «Коллизее»... где-нибудь...

— Он его проглотил, — сказал Дортмундер.

Майор уставился на Дортмундера, пытаясь понять, что сказал этот человек.

— Прошу прощения?

Ему ответил Гринвуд:

— Когда я понял, что меня поймают, я проглотил камень.

— Понимаю, — сказал Айко, но голос его звучал неуверенно.

Потом он выдавил кривую улыбку: — К счастью для вас, мистер Гринвуд, я безбожник.

— Неужели? — вежливо проговорил Гринвуд.

— В моем племени изумруд «Балабомо» имеет религиозное значение, — пояснил майор. — Но продолжайте. Когда вы снова взяли его в руки?

— Только на следующий день, — ответил Гринвуд. — Я бы предпочел не останавливаться на этой подробности...

— И все же попрошу вас.

— Хорошо. Когда я вновь обрел изумруд, я был в камере. Вероятно, полиция боялась, что меня сразу же начнут разыскивать соучастники, и на первые два дня меня поместили в вест-сайдском комиссариате. Я находился в одной из камер на верхнем этаже.

— И вы спрятали изумруд там?

— Ничего другого не оставалось, майор. Я не рискнул держать камень при себе. Ведь это тюрьма.

— А вы не могли глотать его постоянно?

Гринвуд через силу улыбнулся.

— Только не после того, как получил его в первый раз.

— Ммм, хорошо,— с сожалением произнес майор и посмотрел на Дортмундера.— Что же мы теперь будем делать?

— Мнения разделились,— ответил тот.— Двое — «за», двое — «против», один колеблется.

— Вы хотите сказать, что можно еще раз попробовать получить изумруд?

— Точно.

— Однако...— Майор развел руками.— Что же вас удерживает? Если вам удалось проникнуть в тюрьму, то простой комиссариат...

— Все правильно. Но у меня ощущение, что не нужно дразнить судьбу. Мы предприняли для вас две попытки, в сущности, за одну цену. Нельзя продолжать до бесконечности. Удача будет против нас.

— Удача? — повторил майор.— Но не благодаря же удаче вам все удавалось, господин Дортмундер. Благодаря ловкости, вашим организаторским способностям, вашему опыту...

— У меня такое ощущение,— пояснил Дортмундер.— Это как во сне, когда бежишь по коридору, а он все не кончается.

— Но если господин Гринвуд спрятал изумруд и знает, куда спрятал...— Майор повернулся к Гринвуду.— Он хорошо спрятан, не так ли?

— Очень хорошо,— заверил его Гринвуд.

Майор развел руками.

— Тогда я не вижу никакой проблемы. Господин Дортмундер, если я вас правильно понял, вы против попытки?

— Совершенно верно,— ответил Дортмундер.— И Чефуик согласен со мной. Гринвуд и Келп хотят попытаться. Марч колеблется.

— Я присоединюсь к большинству,— сказал Марч.— У меня нет своего мнения.

— Я против этого проекта по тем же причинам, что и Дортмундер,— заявил Чефуик.— Считаю, что существует предел, который не следует переступать, и опасаясь, что мы как раз к нему подошли.

— Но тут все гораздо проще,— возразил Гринвуд.— Ведь это комиссариат, повторяю тебе. Ты знаешь, что это означает. Просто здание, полное парней, печатающих на машинках. Не сравнить с тюрьмой, из которой вы меня вытащили.

— Больше того,— добавил Келп,— мы столько времени потратили на эту работу, что мне противно бросать все на ветер.

— Я прекрасно тебя понимаю,— сказал Чефуик,— и в чем-то согласен с тобой, но мне кажется, что это будет испытанием судьбы. Мы провели две операции: никто из нас не погиб, никто не сидит в тюрьме, никто не ранен. Мы должны благодарить бога, что все прошло так благополучно. Нужно бросить это дело и заняться чем-нибудь другим.

— У нас пока нет ничего на примете,— возразил Келп.— Но есть дело с изумрудом, так почему бы не попытаться еще раз?

— Три работы по одной цене,— заметил Дортмундер.

— В этом отношении вы правы,— вмешался майор.— Вы

проделали большую работу, чем было предусмотрено нашим контрактом. Вместо тридцати тысяч долларов на человека, как условлено, мы вам дадим...— Айко сделал паузу,— тридцать две тысячи. Лишних десять тысяч на всех.

Дортмундер усмехнулся.

— Две тысячи долларов, чтобы вломиться в комиссариат полиции? За такие деньги я не вломлюсь даже в телефонную будку.

— На самом деле мало, майор,— сказал Келп.— Если это все, что вы можете предложить, то лучше прекратить разговор.

Майор нахмурил лоб и поочередно посмотрел на присутствующих.

— Не знаю, что сказать.

— Скажите: десять тысяч,— намекнул Келп.

— На человека?

— Вот именно. И двести долларов в неделю.

Майор задумался. Слишком быстрая капитуляция могла вызвать подозрения, и он ответил:

— Я не могу дать столько. У моей страны нет такой возможности, мы уж и так пошатнули национальный бюджет.

— Тогда сколько? — дружелюбно спросил Келп.

Майор забарабанил по столу кончиками пальцев, прищурился, закрыл один глаз, почесал голову за левым ухом и, наконец, решился.

— Пять тысяч.

— И двести долларов в неделю.

— Хорошо,— согласился майор.

Келп посмотрел на Дортмундера.

— Это тебя устраивает?

Дортмундер покусал палец и ответил:

— Я взгляну на комиссариат. Если дело мне покажется возможным и если Чефуик согласится, то соглашусь и я.

— Естественно,— добавил майор,— что вам будут оплачивать с того дня, как начнется подготовка.

Все встали. Майор обратился к Гринвуду:

— Могу я принести вам свои поздравления по поводу вашего освобождения?

— Спасибо,— сказал Гринвуд.— Вы случайно не знаете подходящей квартиры? Две комнаты с кухней по скромной цене и в хорошем районе?

— К сожалению, нет,— ответил майор.

— Если случайно услышите о чем-нибудь подходящем,— настаивал Гринвуд,— дайте мне знать.

— Обязательно,— заверил его майор.

2

Марч, сжимая в руке почти пустую бутылку абрикосового ликера, сошел с тротуара на дорогу перед полицейской машиной, помахал рукой и закричал:

— Такси!

Полицейская машина вынуждена была остановиться, чтобы

не раздавить его. Марч уцепился за дверцу и громогласно заявил:

— Я хочу вернуться к себе. Бруклин. Отвези меня в Бруклин, паренек, и поторопись.

Полицейский, не сидевший за рулем, вышел из машины.

— Подойди-ка поближе,— велел он.

Марч, шатаясь, приблизился. Подмигнув полицейскому, он сделал щедрый жест.

— Не думай о счетчике, дружок. Мы с тобой в два счета договоримся. Дураки полицейские ничего не узнают.

— Ах, так? — сказал полицейский.

— Что вообще знают эти кретины?! Ничего они не знают!

— Кроме шуток? — Полицейский открыл заднюю дверцу. — Садись же, приятель, — поторопил он.

— Отлично. — Марч влез в полицейскую машину, развалился на сиденье и почти сразу же заснул.

Полицейские не отвезли Марча в Бруклин. Они привезли его в комиссариат, где разбудили без телячьих нежностей, согнав с заднего сиденья полицейской машины, заставили подняться по ступенькам и передали другим полицейским.

— Пускай проспится в «курятнике», — заявил один из стражей порядка.

Произошел короткий церемониал представления, потом новые провожатые потащили Марча вдоль длинного коридора и втокнули его в «курятник» — большую металлическую комнату, полную решеток и пьяниц.

— Это несправедливо... — пробормотал Марч как бы самому себе и завопил: — Эй! Послушайте, черт возьми! Шайка негодяев!

Остальные пьяницы, которые, как и положено, во сне избавлялись от алкоголя, проснулись от воплей Марча очень сердитыми.

— Заткнись! — заворчал один из них.

— Пошел ты... — возразил Марч и дал ему в зубы.

Секундой позже в вырезывателе разгорелось настоящее сражение. Редкие удары достигали цели, но зато все размахивали кулаками.

Дверь открылась, и появились полицейские.

— Довольно! Прекратить!

Дерущиеся расступились и объяснили стражам, что в беспорядке виновен Марч.

— Я не останусь здесь, с этой пьянью! — заявил Марч.

— Это уж точно, браток, — ответил один из полицейских.

Марча вывели из «курятника», но особенно при этом церемонясь, и заставили подняться на четвертый, последний этаж комиссариата, где находились камеры. Марч надеялся, что его поместят во вторую справа, что сразу же решило бы все проблемы. К несчастью, в этой камере кто-то уже сидел, и Марч очутился в четвертой слева — ему пинком придали ускорение и заперли дверь.

Из коридора в камеру просачивался свет. Марч сел на покрытую одеялом металлическую койку и растегнул рубашку. Под

ней, приклеенные липкой лентой, находились несколько листов бумаги и шариковая авторучка. С болезненной гримасой он оторвал их от груди и набросал несколько планов и схем. Потом приклеил все обратно, растянулся на койке и заснул.

Утром его крепко обругали, но так как досье Марча было действительно чистым, а он, смиренный и смущенный, глубоко раскаивался в своем поведении, его не стали задерживать.

Выйдя из комиссариата, Марч бросил взгляд на другую сторону улицы и увидел почти новенький «крайслер» с номером «МД». За рулем сидел Келп и фотографировал фасад комиссариата. Чефуик на заднем сиденье считал входящих и выходящих, а также количество машин, подъезжающих к зданию.

Марч влез в «крайслер» и сел рядом с Келпом.

— Салют,— сказал Келп.

— Привет,— ответил Марч.— Старина, никогда не напивайся. Полицейские ужас как не любят пьяных.

Немного позднее, когда все было закончено, Келп и Чефуик пересекли город, чтобы доставить Марча к тому месту, где он оставил своего «мустанга».

— У тебя украли дворники,— заметил Келп.

— Я всегда снимаю их, когда приезжаю в Манхэттен. Тут полно воров.

Марч расстегнул рубашку, отлепил бумаги и отдал их Келпу.

3

На этот раз эбеновый секретарь без уговоров проводил Келпа в кабинет, где стоял бильярд, слегка поклонился и ушел, закрыв за собой дверь.

Келп вытер со лба последние капли пота, помахал руками, чтобы проветрить под мышками, подошел к столу и начал лениво гонять шары.

Появившийся через несколько минут майор заметил:

— Что-то сегодня у вас не ладится.

— Да я так, дурака валяю,— оправдывающимся тоном сказал Келп, отложил кий и вытащил из кармана брюк смятый и влажный листок бумаги. Айко развернул листок с явной брезгливостью и хрипло воскликнул:

— Вертолет?!

— Мы не уверены, что вы сможете достать его. Но в противном случае дело бросаем. Дортмундер сказал, чтобы я отнес вам список, а вы уж решайте сами.

Айко выглядел немного опарашенным.

— Вертолет,— повторил он.— Где, по-вашему, я раскопаю вертолет?

— Не знаю,— пожал плечами Келп,— но мы подумали, что за вами стоит целая страна.

— Это верно,— согласился Айко,— но моя страна называется Талабво, а не США.

— В Талабво нет вертолетов?

— Есть, разумеется!— возмущенно возразил майор, обиженный за свою страну.— У нас целых семь вертолетов! Но они

в Талабво, в Африке. Американские власти заинтересуются, если мы переправим один вертолет сюда.

— Да,— протянул Келп.— Дайте мне немного подумать.

— Все остальное в этом списке я достану без труда,— продолжал Айко.— Вы уверены, что вам нужен вертолет?

— Камеры находятся на последнем этаже,— пояснил Келп.— Если идти через входную дверь, то надо подняться на четыре этажа, полных вооруженных полицейских, прежде чем пройдешь к камерам, и потом четыре этажа назад, чтобы выйти на улицу. А знаете, что на улице?

Айко покачал головой.

— Полицейские,— сказал Келп.— Три или четыре патрульных машины, плюс полицейские, которые просто общаются у входа.

— Понимаю,— произнес Айко.

— Наш единственный шанс,— продолжал Келп,— появиться с крыши. Мы опустимся на крышу и оттуда проникнем в здание. Камеры буквально в двух шагах, и практически там нет охраны. А когда мы добудем изумруд, не нужно будет пробивать себе путь. Достаточно вернуться на крышу и улететь.

— Понимаю,— повторил Айко,— но вертолет — это слишком громко. Ваше приближение услышат.

— Вовсе нет,— возразил Келп.— В окрестностях целый день гудят самолеты. Тяжелые машины, приземляющиеся на Ла-Гуарида, пролетают гораздо ниже, чем вы себе представляете.

— И вы воспользуетесь их шумом?

— Мы отметили все полеты и пойдем потихоньку во время одного из них.

— А если вас кто-нибудь увидит из другого здания? — поинтересовался Айко.

— Что с того? Увидят, что вертолет сел на крышу комиссариата.

— Хорошо,— согласился Айко.— Видимо, это может удался. Но где найти вертолет, вот в чем проблема.

— Не знаю. А где вы раньше их доставали?

— Мы покупали их у...— Майор внезапно замолчал, и глаза его округлились.— Нашел! — воскликнул он.

— Отлично,— сказал Келп.— И как вы собираетесь это сделать?

— Мы просто-напросто закажем вертолет. По обычным нашим каналам. Я все сделаю. Когда он прибудет в Нью-Йорк, чтобы на судне отправиться в Талабво, то несколько дней простоят в ангаре. Я могу устроить, чтобы вы воспользовались им, но только не в рабочее время.

— В рабочее время он нам и не нужен. Мы рассчитываем вылететь в половине восьмого вечера.

— Отлично,— сказал Айко, очень довольный собой.— Вертолет будет запрошен.

— Хорошо.

— Единственная неприятность в том,— продолжал майор, энтузиазм которого несколько поостыл,— что выполнение этого заказа может задержаться недели на три, а то и больше.

— Это ничего,— успокоил его Келп.— Изумруд подождет. Главное, чтобы мы каждую неделю получали деньги.

— Я все сделаю как можно скорей,— заверил Айко.

4

Синий «линкольн» с номерным знаком «МД» медленно продвигался между длинными складами доков Ньюарка. Половина седьмого вечера, вторник, пятнадцатое августа.

Келп сидел рядом с Марчем и держал в руке бумагу, на которой были напечатаны указания. Остальные трое расположились на заднем сиденье: Дортмундер справа, Чефуик посередине, Гринвуд слева. Все они были одеты как сторожа. Форма смахивала на полицейскую и уже послужила им в «Колизее». Марч вместо формы щеголял в куртке и фуражке шофера автобуса «Грейхаунд».

— Поверни туда,— сказал Келп, указывая рукой вперед.

— В какую сторону? — спросил он с деланным терпением.

— Налево,— ответил Келп.— Разве я тебе не сказал?

— Спасибо,— съязвил Марч.— Ты мне ничего не говорил.

Марч повернул налево по узкой асфальтовой дорожке между двумя складами из красного кирпича и выехал на обширное пространство, окруженное со всех сторон стенами складов. Посреди образовавшейся площадки стоял вертолет.

— До чего же здоровый!..— с уважением протянул Келп.

Вертолет, выкрашенный в цвет хаки, казался огромным. Нос был закруглен, весь в стекле, по бокам располагались небольшие окошки.

«Линкольн» медленно проехал по неровному покрытию и остановился возле вертолета.

Все вышли на предвечернее пекло, и Марч с широкой улыбкой на губах стал потирать руки, глядя на стоявшую перед ним машину.

— Вот это игрушка! — воскликнул он.

Дортмундер, внезапно охваченный сомнением, спросил его:

— Ты уже водил такие аппараты?

— Я же сказал тебе, что могу водить все, что угодно.

— Да, говорил, я помню. Ты можешь водить все, что угодно,— повторил Дортмундер,— но мне интересно, водил ли ты такие аппараты?

— Не отвечай ему,— сказал Келп Марчу.— Я не хочу знать, да и он тоже. По крайней мере сейчас. Поднимемся на борт.

Марч обошел «линкольн», открыл багажник, и снаряжение стали переносить в вертолет. Чефуик держал в руке свою черную сумку. Гринвуд и Дортмундер взвалили на плечи два пулемета, на стволах которых, будто туша заваленного кабана, висел зеленый стальной ящик с детонаторами и гранатами со слезоточивым газом. Келп нес большую картонную коробку, полную ручников. Марч убедился, что «линкольн» надежно заперт, и поспешил следом с тяжелым радиоглушителем, оцетинившимся шкалами и телескопическими антеннами.

Внутри вертолет был похож на машину: две скамейки спереди

и длинная скамья сзади. Позади оставалось место для багажа, и все снаряжение сложили туда. Дортмундер посмотрел на Марча, разглядывавшего приборный щиток. Через минуту он с чувством проговорил:

— Ты никогда не видел вертолета!

Марч повернулся к нему:

— Ты что, смеешься? Я читал в журнале «Популярная механика», как его сделать! Думаешь, я не смогу его вести?!

Дортмундер бросил взгляд на Келла.

— Лучше бы я сейчас толкал энциклопедии...

Марч, чувствуя себя оскорбленным, сказал:

— Ладно, смотри сюда. Видишь, я нажимаю эту кнопку? Потом опускаю рычаг и...

Раздался рев. Лопасты вертелись все быстрее и быстрее, пока не превратились в сплошной вихрь.

Марч похлопал Дортмундера по плечу. Он продолжал объяснять, что делает, манипулируя рукоятками, хотя Дортмундер и не мог его слышать.

Внезапно Марч улыбнулся, откинулся на сиденье, кивнул головой и вытянул палец. Дортмундер наклонился вперед, чтобы бросить взгляд вниз. Земля оказалась далеко-далеко — оранжевая, желтая, зеленая, черная, с длинными полосами теней от заходящего солнца.

— Вот это да,— тихо проговорил Дортмундер, зная, что его никто не слышит.

Марч в течение нескольких минут продолжал двигать различными рукоятками, чтобы освоиться, кидая вертолет туда и сюда, затем стабилизировал аппарат, и они начали полет на северо-восток, быстро приближаясь к Нью-Йорку.

Дортмундер посмотрел на часы. Семь двадцать. Все шло хорошо.

Они собирались облететь комиссариат и приблизиться к нему сзади, чтобы полицейские, находящиеся перед зданием, не заметили спускающегося на крышу вертолета.

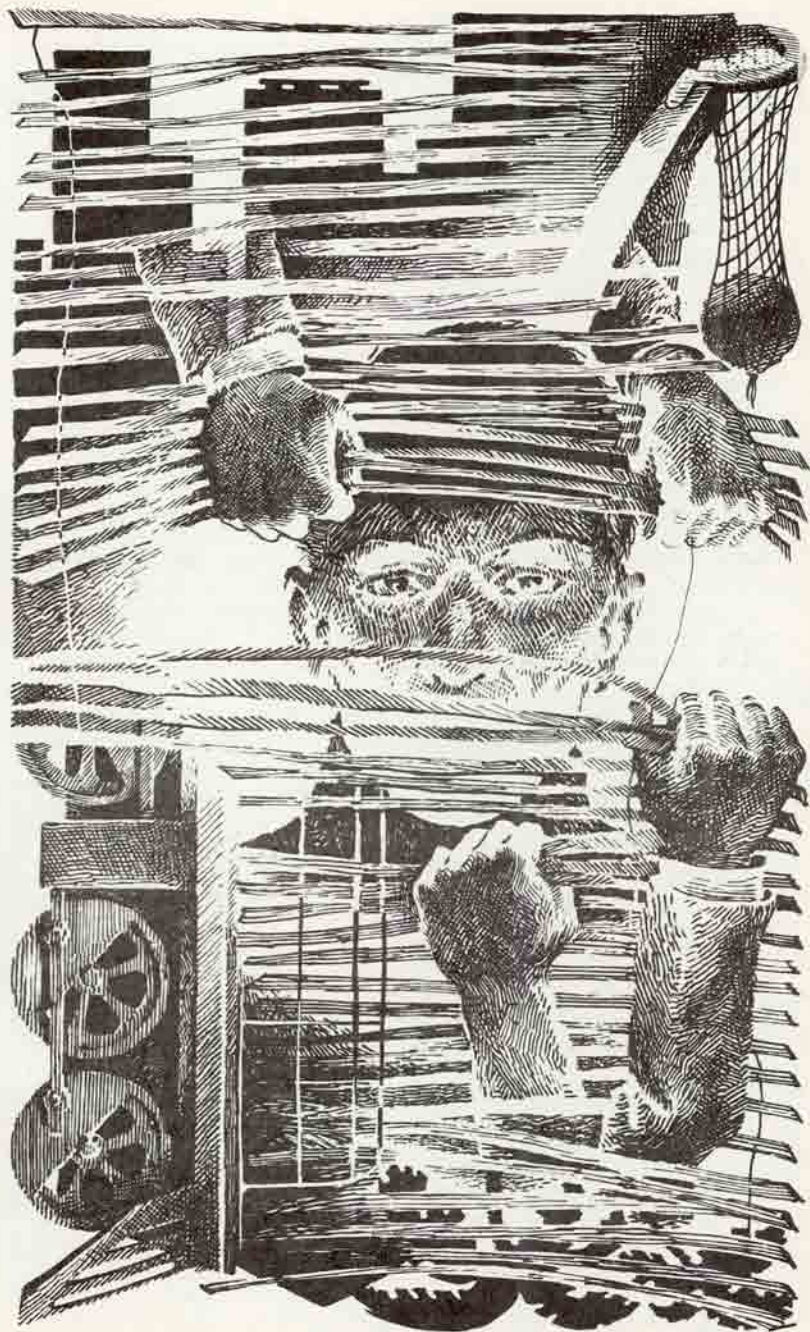
Теперь Марч уже знал, как опускаться и подниматься. Нужную им улицу он обнаружил благодаря Центральному Парку и перекрестку Бродвея и Вест-Энд-авеню. Внезапно прямо перед ними появился прямоугольник крыши комиссариата.

Келл наклонился вперед, хлопнул Дортмундера по плечу и, когда тот повернулся, указал ему на небо справа. Дортмундер увидел самолет, летевший на восток и ревущий во всю мощь своих моторов, улыбнулся и кивнул головой.

Марч осторожно посадил вертолет, выключил двигатель и объявил:

— Последняя остановка.

Дортмундер открыл дверцу, и все выбрались на крышу. Чофуик поспешил к двери небольшой постройки посреди крыши, остальные начали разгружать вертолет. Келл взял кусачки, подошел к краю крыши, лег плашмя на живот и, вытянув ноги, перерезал телефонные провода. Марч установил портативный глушитель, надел наушники и начал манипулировать ручками настройки. Все радиопередачи из здания тут же прекратились.



Тем временем Чефуик справился с дверью. Дортмундер и Гринвуд набили карманы детонаторами, гранатами со слезоточивым газом и последовали за Чефуиком по лестнице до глухой металлической перегородки. Чефуик некоторое время смотрел на нее, потом заявил:

— Придется взорвать. Поднимитесь обратно.

Келл в это время спускался, неся в руках коробку с наручниками. Дортмундер встретил его на полпути:

— На крышу! Чефуик будет взрывать.

— Ясно.

Все трое поспешно поднялись. Марч отошел от глушителя и сел на край крыши; около него были разложены детонаторы. Он повернулся к поднявшимся и замахал руками, но Дортмундер показал ему два пальца, давая понять, что нужно подождать две минуты. Марч согласно кивнул.

На крыше появился Чефуик.

— Порядок? — спросил его Дортмундер.

— Три, — несколько возбужденно проговорил Чефуик, — два, один.

Внизу гроыхнуло, серая пыль заполнила лестницу и поднялась на крышу.

Дортмундер сквозь дым побежал по лестнице вниз и увидел, что дверь лежит на полу. Он ринулся вперед и попал в маленький квадратный вестибюль, в конце которого начиналась лестница. Лестницу сторожил худощавый пожилой полицейский; рефлексы его были несколько замедленными, к тому же он не был вооружен.

— Займись им, — бросил через плечо Дортмундер и повернулся в другую сторону, где коренастый полицейский, державший в руке сэндвич с ветчиной и сыром, пытался запереть решетку. Дортмундер наставил на него пулемет и сказал:

— Брось!

Полицейский замер и поднял руки. Кусок хлеба повис у него между пальцами, как ухо собаки.

Гринвуду тем временем удалось уговорить старого полицейского подумать об отставке. Тот застыл с поднятыми руками, а Гринвуд бросил три детонатора и две гранаты со слезоточивым газом на лестницу, чтобы никто не вздумал подниматься.

На этаже был еще один дежурный полицейский. Он сидел за старым письменным столом и читал журнал. Увидев перед собой Дортмундера и Гринвуда, толкавших двух полицейских, он поднял голову и спросил:

— Вы уверены, что попали по адресу?

— Открой, — велел ему Дортмундер, указав на решетку.

Отсюда были видны камеры и руки, махавшие через решетки по обе стороны коридора. Никто не знал, что происходит, но все хотели принять участие.

— Послушайте, — сказал полицейский Дортмундеру. — Самый опасный здесь — литовский моряк. Оглушил бутылкой бармена, и тому наложили семь швов... Вам точно нужен кто-то из наших?

— Давай открывай, — поторопил Дортмундер.

Полицейский пожал плечами.

— Дело ваше,— сказал он.

На первом этаже, в кабинете капитана, на смену спокойствию пришло сумасшествие. Сам капитан, рабочий день которого закончился, ушел домой. Заключенные на верхних этажах получили ужин, патрульные машины и ночные патрули — инструкции, и дежурный лейтенант, уставший от дневной суматохи, наконец расслабился в прохладном кабинете, просматривая рапорты, когда в комнату стали врваться полицейские.

Первым вошел дежурный телефонист и доложил:

— Сэр, телефоны не работают.

— Вот как? Что ж, надо позвонить в телефонную компанию, чтобы устранили неполадки. В темпе.

Лейтенант взял телефонную трубку, чтобы вызвать компанию, но не услышал ни звука. Телефонист смотрел на него долгим взглядом.

— О! — произнес лейтенант. — Я и забыл...

И положил трубку.

Из неловкого положения его выручил полицейский, дежуривший у радиоаппаратов. Он вбежал с ошалелым видом и выпалил:

— Сэр, наши передачи глушат!

— Что?

— Мы не можем ни принимать, ни передавать,— уточнил полицейский.— Кто-то нас глушит, это точно. Я сталкивался на флоте...

— Где-нибудь неисправность,— перебил лейтенант,— вот и все.— Он был обеспокоен, но не хотел показывать этого.— Вероятно, что-то сломалось.

В недрах здания прогремел взрыв.

Лейтенант вскочил с места.

— Боже мой! Что это такое?!

— Взрыв, сэр,— ответил телефонист.

Послышался новый взрыв.

— Два взрыва,— прибавил радист.

Послышался третий взрыв.

Вбежал запыхавшийся полицейский.

— Бомбы! На улице!

— Революция,— пробормотал лейтенант.— Это революция.

Они всегда начинают с комиссариатов.

Вбежал другой полицейский.

— Слезоточивый газ на лестнице, лейтенант! И кто-то взорвал лестницу между третьим и четвертым этажами.

— Мобилизация! — завопил лейтенант.— Вызовите губернатора! Позвоните мэру! — Он схватился за телефон.— Алло! Алло!

В кабинет ворвался новый полицейский.

— Сэр, на улице пожар!

— Что на улице?! Что?

— Одна бомба попала в машину, стоящую у тротуара. Теперь она горит!

— Бомбы? Бомбы?! — Лейтенант посмотрел на телефонную трубку, которую держал в руке, потом резко отбросил ее. — Достаньте винтовки! — заорал он. — Соберите всех на первом этаже, и побыстрее! Мне нужен доброволец, который пробился бы сквозь стан врагов и отнес мое послание!

— Послание, сэр? Кому?

— Телефонной компании, кому же еще? Мне необходимо позвонить капитану!

Наверху Келп занимался тем, что надевал полицейским наручники. Чефуик, взяв ключи от камер со стола дежурного, открывал вторую камеру справа. Дортмундер и Гринвуд стояли на страже с наставленными на полицейских пулеметами. Со всех сторон раздавались истерические вопли заключенных.

Внутри камеры, которую только что открыл Чефуик, на них с восторженным изумлением смотрел заключенный — маленький старикашка, сухой, бородатый, в черном плаще, коричневых штанах и кедах.

Чефуик распахнул дверь камеры.

— Вы за мной? — спросил старик. — За мной, парни?

Вошел Гринвуд, небрежно держа в одной руке пулемет, и направился прямо к стене в глубине камеры.

Он встал на цыпочки, протянул руку к щели у потолка и вытащил камешек, ничем не выделявшийся среди других. Потом сунул руку в отверстие.

Келп и Дортмундер тем временем подвели пленников к камере, чтобы запереть их там, когда Гринвуд закончит свое дело.

Гринвуд, не вынимая руки, повернул голову в сторону Дортмундера и глупо улыбнулся.

Дортмундер подошел к двери.

— Что случилось?

— Я не пони...

Пальцы Гринвуда отчаянно шарили в дыре. С улицы приглушенно слышались разрывы детонаторов.

— Его там нет? — спросил Дортмундер.

Старик, жалобно глядя на всех по очереди, скулил:

— За мной, парни?..

Охваченный внезапным подозрением, Гринвуд повернулся к нему.

— Это ты его взял?

Удивление старика перешло в беспокойство.

— Я? Я?

— Кто же тогда?! — дико завопил Гринвуд. — Если не он, тогда кто же?

— Камень находился здесь почти два месяца, — сказал Дортмундер и повернулся к полицейским: — Сколько времени этот тип в камере?

— С трех часов сегодняшнего утра.

— Клянусь, я положил его... — начал Гринвуд.

— Я верю тебе, — ответил Дортмундер с усталым видом. — Кто-то его нашел, вот и все. Идемте отсюда.

Чефуик запер дверь, и они ушли. На лестнице никого не было,

но тем не менее они на всякий случай бросили две слезоточивые гранаты и поспешно поднялись по лестнице на крышу, в точности следуя плану.

Марч уже сидел в вертолете и, увидев их, включил мотор. Начали вращаться лопасти. Дортмундер и остальные, согнувшись против ветра, побежали к вертолету.

На нижнем этаже лейтенант наблюдал за раздачей оружия. Внезапно он наклонил голову и прислушался. Характерный шум вертолета достиг его ушей.

— Господи! — прошептал он. — Их, вероятно, снарядил Кастро!

Марч поднял машину в воздух и направил в ночь, на север. Не зажигая огней, они пролетели над Гарлемом, потом спустились ниже к Гудзону и повернули на юг.

Они вернулись на то же место, откуда взлетали. Никто не произнес ни слова. Потом Марч с грустью проговорил:

— А я мечтал купить себе такой аппарат...

Ему не ответили. Усталые и удрученные, все направились к «линкольну», едва видневшемуся в темноте.

Дортмундера высадили у его дома. Он поднялся к себе, приготовил очень крепкий бурбон, сел на диван, посмотрел на свой портфель, набитый рекламными проспектами энциклопедий, и вздохнул.

ФАЗА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Полицейский, к которому после освобождения должен был регулярно приходиться Дортмундер, уже начал лысеть, слишком много работал и не верил в то, что делал. Звали его Стин.

— Итак, — начал Стин, — кажется, вы на самом деле ведете себя достойно, Дортмундер. Поздравляю вас.

— Я усвоил урок, — сказал Дортмундер.

— Учиться никогда не поздно, — согласился Стин. — Но позвольте дать вам дружеский совет. На основании своего опыта, да и опыта полицейских наблюдений, могу сказать: нет ничего опаснее скверных знакомств.

Дортмундер кивнул.

— Может показаться странным, что я говорю это человеку вашего возраста, — продолжал Стин, — но главной причиной рецидива являются скверные знакомства. Вам нужно это помнить на случай, если кто-нибудь из ваших прежних дружков предложит «последнее дело», которое может окончательно погубить вас.

Дортмундер откашлялся, забарабанил пальцами по столу. Даже стал ерзать на месте и, наконец, сказал:

— Если я вам больше не нужен...

Глаза Стина медленно перешли на него.

— Дортмундер, — начал он, — вы по-прежнему посещаете курсы механиков?

— О, да, — ответил Дортмундер.

Разумеется, никаких курсов не было.

— И вам по-прежнему оказывает финансовую помощь ваш двоюродный брат, мистер Келп?

— Ну!

— Вам повезло, что у вас такие родственники, как он,— сказал Стин и со счастливой улыбкой на губах склонился над своими бумагами. — Ну, теперь все.— Он поднял голову, но лицо Дортмундера было лишено всякого выражения.

Дортмундер встал.

— До следующей встречи.

— Продолжайте работать,— напутствовал Стин.— И избегайте скверных знакомств.

— Я так и буду делать,— ответил Дортмундер.

Он вернулся к себе и застал в гостиной всю компанию.

— Кто вас впустил, парни?

— Я,— ответил Чефуик, посасывающий пиво.— Надеюсь, ты не сердись?

— Почему это должно меня сердить? — иронично усмехнулся Дортмундер.— Разве это личная квартира?

— Мы хотели с тобой поговорить,— сказал Келп. Он пил бурбон Дортмундера и поднял полный стакан.— У нас есть новости. Во всяком случае, они есть у Гринвуда.

Дортмундер посмотрел на Гринвуда.

— Хорошие новости?

— Лучше не придумать. Ты помнишь изумруд?

— Опять?

— Я хочу закончить работу,— сказал Гринвуд.

— Это она тебя прикончит. Я не суеверен, но если существует работа, которая приносит несчастье, то это именно она,— заявил Дортмундер.

— По крайней мере ты мог бы послушать, что скажет Гринвуд,— вмешался Келп.— Сделай ему одолжение.

— А он может сказать что-то такое, чего я не знаю?

— Именно,— ответил Келп.— Похоже, он кое-что от нас скрыл...

— Я ничего от вас не скрывал,— запротестовал Гринвуд.— Не намеренно. Я был смущен. Меня надули, и мне было слишком неприятно признаться в этом, прежде чем я прояснил ситуацию. Ты понимаешь, что я хочу сказать?

Дортмундер кинул на него взгляд.

— Ты все рассказал Проскеру.

Гринвуд опустил голову.

— В тот момент мне это показалось хорошей идеей,— пробормотал он.— Ведь он был моим адвокатом. По его словам, в случае неудачи, когда вы старались вытащить меня из тюрьмы, он мог сам наложить руку на изумруд, передать его Айко и воспользоваться деньгами, чтобы вытащить всех нас из беды.

Дортмундер усмехнулся.

— А он, случайно, не предложил тебе акции золотых рудников?

— Все это казалось разумным,— жалобно продолжал Гринвуд.— Кто мог предполагать, что он окажется вором?

— Все на свете,— ответил Дортмундер.

— Вопрос не в этом,— вмешался Келп.— Вопрос в том, что нам теперь известно, где изумруд.

— Прошло уже больше трех недель,— сказал Дортмундер.— Почему тебе понадобилось столько времени, чтобы сообщить нам эту новость?

— Я хотел сам забрать изумруд. Я считал, что вы, парни, и так намучились с ним. Вы проделали три операции, вы вытащили меня из тюрьмы, и самое маленькое, что я мог сделать, это самому попытаться отобрать изумруд у Проскера.

Дортмундер посмотрел на него с циничной улыбкой.

— Клянусь! — воскликнул Гринвуд.— Я и не думал оставлять его себе! Я хотел вернуть его нашей группе.

— Во всяком случае, дело сейчас в другом,— сказал Келп.— Самое главное — мы знаем, что камень у Проскера. Мы знаем, что он не отдал его майору Айко, я проверил это сегодня утром. Другими словами, он думает держать его до тех пор, пока дело не будет закрыто, а потом загонит тому, кто больше даст. Нам достаточно отобрать изумруд у Проскера, отдать Айко, и игра будет выиграна.

— Если бы это было так легко,— заметил Дортмундер,— Гринвуд не сидел бы сейчас без изумруда.

— Ты совершенно прав,— признал Гринвуд.— Есть маленькая загвоздка.

— Маленькая загвоздка,— повторил Дортмундер.

— Проскер исчез,— продолжал Гринвуд.— Но я нашел его. Два дня назад. Но... Дело в том, что к нему довольно трудно подобраться. А уж в одиночку и вовсе невозможно.

Дортмундер опустил голову и закрыл глаза рукой.

— Ну, валяй, до конца... Рассказывай.

Гринвуд прочистил горло.

— В тот день, когда мы напали на комиссариат, Проскер засадил себя в сумасшедший дом.

Наступило молчание. Дортмундер был недвижим, затем взял стакан.

— Я не вломлюсь в сумасшедший дом. Хотите, отправляйтесь туда сами. Самое подходящее для вас место.

— Мы все замешаны в этом деле, Дортмундер,— заявил Келп.— И все, за исключением тебя, готовы сделать еще одну попытку.

— И мы хотим, чтобы ты был с нами,— добавил Чефуик.

— Зачем я вам нужен? Попробуйте без меня, вас ведь четверо.

— Планы всегда составляешь ты, Дортмундер,— сказал Келп.— Ты организатор и нужен нам, чтобы руководить операцией.

— Ты сам можешь заняться этим,— ответил Дортмундер.— Или Гринвуд. Чефуик тоже. Не знаю... может, Марч займется...

— Ни у кого не получится так, как у тебя,— сказал Марч.

— Я вам не нужен,— повторил Дортмундер.— Кроме того, меня предупредили о дурных спутниках.

Келп протестующе замахал руками.

— Плюнь ты на все эти гороскопы!.. Я сам когда-то увлекался, а моя вторая жена была просто помешана на этой чепухе. И сел я единственный раз только потому, что действовал по Зодиаку.

Дортмундер нахмурился.

— Ты о чем говоришь?

— О гороскопе,— объяснил Келп. Он многозначительно повел руками.— Дурные спутники, планеты...

Дортмундер сощурился в глубоком раздумье, потом с сомнением произнес:

— Ты имеешь в виду гороскоп?

— Ну!— кивнул Келп.— Естественно.

Дортмундер потряс головой, пытаясь разобраться в происходящем.

— Ты веришь в гороскопы?

— Нет,— ответил Келп.— Это ты веришь.

Дортмундер подумал об этом несколько секунд, медленно покачал головой и сказал, обращаясь ко всем:

— Счастливо оставаться. Надеюсь, вам здесь будет хорошо. Я сообщу, куда выслать мои вещи.

Он встал и направился к двери.

— Эй! Подожди секунду!— крикнул Келп.

Чефуик вскочил с кресла и подбежал к Дортмундеру.

— Я понимаю твои чувства,— заговорил он.— Честно, отлично понимаю. Сначала, когда Гринвуд и Келп пришли ко мне, у меня было такое же мнение, как и у тебя. Но после того, как они объяснили мне ситуацию...

— Вот тогда ты и совершил ошибку,— отрезал Дортмундер.— Никогда их не слушай, они превращают нашу жизнь в картежную игру.

— Дортмундер,— настаивал Чефуик,— ты нам нужен. Дело гораздо сложнее, чем ты думаешь. Без твоего руководства мы не сможем выполнить работу.

Дортмундер уставился на него.

— Работу? Ты хочешь сказать «**работы**»? Почему ты не отдаешь себе отчета, что мы сделали уже три попытки, а этого проклятого изумруда у нас по-прежнему нет? И сколько бы мы ни делали попыток, результат будет таким же!

— Ну, не совсем так,— заметил Гринвуд.— Сперва нам обещали тридцать тысяч на нос, а теперь — тридцать пять.

— И майор еще поднимет цену, я уже говорил с ним об этом. Еще по пять тысяч на брата. Так что это составит сорок тысяч долларов — только за то, чтобы войти в сумасшедший дом и выйти оттуда с жуликом Проскером,— добавил Келп.

Дортмундер повернулся к нему.

— Ошибаешься. Это будет четвертая операция, и на этот раз дело идет о похищении, а за него полагается стул. Мы играем с судьбой. Что бы ты ни говорил о гороскопах, я в приметы не верю. Но этот изумруд приносит несчастье.

— Ты только взгляни, Дортмундер,— настаивал Гринвуд.— Сядем в поезд и осмотрим местность — это все, о чем тебя

просят. Если дело тебе покажется сомнительным, мы его бросим.

— Оно мне уже кажется сомнительным.

— Да что ты о нем знаешь?! — взорвался Гринвуд. — Ты ведь там не был!

— Нет надобности. Я уже знаю, что оно мне не понравится. Почему бы вам не взяться самим? Или, если уж необходим пятый, найдите пятого. Вы даже можете воспользоваться моим телефоном...

— Мне кажется, нужно выложить карты на стол, — сказал Чефуик. — Айко не будет нас финансировать, если ты не с нами.

— Он верит лишь в тебя, Дортмундер, — подтвердил Гринвуд. — Он знает, что ты самый квалифицированный из нас.

— Черт побери! — воскликнул Дортмундер.

— Мы хотим лишь, чтобы ты съездил посмотреть, — взмолился Келл. — После этого, если ты скажешь «нет», мы оставим тебя в покое.

— Можно было бы поехать завтра, — предложил Гринвуд.

— Если не возражаешь, — добавил Чефуик.

Все смотрели на Дортмундера, ожидая его ответа. А он посмотрел в пол, покусывая палец, затем подошел к столу, взял стакан с бурбоном, сделал солидный глоток и повернулся к товарищам.

— Ты поедешь? — с надеждой спросил Гринвуд.

— Полагаю, что да, — произнес Дортмундер с несчастным видом.

Остальные были в восторге.

— Здорово! — воскликнул Келл.

— По крайней мере проверю, не сошел ли я с ума, — Дортмундер допил свой стакан.

2

— Билеты, — произнес контролер.

— Воздух, — сказал Дортмундер.

Контролер остановился в коридоре с компостером в руке.

— Что?

— В вагоне нет воздуха, — пояснил ему Дортмундер. — Окна не открываются, и воздуха не хватает.

— Вы правы, — ответил контролер. — Могу я посмотреть ваши билеты?

— Сможем мы получить немного воздуха?

— Об этом надо спрашивать не меня. Железная дорога гарантирует ваш проезд. Воздух она не гарантирует. А мне нужны ваши билеты.

— А мне нужен воздух, — сказал Дортмундер.

— Вы можете сойти на следующей станции, — предложил контролер. — На станции воздуха полно.

Келл, сидящий рядом с Дортмундером, потянул его за рукав.

— Брось. Это ничего не даст.

Дортмундер посмотрел на лицо контролера и понял, что Келл прав.

Он пожал плечами и протянул свой билет; Келп сделал то же самое. Контролер пробил их билеты, потом пробил билет Марча, сидящего напротив Гринвуда и Чифунка. Так как, кроме этих пятерых, пассажиров в вагоне не было, контролер медленно двинулся по проходу и вышел из вагона, оставив их одних.

— Общение с такими типами удовольствия не доставляет,— заметил Келп.

— Это верно,— сказал Дортмундер, оглядываясь кругом.— Оружие есть?

Келп возмущенно запротестовал.

— Дортмундер! Ведь парень не виноват, что здесь не хватает воздуха!

— О чем ты?.. У кого есть оружие?

— У меня,— ответил Гринвуд, доставая из кармана «смит-и-вессон», пятизарядный короткоствольный револьвер 32-го калибра, и протянул его рукояткой вперед.

— Спасибо.— Дортмундер взял оружие, перевернул револьвер так, чтобы держать за дуло.— Прости,— сказал он Келпу и, перегнувшись через него, ударил рукояткой по стеклу.

— Эй! — воскликнул Келп.

— Воздух! — Дортмундер отдал револьвер Гринвуду.— Большое спасибо.

Гринвуд казался несколько смущенным.

— К твоим услугам,— ответил он, разглядывая рукоятку в поисках царапин. Царапин не оказалось, и он спрятал оружие в карман.

164
Воскресенье, десятое сентября. Ярко светило солнце, и в свежий воздух, врывающийся в разбитое окно, вплетались острые ароматы позднего лета. Поезд, мирно постукивая, катил со скоростью тридцать километров в час, давая пассажирам возможность насладиться загородным пейзажем.

— Долго еще ехать? — спросил Дортмундер.

Келп посмотрел на часы.

— Минут десять — пятнадцать. Психушка будет видна из окна. С этой стороны.

Дортмундер кивнул.

— Это старое кирпичное здание,— продолжал Келп.— Когда-то здесь была фабрика. Они делали сборные бомбоубежища.

Дортмундер посмотрел на него.

— Всякий раз, открывая рот, ты сообщаешь куда больше фактов, чем мне нужно. Сборные бомбоубежища!.. Я не желаю знать, почему обанкротилась фабрика.

— Это довольно интересная история,— сказал Келп.

— Не сомневаюсь.

— Как называется наша станция?

— «Новые Микены». Ее называли так в честь древнегреческого города.

— Не хочу знать, почему,— твердо заявил Дортмундер.

Келп внимательно посмотрел на него.

— Что с тобой?

— Ничего,— отрезал Дортмундер.

В вагон просунул голову контролер и объявил: «Следующая остановка — «Новый Маккена».

— Ты вроде говорил, что следующая остановка наша? — спросил Дортмундер у Келпа.

— Да, да, — ответил Келп, бросив взгляд в окно. — Вот и психушка.

Дортмундер посмотрел в указанном направлении и увидел большое здание из красного кирпича. Высокая решетчатая ограда окружала участок. Через определенные интервалы виднелись металлические щиты с надписью.

Поезд начал замедлять ход.

— Новый Маккена! Новый Маккена! — надрывался контролер.

— Я его, по-моему, ненавижу. — Дортмундер встал, и четверо последовали его примеру. Поезд остановился со страшным лязганьем. Контролер злобно следил за тем, как они выходили.

— Я думал, вы не с ними, — сказал он Марчу.

— С кем? — спросил Марч, выходя на платформу.

— Мы можем пройти пешком, — заявил Келп Дортмундеру. — Это недалеко.

Это оказалось действительно недалеко. Объявление гласило: «Санаторий «Лунный свет». За электрифицированной оградой сидели на складных стульчиках и болтали два вооруженных стража.

— Кого они так старательно охраняют? — спросил Дортмундер, — Рудольфа Гесса?

— Это сумасшедший дом максимальной безопасности, — ответил Келп. — Он отведен для самых богатых психов. Большинство из них уголовники, но из состоятельных семей, имеющих возможность держать их здесь, а не в государственных лечебницах.

— Я потерял целый день, — проговорил Дортмундер. — Я мог бы продать подложки энциклопедий. Воскресенье — хороший день для продажи энциклопедий.

— Ты хочешь сказать, что дело не выгорит? — спросил Чефунк.

— Вооруженная охрана, высокое напряжение, не говоря уже о заключенных... Тебе хочется побыть среди них?

— Я надеялся, что ты что-нибудь придумаешь, — сказал Гринвуд. — Должен же быть какой-то способ попасть туда!

— Разумеется, способ есть. Приземлиться с парашютом. Но как оттуда выйти? — спросил Дортмундер.

— А если обойти кругом? — предложил Марч. — Может, что-нибудь и увидим.

— Пушки, например, — добавил Дортмундер. — Меня бы это не удивило.

— Нам нужно убить целый час до прихода поезда. Обойдем кругом, — предложил Келп.

Дортмундер пожал плечами.

Они обошли лечебницу и не увидели ничего обнадеживающего. У тыльной стороны здания они вынуждены были покинуть асфальтовое шоссе и идти по полю.

— Смотрите,— сказал Марч,— какой-то псих подает нам знаки.

Около клумбы кто-то в белом приветствовал их взмахом руки. Другой рукой таинственный незнакомец прикрывал глаза от солнца. Он улыбался.

Гринвуд воскликнул:

— Э! Да ведь это Проскер!

— Ну да! Это он! — подтвердил Чифуик.

Около клумбы с цветами Проскер приветствовал их издевательскими жестами. Он сложился пополам, стал хлопать себя по коленкам, охваченный безудержным смехом. Он попытался еще и махать руками, но, потеряв равновесие, чуть не упал.

— Гринвуд,— сказал Дортмундер,— дай мне твою пушку.

— Нет, нет,— запротестовал Гринвуд,— он еще не вернул нам изумруд.

— Только нет никакой возможности наложить на него лапы,— заметил Марч.— Так что один черт.

— Это мы еще посмотрим,— сказал Дортмундер, угрожая Проскеру кулаком. Тот так смеялся, что даже сел на землю.

— Просто сердце кровью обливается, что мы не можем добраться до этого подонка,— сказал Келп.

— Можем,— с мрачным видом заявил Дортмундер.

Все посмотрели на него.

— Ты имеешь в виду...— начал Келп.

— Никто не смеет издеваться надо мной,— сказал Дортмундер.— У меня тоже есть самолюбие.

— Значит, мы не откажемся?..

— Я сказал, что у меня есть самолюбие,— повторил Дортмундер, взглянув на Келпа.— Скажи Айко, чтобы ставил на довольствие.

Он еще раз посмотрел на Проскера, который, заходясь смехом, катался по земле, обхватив себя руками и молотя по земле ногами.

— Если он воображает, что сможет остаться здесь, то он настоящий сумасшедший! — сказал Дортмундер.

3

Чернокожий секретарь ввел Келпа в кабинет.

— Ну?! — рявкнул майор.— Прошло уже две недели, как Дортмундер согласился вести операцию. Деньги утекают из моего кармана, а я по-прежнему не вижу никакого изумруда!

— Мы готовы,— сказал Келп и достал из кармана мятый лист бумаги.— Вот то, что нам надо.

— Надеюсь, на сей раз никаких вертолетов?

— Нет, слишком далеко от Нью-Йорка. Но мы думали об этом.

— Не сомневаюсь,— сухо проговорил майор и бросил взгляд на список.— Локомотив! — завопил он.

— Дортмундер предполагал, что могут возникнуть осложнения. Нам ведь не нужен большой локомотив, нам нужно, чтобы он ходил по рельсам стандартного размера. Но он должен быть больше, чем просто дрезина.

— Больше, чем дрезина,— повторил майор и стал пятиться назад, пока не наткнулся на стул, на который и сел. Лист бумаги дрожал у него в руках.

— Чефуик — наш эксперт по железной дороге,— сказал Келп,— так что, если вы захотите поговорить с ним, он вам скажет, что нам в точности нужно.

— Конечно,— произнес майор.

— Он может прийти завтра днем.

— Конечно,— произнес майор.

Келп наморщил лоб.

— Если вы вызовете своих помощников. Поговорить с ним.

— Конечно,— произнес майор.

— С вами все в порядке, майор?

— Конечно,— произнес майор.

Келп подошел к нему и пошевелил пальцами перед его глазами. Глаза майора были устремлены куда-то вдаль.

— Может, позвонить вам сегодня попозже, когда вы будете чувствовать себя лучше?

— Конечно,— произнес майор.

— Нам в самом деле не нужен большой локомотив. Достаточно среднего размера.

— Конечно,— произнес майор.

— Хорошо.— Келп растерянно оглянулся.— Я позвоню вам попозже, чтобы узнать, когда прийти Чефуику.

— Конечно,— произнес майор.

4

Майор Айко стоял неподалеку от фургона. Его лоб бороздили глубокие складки.

— Я должен вернуть этот локомотив,— сказал он.— Не потеряйте его и не повредите. Я должен вернуть его, я взял его лишь на время.

— Вернете,— заверил Дортмундер и посмотрел на часы.— Нам пора.

— Будьте осторожны с локомотивом,— молил майор.— Это все, о чем я вас прошу.

— Я даю вам честное слово,— вмешался Чефуик,— что локомотив не получит ни малейшей царапинки. Вы даже себе не представляете, до какой степени я люблю локомотивы.

Майор кивнул, немного успокоенный, но не совсем.

— Поехали, время, до свидания, майор,— проговорил Дортмундер.

За рулем, конечно, сидел Марч. Дортмундер устроился рядом с ним в кабине, а трое остальных влезли в фургон, где уже был локомотив. Выехав на шоссе, Марч повернул на север, удаляясь от Нью-Йорка по направлению к Новым Микенам.

Это был самый обыкновенный грузовик с брезентовым верхом, на него никто не обратил бы внимания. Но за брезентом скрывалась очень необычная машина, на боках которой в ярких красках были представлены сцены из железнодорожной жизни

и имелась надпись красными буквами тридцатисантиметровой высоты: «ПАРК АТТРАКЦИОНОВ — МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК». А внизу черными более мелкими буквами было написано: «ЗНАМЕНИТЫЙ ЛОКОМОТИВ».

Какими связями должен был воспользоваться майор, какие истории должен был рассказать, сколько денег должен был потратить и какой нажим осуществить, чтобы заполучить локомотив, Дортмундер не знал, да и знать не хотел. Ему это удалось, вот что главное, хотя на это и ушло две недели. Теперь Дортмундер отобьет у Проскера охоту смеяться. О, да!

Марч миновал центр Новых Микен и выскочил на дорогу, ведущую к санаторию «Лунный свет». Они проехали мимо главного входа, и Дортмундер осмотрел его белым взглядом. Все было спокойно. Те же два сторожа болтали у главного входа. Ничего не изменилось.

Проехав еще пять километров, Марч повернул направо. Через восемьсот метров он остановился на обочине и поставил машину на ручной тормоз, но мотор не выключил. Они находились в лесистой местности, вдали от всех домов и построек. В сотне метров от них дорожный знак извещал о близости железнодорожного переезда.

Дортмундер посмотрел на часы.

— Он должен пройти через четыре минуты.

За две прошедшие недели они обследовали эту местность так, что она стала им знакомой, как родной дом, и наизусть знали расписание поездов. Поезд, которого ждал Дортмундер, опаздывал почти на пять минут. Наконец, послышался свисток, поезд прогромыхал мимо, и путь освободился. Марч посмотрел на Дортмундера.

— Когда?

— Подожди пару минут.

Они знали, что следующим по этому пути пройдет товарный в девять тридцать вечера.

Через две минуты Дортмундер бросил окурочек на пол грузовика и раздавил его ногой.

— Можно ехать.

Марч осторожно подвел грузовик к переезду, въехал на него, развернулся вдоль путей и встал, заблокировав дорогу. Дортмундер вышел и, обойдя грузовик, открыл заднюю дверь. Гринвуд и Келп сразу же стали выталкивать изнутри широкие металлические сходни с железнодорожными рельсами. Сходни с шумом упали, и через несколько секунд появился локомотив.

И какой! Тот самый «Мальчик с пальчик», знаменитый локомотив; по крайней мере точная копия знаменитого «Мальчика с пальчик», первого американского паровоза, построенного в 1830 году для линии Балтимор — Огайо. Он как две капли воды походил на старые паровозы в диснеевских мультфильмах, хоть и работал не от угольной топки, а от бензинового двигателя Форда.

Чефуик встал у управления локомотивом. «Мальчик с пальчик» медленно спустился по рельсам сходней и мягко перешел на путь. Чефуик был на седьмом небе от счастья.

— Ту-ту! — сказал он Дортмундеру, показывая в улыбке все свои зубы.

— А я что говорю! — согласился Дортмундер.

Чефуик продвинул локомотив сантиметров на пятьдесят.

— Отлично, — сказал Дортмундер и пошел помогать Гринвуду и Келпу убирать металлические сходни в грузовик.

Чефуик, Гринвуд и Келп уже влезли в черные гидрокостюмы, блестящие на солнце. Они еще не надели ни перчаток, ни масок, но все их тело было защищено резиной. Это разрешало проблему высокого напряжения.

Дортмундер, Гринвуд и Келп влезли на тендер, и Дортмундер закричал Чефуику:

— Давай!

— Ага! Ту-ту! — сказал Чефуик, и «Мальчик с пальчик» пошел по рельсам.

Они быстро добрались до санатория «Лунный свет». Чефуик остановился точно перед стрелкой, откуда бывшая железная дорога сворачивала по направлению к бывшей фабрике. Гринвуд соскочил на землю, побежал перевести стрелку и вернулся назад.

Все надели капюшоны, перчатки и маски, и Чефуик направил локомотив по рельсам бывшей фабрики. «Мальчик с пальчик», его тендер и все прочее были гораздо легче «форда», с которого сняли мотор, и Чефуик достиг девяноста километров в час, когда локомотив ударил в изгородь.

Трах!.. Искры, треск, дым. Провода болтались в воздухе, колеса скрежетали и скрипели на старых ржавых рельсах. Они прошли ограждение и остановились посреди хризантем и гардений.

На другой стороне здания, в своем кабинете, доктор Пончард Л. Уискам сидел за письменным столом и перечитывал статью, написанную для «Американского журнала прикладной психиатрии». Статья называлась: «Случаи индуцированных галлюцинаций у работников психиатрических больниц». В кабинет ворвался санитар и, задыхаясь, выпалил:

— Доктор! В саду появился локомотив!

Доктор Уискам посмотрел на санитаря, потом на статью. Потом снова на санитаря и снова на статью.

— Садитесь, Фостер, поговорим, — сказал он.

Дортмундер, Гринвуд и Келп, вооруженные пулеметами, выскочили из тендера и гидрокостюмах и масках для подводного плавания. По всей лужайке бегали, прыгали и кричали большие в белом и сторожа в голубом. Психиатрическая лечебница стала настоящим сумасшедшим домом.

Дортмундер поднял пулемет и выстрелил в воздух, после чего сразу наступила тишина. Полнейшая тишина.

Повсюду были видны только глаза, круглые, как шары. Дортмундер все же опознал среди других глаза Проскера. Он наставил на него пулемет и закричал:

— Проскер! Иди сюда!

Докторша, в очках и белой курточке, стоявшая позади толпы, внезапно закричала:

— Вам должно быть стыдно! Вы отдаете себе отчет, как искажаете понятие о мире у людей, которым мы стараемся внушить правильное представление о действительности? Как им отличить фантазию от реальности, когда вы проделываете такие штуки?

— Замолчите,— сказал Дортмундер и закричал Проскеру: — Я теряю терпение!

Но Проскер оставался прикованным к месту, прикидываясь непонимающим. К нему быстро подошел сторож и толкнул вперед, прошипев:

— Идете вы или нет? Мы ведь не знаем, хорошо ли он стреляет. Хотите, чтобы погибли невинные?

Шепот одобрения последовал за этими словами. Поведение толпы изменилось. Проскера передавали из рук в руки в направлении локомотива.

Проскер внезапно ожил.

— Мне плохо! — завопил он. — Я болен, болен, у меня неприятности, я ничего не помню! Я ничего не помню, ничего ни о чем не знаю...

— Влезай-ка сюда! — рявкнул Дортмундер. — Мы освежим твою память.

Подталкиваемый сзади, Проскер неохотно поднялся на тендер. Келп и Гринвуд поставили его между собой. Дортмундер обратился к толпе и посоветовал оставаться всем на местах.

— И еще,— добавил он,— пошлите кого-нибудь перевести стрелку, когда мы уедем. Вы ведь не хотите, чтобы к вам заезжали поезда?

Сотни голов утвердительно закивали.

— Отлично.— Дортмундер повернулся к Чефуику: — Давай назад.

— Есть,— ответил Чефуик и добавил вполголоса: — Ту-ту!

5

Марч стоял возле путей и курил.

Наконец рельсы загудели. Марч щелчком отбросил сигарету и побежал к фургону. Когда локомотив подошел, все уже было готово.

Чефуик остановил «Мальчика с пальчик» в нескольких метрах позади грузовика. Пока Гринвуд сторожил Проскера в тендере, Дортмундер и Келп вылезли из гидрокостюмов, спустились и установили сходни на нужное место. Чефуик, осторожно маневрируя, задним ходом ввел локомотив в фургон, а Келп и Дортмундер задвинули сходни на место. Келп влез внутрь фургона. Дортмундер закрыл за ним дверь, потом, обойдя фургон, сел в кабину рядом с Марчем.

— Все хорошо? — спросил Марч.

— Никаких проблем.

Марч свернул на узкую проселочную дорогу, которую они высмотрели неделю назад, завез грузовик как можно дальше, потом остановился.

— Послушайте тишину! — сказал он.

Вечерело, в лесу действительно стояла тишина. Полнейшая тишина — как в сумасшедшем доме после предупредительной пулеметной очереди. Дортмундер вышел из кабины и захлопнул дверцу. Марч спустился с другой стороны. Они добрались до тендера и влезли в него.

Проскер сидел на ящике с оружием, и выражение невинного сумасшествия начало понемногу исчезать с его лица. Келп, Гринвуд и Чефуик стояли рядом.

Дортмундер подошел к Проскеру:

— Проскер, все ясно, как божий день. Если мы не получим изумруд, ты долго не проживешь. Выкладывай!

Проскер посмотрел на Дортмундера с видом провинившегося щенка:

— Я не понимаю, о чем вы. Я болен.

Обозленный Гринвуд предложил:

— Давайте привяжем его к рельсам, и пусть по нему пару раз пройдет поезд. Может, он тогда заговорит?

— Честно говоря, меня бы это удивило, — заметил Чефуик.

— Марч, Келп, — сказал Дортмундер, — отведите его в конец фургона и покажите ему, где мы находимся.

Марч и Келп схватили Проскера за локти и стали толкать его по узкому проходу к двери фургона. Они открыли ее и показали ему лес, освещенный солнцем, и, когда он хорошо все рассмотрел, закрыли дверь, втолкнули его в тендер и вновь усадили на ящик с оружием.

— Мы в лесу, не так ли? — сказал Дортмундер.

Проскер кивнул.

— Да, мы в лесу.

— Что такое «лес», ты помнишь? Очень хорошо. Теперь посмотри сюда. Что это за предмет прислонен к борту?

— Лопата, — ответил Проскер.

— Ты вспомнил, что это лопата. Я восхищен. А ты помнишь, что такое могила?

В образе невинной овечки появилась еще одна трещина.

— Вы не делаете такого с больным, — сказал Проскер и слабо прижал руку к сердцу.

— Нет, — кивнул Дортмундер, — но я сделаю это с мертвым. — Он дал Проскеру несколько секунд для размышления, потом предложил: — Я скажу тебе, что будет. Мы проведем здесь ночь, предоставив полицейским искать локомотив, а завтра уедем. Если ты отдашь нам изумруд, мы отпустим тебя, в противном случае...

Проскер бросил взгляд на локомотив, на тендер, на застывшие лица, окружавшие его.

— Умеешь пользоваться лопатой? — продолжал Дортмундер.

— Лопатой? — удивленно повторил Проскер.

— На случай, если ты не отдашь нам изумруд, — пояснил Дортмундер. — Мы уедем завтра утром без тебя и не хотим, чтобы тебя нашли. Поэтому надо вырыть яму.

Проскер облизнул губы.

— Я... — начал он и вновь посмотрел на окружавшие его лица. — Я бы хотел помочь вам. Серьезно. Но я больной чело-

век. У меня неприятности по работе, неверная любовница, личные проблемы, нервная депрессия. Зачем же я лечусь в лечебнице?!

— Чтобы спрятаться от нас. Ты сам себя туда засадил. Если ты помнишь, что находился в лечебнице, то можешь вспомнить, куда дел изумруд.

— Не знаю, что и сказать...

— Не беда,— сказал Дортмундер.— У тебя целая ночь для размышлений.

6

— Так достаточно глубоко?

Дортмундер подошел и заглянул в яму.

Проскер в своей белой пижаме стоял на дне ямы глубиной сантиметров сорок и, несмотря на утреннюю прохладу, исходил потом. Начинаясь новый солнечный день, воздух осеннего леса был чист и свеж, но адвокат всем своим видом наводил на мысль о знойном августе.

— Мелко,— неодобрительно покачал головой Дортмундер.— Ты хочешь лежать в мелкой могиле? У тебя нет чувства собственного достоинства!

— Вы не посмеете убить меня!— задыхаясь, проговорил Проскер.— Ради денег? Человеческая жизнь дороже денег, а вы гораздо человечнее, чем хотите казаться, и...

— Проскер,— оборвал его Гринвуд.— Я могу убить тебя просто потому, что я в бешенстве. Ты меня обманул! Надул меня. Меня!.. Ты всем доставил массу хлопот, и виноват я. Так что если будешь продолжать притворяться ничего не помнящим, я с удовольствием тебя прикончу.

Проскер болезненно скривился и бросил взгляд на дорогу, по которой они приехали.

— На это не рассчитывай, Проскер,— заявил Дортмундер.— Если ты стараешься выиграть время и ждешь, пока здесь появятся полицейские на мотоциклах, то напрасно надеешься. Мы потому и выбрали это место, что оно безопасное.

Проскер внимательно посмотрел на Дортмундера, поразмыслил с минуту, потом бросил лопату на землю.

— Ладно,— решительно проговорил он.— Вы, конечно, меня не убьете, вы не убийцы, но я отлично понимаю, что вы от меня не отвяжетесь. И похоже на то, что мне никто не поможет. Помогите вылезти. Поговорим.

Все его поведение резко изменилось, голос стал уверенным, жесты — живыми и твердыми.

Дортмундер и Гринвуд протянули ему руку и помогли вылезти из ямы.

— Итак, изумруд,— сказал Дортмундер.

Проскер повернулся к нему.

— Разрешите задать вам гипотетический вопрос. Оставьте ли вы меня без наблюдения до того, как я отдам вам изумруд?

— Это даже не смешно,— сказал Дортмундер.

— Я так и думал,— вздохнул Проскер, разведя руками.—

В таком случае, к моему прискорбию, вы его никогда не получите.

— Я все-таки его убью! — завопил Гринвуд.

— Объясни, — велел Дортмундер.

— Изумруд находится в моем сейфе в одном из банков Манхэттена, на углу Пятой авеню и Сорок шестой улицы. Нужно иметь два ключа, чтобы открыть сейф: мой и банковский. Правила предусматривают, чтобы я спускался в бронированную комнату в сопровождении одного из служащих банка. Мы должны быть одни. Перед входом в бронированную комнату я должен расписаться в регистрационной книге, а они сверяют подпись с той, что есть у них в досье. Другими словами, это должен быть я, и я должен быть один.

— Черт побери!

— Жаль. Мне искренне жаль. Если бы я хранил камень где-нибудь в другом месте, я уверен, мы пришли бы к соглашению. Вы бы выплатили мне компенсацию за убытки и вознаграждение...

— Я сейчас набью ему морду! — взорвался Гринвуд.

— Замолчи, — сказал Дортмундер и обратился к Проскеру: — Продолжай.

Проскер пожал плечами.

— Проблема неразрешима. Я положил камень в такое место, из которого вам его не достать.

— А где ключ? — спросил Дортмундер.

— От сейфа? В моем кабинете в городе. Спрятан. Если вы думаете, что сможете послать кого-нибудь вместо меня, чтобы подделать мою подпись, то я буду играть честно: оба полицейских в банке знают меня лично. Весьма возможно, что ваш человек не встретится с ними, но я не думаю, что вы пойдете на такой риск.

— Дортмундер, — вмешался Гринвуд, — а если этот прохвост умрет? Жена наследует его камень, а мы забираем его у нее.

— Нет, — сказал Проскер, — тоже не пойдет. В случае моей смерти сейф будет вскрыт в присутствии моей жены, двух полицейских банка, адвоката жены и, вероятно, нотариуса. Боюсь, что моя жена не сможет даже забрать камень домой.

— Черт побери! — воскликнул Дортмундер.

— Ты знаешь, что это означает, Дортмундер? — спросил Келл.

— Не желаю и слушать, — сказал Дортмундер.

— Нам придется ограбить банк, — сказал Келл.

— Мне жаль, — деловым тоном произнес Проскер, — но выхода нет.

Гринвуд ударил его в глаз, и адвокат полетел в яму.

— Где лопата? — спросил Гринвуд.

Вмешался Дортмундер.

— Брось, засунь его лучше в фургон.

— Куда мы едем? — спросил Марч.

— Мы возвращаемся в город, — ответил Дортмундер. — Обрадуем майора.

ФАЗА ПЯТАЯ

1

— Мне совсем невесело,— сказал майор.

— Можно подумать,— заметил Дортмундер,— что я обхихикался.

Майор, которому не дали закончить завтрак, сидел за столом; остальные располагались полукругом перед ним. Проскер в перепачканной пижаме находился в центре, у всех на виду.

— Я продолжаю искренне раскаиваться,— сказал Проскер.— Я поступил недалековидно, но причина в спешке. Теперь, на досуге, я раскаиваюсь.

Под глазом у него зрел великолепный синяк.

— Заткнись! — бросил Гринвуд.— Не то будешь раскаиваться еще кое в чем.

— Я нанял вас,— продолжал майор,— потому что вы профессионалы, вы знаете, как нужно правильно проводить операцию.

Келп раздраженно возразил:

— Мы профессионалы, майор, и вели операцию правильно. Мы провели уже четыре операции, и все на «отлично». Мы украли изумруд. Мы выгнали Гринвуда из тюрьмы. Мы проникли в комиссариат и вышли оттуда. И мы похитили Проскера из сумасшедшего дома. Нам все удалось.

— Тогда почему же у меня нет изумруда «Балабомо»? — возмутился майор и протянул пустую ладонь, чтобы подчеркнуть свои слова.

— Обстоятельства,— ответил Келп.— Обстоятельства были против нас.

Майор насмешливо хмыкнул.

— Майор,— вмешался Чефуик,— сейчас вы в плохом настроении, и это совершенно понятно. Мы, кстати, тоже, и по той же причине. Я не хочу говорить о себе, но в течение двадцати трех лет, что я занимаюсь этим делом, у меня была возможность изучить людей, с которыми я работал, и могу вас заверить: вы бы не нашли лучшей группы!

— Прежде чем вы продолжите восхвалять друг друга,— сказал майор,— позвольте вам напомнить: у меня нет изумруда «Балабомо»!

— Мы это знаем, майор,— ответил Дортмундер.— У нас тоже нет наших сорока тысяч долларов на каждого.

— Вы забираете их небольшими порциями,— злобно возразил майор.— Вы отдаете себе отчет, что я уже выплатил вам более двенадцати тысяч долларов жалованья? Еще около восьми тысяч пошло на экипировку и материалы для ваших операций. Двадцать тысяч долларов! А что взамен? Операция удалась, но больной умер!.. Так больше продолжаться не может. Не пойдет! Дортмундер медленно встал.

— Лично я согласен, майор,— сказал он.— Я пришел сюда сделать последнюю попытку, но если вы хотите бросить дело, то я не буду спорить с вами. Завтра исполняется четыре месяца, как я вышел из тюрьмы, и все, что я делал,— это занимался проклятым изумрудом. Если хотите знать правду, я сыт им по

горло, и если бы Проскер не стал тогда дразнить меня, я бы ни за что не согласился на последнее дело.

— Искренне раскаиваюсь,— отозвался Проскер.

— Заткнись ты! — сказал Гринвуд.

Келп встал.

— Дортмундер, не нервничай. Вы тоже, майор, это ни к чему не приведет. Сейчас мы действительно знаем, где находится изумруд.

— Если Проскер не лжет,— заметил майор.

— Лгу?! — возмутился Проскер.

— Я велел тебе заткнуться! — закричал Гринвуд.

— Он не лжет,— сказал Келп.— Он знает, что если изумруда в банке не окажется, мы вернемся сюда и на этот раз церемониться с ним не будем.

— Умный адвокат знает, когда нужно говорить правду,— вставил Проскер.

Гринвуд наклонился и похлопал Проскера по колену.

— Ты, наконец, заткнешься или нет?

— На этот раз мы знаем, где камень,— повторил Келп.— Оттуда он никуда не денется. У нас есть человек, который может его взять. Если мы хорошо выполним свою работу, изумруд будет нашим, и все расстанутся друзьями.

— Есть одна вещь, которой я не понимаю, Дортмундер,— обратился к нему майор.— Вы утверждаете, что сыты этой историей по горло. Ваши друзья были вынуждены уговаривать вас, и мне пришлось пообещать вам более крупную сумму, чтобы вы довели дело до конца. А теперь вы готовы продолжать даже без уговоров, без требования дополнительной суммы, без малейшего колебания с вашей стороны. Честно говоря, я вас не понимаю.

— Этот изумруд,— сказал Дортмундер,— подобен камню на моей шее. Я надеялся, что смогу ускользнуть от него, но это просто невозможно! Я могу уйти отсюда, могу потратить свое время на что-нибудь другое, но рано или поздно этот проклятый изумруд вновь появится, и я окажусь в кабале... Когда Проскер сказал нам, куда его спрятал, я внезапно понял, что это судьба. Если я не получу этот камень, то он получит меня: я все время буду думать о нем. Раз я не могу от него освободиться, не к чему и бороться.

— Банк на Пятой авеню в центре Манхэттена,— проговорил майор,— это не сумасшедший дом и даже не тюрьма в Лонг-Айленде.

— Я знаю,— ответил Дортмундер.

— Это может оказаться самой сложной работой в вашей трудовой биографии.

— Безусловно,— подтвердил Дортмундер.— Банки Нью-Йорка оснащены самой совершенной в мире системой безопасности, сторожа там первоклассные, и целая толпа полицейских перед входом. Еще вечные пробки в центре города, которые могут помешать бегству.

— Вы знаете все это и тем не менее готовы попытаться? — спросил майор.

— Мы все этого хотим,— сказал Келл.

— Это вопрос чести,— вмешался Марч.— Мы должны закончить дело.

— Я хочу лишь сходить на разведку,— отрезал Дортмундер.— Потом уж решать.

— А пока вы будете принимать решение, хотите получить деньги? — едко спросил майор.

Дортмундер посмотрел на него.

— Думаете, я здесь ради двухсот долларов в неделю?

— Не знаю,— ответил майор,— сейчас я уже ничего не знаю.

— Я дам вам ответ через неделю,— сказал Дортмундер.— И в случае отказа верну деньги.

— В этом нет никакой необходимости,— заверил майор.— Не стесняйтесь себя временем. Дело не в долларах. Я, конечно, нервничаю, впрочем, как и все вы. Келл прав, мы не должны ссориться.

— А почему? — с улыбкой проговорил Проскер.

Гринвуд наклонился и слегка ударил Проскера по уху.

— Опять начинаешь? — прикрикнул он.— Смотри у меня!

— А что с ним? — спросил майор, показывая на Проскера.

— Он сказал, где найти ключ от его конторы,— ответил Дортмундер.— Так что сам он теперь не нужен. Но отпускать его нельзя. У вас есть подвал?

Майор удивился.

— Вы хотите, чтобы я его сторожил?

— Временно.

Проскер посмотрел на майора:

— Это называется соучастием.

Гринвуд не удержался и ударил ногой по голени адвоката.

— Ты никогда не научишься?!

Проскер спокойно повернулся к нему:

— Довольно, Гринвуд.

Гринвуд ошеломленно уставился на него.

— Мне, конечно, не по душе эта идея,— признался майор.— Но, полагаю, иного выхода нет.

— Вот именно.

Айко пожал плечами.

— Что ж, ладно.

— До скорого.— Дортмундер направился к двери.

— Минуточку! — быстро вставил майор.— Подождите, пока я вызову подкрепление. Мне не хотелось бы оставаться с пленником наедине.

— Хорошо,— кивнул Дортмундер, и вся компания стояла у двери, пока майор отдавал распоряжения по селектору.

Проскер безмятежно развалился в кресле и благобно всем улыбался, засунув правую руку в карман пижамы. Вскоре в комнату вошли два коренастых негра.

— Я дам вам знать, майор,— сказал Дортмундер.

— Отлично. Надеюсь на вас.

Дортмундер хмыкнул и вышел, за ним последовали остальные.

Майор отдал приказание, чтобы Проскера заперли в подвале.

AIR MAIL

WORRIES

BLACK



Вдруг Проскер бросил небрежно:

— Славные ребята, эти пятеро. Но очень наивны. Ни у одного из них не мелькнула мысль: а собираетесь ли вы им платить, когда получите изумруд?

— Мока! — рявкнул майор, и подручные остановились на полпути к двери. — *Kamina loba dai*, — приказал майор, и парни отнесли Проскера обратно в кресло. — *Togolima*, — велел майор, и его люди вышли из комнаты.

— А вы поделились с ними этой мыслью? — спросил майор.

— Безусловно, нет.

— Почему?

— Майор, вы негр, а я белый. Вы солдат, а я адвокат. Вы африканец, а я американец. Но я чувствую, что между нами есть что-то общее, чего нет между мной и ушедшими джентльменами.

Майор медленно сел за свой письменный стол.

— Вам-то какой интерес, Проскер?

Проскер продолжал улыбаться.

— Я надеялся, что вы мне это и объясните.

2

В среду, в девять часов вечера, два дня спустя после встречи у майора Айко, Дортмундер вошел в «Гриль-бар» и кивнул головой Ролло.

— Рад тебя видеть, — приветствовал тот.

— Остальные на месте?

— Все, кроме пива с солью. Твой стакан бурбона там.

— Спасибо.

Дортмундер прошел в помещение, где вокруг стола разместились Келп, Гринвуд и Чефунк.

Дортмундер обменялся приветствиями с присутствующими и налил себе бурбона.

— Ну, что вы думаете?

— Трудно, — ответил Келп.

— Паршиво, — поддержал его Гринвуд.

— Согласен, — кивнул Чефунк. — А ты как полагаешь, Дортмундер?

Открылась дверь, и вошел Марч. Он занял свободный стул и, потупившись, произнес:

— Проклятые пробки! Не то я был бы здесь раньше всех.

— Совершенно верно, — продолжил разговор Дортмундер. — У меня такое же мнение.

— Другими словами, все кончено? Мы отказываемся? — спросил Келп.

— Я этого не говорил, — сказал Дортмундер, — я не говорил, что работа невыполнима. Ясно лишь, что мы не сумеем ее выполнить. Атака «в лоб» тут ничего не даст. Нам удалось выудить у Айко грузовики, вертолет, локомотив, и, я уверен, мы могли попросить у него бог весть что. Но он не в силах дать нам ничего такого, что поможет делу. Он даст нам танк, но и это не выход.

— Потому что с ним не удрать,— заметил Марч.

— Точно.

— Тем не менее, было бы интересно повести танк,— задумчиво проговорил Марч.

— Подожди минуту,— вмешался Келп.— Дортмундер, когда ты говоришь, что никто из нас не может выполнить эту работу, это означает, что работа невыполнима.

— Нет, необязательно,— возразил Дортмундер.— Нас здесь пятеро, и ни один из пятерых не в состоянии достать этот изумруд из банка. Но это не означает, что никто на свете не в состоянии достать его.

— Ты хочешь ввести в игру нового? — спросил Гринвуд.

— Я хочу обратиться к специалисту,— ответил Дортмундер.— На этот раз мы нуждаемся в специалисте другого рода.

— Какого рода специалист? — спросил Гринвуд.

Келп добавил:

— Кто?

— Великий Миазмо,— заявил Дортмундер.

Наступило молчание, потом все начали улыбаться.

— Здорово,— сказал Гринвуд.

— Ты хочешь обработать Проскера? — спросил Келп.

— У меня нет доверия к Проскеру,— ответил Дортмундер.

Улыбки погасли и уступили место выражению неприязни.

— Кого же тогда, если не Проскера? — спросил Чефуик.

— Одного из служащих банка,— ответил Дортмундер.

Улыбки вновь расцвели на губах.

3

Чернокожий секретарь, поблескивая стеклами очков, ввел Келпа в комнату.

В глубоком кожаном кресле развалился Проскер. Адвокат был одет в строгий элегантный костюм и с явным удовольствием потягивал какой-то напиток из высокого запотевшего бокала.

— А, Келп! — радушно приветствовал майор.— Вчера вечером мне позвонил Дортмундер; он, кажется, нашел выход из положения. Вот это быстрая работа! Принесли мне список?

— На этот раз никакого списка. Нам нужны деньги. Пять тысяч долларов.

Майор пристально посмотрел на него.

— Пять ты... — Он помолчал, прежде чем продолжить.— Для чего такая сумма?!

— Нам нужно нанять специалиста,— пояснил Келп.— Мы не можем действовать так, как в предыдущих случаях, нужен специалист. Он получает пять тысяч. Дортмундер сказал, что вы можете вычесть их из наших денег, когда мы вернем вам изумруд, потому что это экстра-случай, на который мы не рассчитывали.

Майор бросил взгляд на Проскера.

— У меня под рукой нет такой суммы. Когда она вам нужна?

— Чем скорее мы получим деньги, тем скорее специалист примется за работу.

— А кто этот специалист?

— Он называет себя Великим Миазмо.

— Господи, а что же он делает? — поразился майор.

Келп объяснил ему.

Майор и Проскер обменялись быстрыми удивленными взглядами, и майор спросил:

— Он будет работать с Проскером?

— Нет.— Келп не заметил, до какой степени этот ответ успокоил их.— У нас нет доверия к Проскеру, он может притвориться.

— Отлично,— приветливо заявил Проскер.— Не доверять полностью — мой девиз!

— Он будет работать с одним из сторожей банка,— сказал Келп.

— Значит, у вас есть план? — спросил майор.

— Настоящая конфетка!

— Деньги будут завтра в два часа дня. Кто за ними придет?

— Вероятно, я,— ответил Келп.

— Отлично. И вам больше ничего не нужно?

— Нет, только пять тысяч долларов.

— В таком случае, до завтра! — попрощался майор.

— Мои добрые пожелания Гринвуду и всем остальным,— весело бросил Проскер вслед вышедшему Келпу.

Майор сердито повернулся к Проскеру:

— Знаете, не смешно.

— Они ни о чем не догадываются,— ответил Проскер.

— Начнут, если вы будете продолжать хитрить.

— Нет, я знаю, где нужно остановиться.

— Вы так думаете? — Майор нервно закурил сигарету.— Мне не нравится играть с этими людьми. Это может быть опасным.

— Вот потому-то вы и предпочитаете иметь меня под рукой. Я знаю, как с ними обращаться.

Майор с циничным видом посмотрел на него.

— Вот как?.. Сам не понимаю, почему я не даю вам наслаждаться подвалом.

— Я полезен, майор.

— Увидим,— сказал Айко.— Увидим.

4

Чуть позже двух часов Дортмундер вошел в банк и направился к одному из охранников в форме, худому седовласому мужчине со вставными зубами.

— Я хотел бы получить справку о найме сейфа,— сказал он.

— Обратитесь к служащему.— Сторож провел его внутрь помещения.

Молодой человек, одетый в бежевый костюм, заявил Дортмундери, что найм сейфа в банке стоит восемь долларов сорок пять центов в месяц. Так как Дортмундер не казался сраженным этой ценой, молодой человек вручил ему формуляр, который нужно было заполнить, и задал вопросы относительно адреса, рода занятий и прочего.

Когда все формальности остались позади, молодой человек проводил Дортмундера в полуподвальный этаж взглянуть на сейф. У подножия лестницы стоял охранник в форме. Молодой человек пояснил Дортмундеру ритуал, который ему придется совершать каждый раз, когда он будет приходить к своему сейфу. Открыв первую решетку, они прошли в маленькое помещение, где Дортмундера представили второму охраннику. Молодой человек пожал новому клиенту руку, заверил, что он будет желанным посетителем банка, и удалился к себе.

Охранник, которого звали Альберт, объяснил:

— Здесь всегда или Джордж, или я. Мы будем заниматься вами каждый раз, когда вам понадобится сейф.

— Джордж?

— Он сегодня контролирует подписи.

Дортмундер кивнул.

Потом Альберт открыл внутреннюю решетку, и они оказались в помещении, где один над другим рядами располагались ящики. К ящикам были прикреплены разноцветные кнопки. Каждый цвет, без сомнения, о чем-то говорил.

Сейф Дортмундера был внизу слева. Альберт прежде всего воспользовался своим собственным ключом, потом попросил ключ, который дал Дортмундеру молодой человек. Охранник воспользовался им и тотчас же вернул.

Дортмундер достал из внутреннего кармана пиджака объемистый запечатанный белый конверт, в котором лежали семь бумажных носовых платков, бережно вложил его в ящик и отступил на шаг, пока Альберт запирает сейф.

Альберт пропустил его через первую решетку, а Джордж — через вторую. Дортмундер поднялся по лестнице и вышел на улицу. Посмотрев на часы, он поймал такси — ему предстояло пересечь город и вернуться с Великим Миазмо, прежде чем служащие банка, закончив рабочий день, отправятся по домам.

5

— Так одиноко в Нью-Йорке. Линда, — пожаловался Гринвуд.

— О! — произнесла она. — Я знаю, Алан.

Гринвуд поправил подушку под головой и крепче обнял лежащую рядом девушку.

— Когда встречаешь родственную душу в таком городе, как этот, — продолжал он, — то не хочется разлучаться с ней!

— О, я понимаю, что ты хочешь этим сказать!

— Вот почему я так огорчен, что вынужден уйти сегодня вечером.

— О, я тоже огорчена.

— Но откуда я мог знать, что такое сокровище, как ты, появится сегодня в моей жизни? А теперь слишком поздно что-либо менять. Мне нужно идти, вопрос решен.

Она подняла голову, чтобы посмотреть на него. Электрический камин в углу служил единственным источником света, и она пыталась рассмотреть его лицо в красноватых бликах.

— А здесь не замешана другая девушка?

Он приподнял рукой ее подбородок и нежно поцеловал в губы.
— Нет никакой другой девушки. Нигде на свете.
— Мне так хочется верить тебе, Алан.
— Жаль, что я не имею права сказать, куда иду, но честно — я не могу. Я только прошу тебя оказать мне доверие. Через час я вернусь.

Она улыбнулась.

— Ты не многое успеешь с девушкой за час, не так ли?

Раздался звонок в дверь.

— Сейчас, сейчас,— пробормотал Гринвуд, торопливо натягивая брюки.

— Возвращайся скорей, Алан,— сказала девушка, вытягиваясь под покрывалом.

Он бросил взгляд на мятые простыни и ответил:

— О, я буду спешить, Линда. Не беспокойся, я буду спешить.

Чефуик ждал его у выхода.

— Ты не торопился,— пошутил он.

— Тебе и не снилось такое! — с чувством сказал Гринвуд.— Куда?

— Сюда.

Марч был за рулем своего «мустанга» и повез их на Варикстрит. Гринвуд с Чефуиком вышли из машины, пересекли улицу, вошли в здание и поднялись на четвертый этаж. Гринвуд освещал путь маленьким электрическим фонариком. Вскоре они дошли до двери, на которой было написано «ДОДСОН И ФОГГ, АДВОКАТЫ». Внизу, на стекле, еще пять имен, и среди них имя Проскера.

Чефуик быстро открыл дверь, и они прошли в кабинет Проскера. Мебель была расставлена так, как описал адвокат. Гринвуд сел за рабочий стол, открыл большой ящик внизу справа и обнаружил в глубине приклеенный липкой лентой желтый конверт. Гринвуд улыбнулся, взял конверт и задвинул ящик. Потом потряс конверт над столом, и из него выпал маленький ключ, похожий на тот, что Дортмундер получил днем в банке.

— Ну, вот и все,— сказал Гринвуд.— Невероятно.

— Может быть, удача все же повернулась к нам,— произнес Чефуик.

— Сегодня пятница, тринадцатое. Фантастика!

— Уже нет. Полночь прошла.

— Ну, пошли. Отдашь его Дортмундеру.

Чефуик сунул ключ в карман, и они вышли из конторы.

6

Альберт Кромвель жил в квартире на двадцать седьмом этаже в Верхнем Вест-Сайде и добирался домой на метро. В тот день, когда он вошел в лифт, рослый импозантный мужчина с черным пронзительным взглядом, высоким лбом и густыми черными волосами, в которых начинала серебриться седина, вошел в лифт вместе с ним.

— Вы уже видели эти цифры? — спросил мужчина глубоким зычным голосом.

Удивленный Альберт повернулся к соседу. Незнакомые люди не разговаривают в лифте.

— Прошу прощения.

Кивком головы импозантный мужчина указал на ряд номеров над дверью.

— Я говорю об этих цифрах. Посмотрите на них! Обратите внимание на регулярность движения,— продолжал своим звучным голосом импозантный мужчина.— Как приятно видеть хорошо налаженный механизм, действующий безотказно, регулярно смотреть на номера, знать, что за каждым номером последует следующий. Смотрите на номера. Произносите их вслух, если хотите, это успокаивает после работы. Так хорошо, что есть возможность отдохнуть, возможность смотреть на эти номера, чувствовать, как тело расслабляется, расслабляется, чувствовать себя в безопасности, смотреть на номера, следить за ними, чувствовать, как каждый мускул расслабляется, каждый нерв расслабляется, чувствовать, что можно наконец прислониться к стене и расслабиться, расслабиться, расслабиться. Теперь больше ничего не существует, кроме цифр и моего голоса.

Импозантный мужчина замолчал и посмотрел на Альберта, прислонившегося к стене лифта и устремившего бессмысленный взгляд на цифры поверх двери. Погас двенадцатый. Альберт Кромвель смотрел на номера.

— Вы слышите меня? — спросил импозантный мужчина.

— Да.

— Скоро, в ближайшие дни, один человек обратится к вам в банке, в котором вы работаете. Вы меня понимаете?

— Да,— ответил Альберт.

— Человек скажет вам: «Ларек с афганскими бананами». Вы меня понимаете?

— Да.

— Что скажет вам человек?

— Ларек с афганскими бананами.

— Очень хорошо,— сказал импозантный мужчина. Зажегся номер семнадцатый.— Вы по-прежнему чувствуете себя совершенно расслабленным,— продолжал он.— Когда человек скажет вам «Ларек с афганскими бананами», вы сделаете то, что он велит. Вы меня поняли?

— Да,— ответил Альберт Кромвель.

— Что вы сделаете, когда человек скажет «Ларек с афганскими бананами»?

— Я сделаю то, что он мне велит,— ответил Альберт Кромвель.

— Очень хорошо. Это очень хорошо, у вас все будет очень хорошо. Когда человек покинет вас, вы забудете, что он приходил. Понимаете?

— Да.

— Что вы сделаете, когда он вас покинет?

— Я забуду, что он приходил.

— Превосходно, молодец, все хорошо.— Импозантный мужчина протянул руку и нажал на кнопку двадцать пятого этажа.— Когда я вас покину, вы забудете наш разговор. Когда вы доедете

до вашего этажа, вы будете чувствовать себя расслабленным, вам будет очень, очень хорошо. Вы не будете вспоминать наш разговор до того времени, пока человек скажет вам «Ларек с афганскими бананами». Тогда вы сделаете то, что велит этот человек, а когда он уйдет, вы забудете наш разговор, забудете человека, который к вам приходил. Вы сделаете это?

— Да, — ответил Альберт Кромвель.

Над дверями лифта зажегся номер «25». Лифт остановился. Двери раздвинулись.

— Молодец, очень хорошо, — сказал импозантный мужчина, выходя из кабины. — Очень хорошо.

Двери закрылись, и лифт поднялся еще на один этаж. Альберт встряхнулся и вышел из кабины. Улыбаясь, он направился по коридору упругой походкой. Он чувствовал себя отдохнувшим и бодрым, короче говоря, он чувствовал себя превосходно.

7

Дортмундер вошел в банк. В маленьком помещении никого не было, и на секунду Дортмундер почувствовал, как леденеют пальцы и пробегает по спине дрожь. Он уже видел себя задержанным торжествующими полицейскими. Достойный конец истории с изумрудом «Балабома»!

Но Джордж объяснил:

— Альберт сейчас займется вами, сэр.

Через пару минут дверь отворилась, и вышла старая дама, прижимавшая к своему лисьему манто китайского мопса. Ее сопровождал Альберт.

Он закрыл дверь и обратился к Дортмундеру:

— Одну минуту, сэр.

— Не торопитесь, — ответил Дортмундер.

Альберт выпустил даму и повернулся к Дортмундеру.

— Пожалуйста, следуйте за мной.

Они прошли через внутреннюю дверь и направились прямо к сейфу Дортмундера. Альберт открыл его своим ключом, попросил ключ у Дортмундера и выдвинул ящичек.

— Я хотел только взять вот это, — сказал Дортмундер, вынул из сейфа конверт и сунул его во внутренний карман пиджака.

Альберт запер двумя ключами теперь уже пустой сейф и вернул ключ Дортмундеру.

— Сюда, сэр.

— Ларек с афганскими бананами, — произнес Дортмундер.

Альберт замер на месте. Потом повернулся к Дортмундеру. Весь вид его излучал готовность к услугам.

— Да, сэр.

Дортмундер достал из кармана ключ Проскера.

— Теперь мы откроем этот сейф, — сказал он.

— Да, сэр.

Альберт взял ключ и пошел к сейфу Проскера. Двумя ключами открыл его и замер.

В сейфе Проскера была масса бумаг: какие-то акты, толстые белые конверты, свидетельства о рождении... И среди всего прочего — маленькая черная коробочка, в которых обычно

держат запонки или серьги. Дортмундер взял коробочку и открыл ее.

Изумруд «Балабому», казалось, подмигнул Дортмундеру под ярким светом ламп.

Дортмундер закрыл коробочку и сунул ее в левый карман пиджака.

— Отлично,— сказал он,— запирайте.

Альберт проводил его к решетке, открыл ее и посторонился, чтобы дать пройти.

Дортмундер вышел, и стоявший по другую сторону решетки Джордж вежливо сказал:

— Всего хорошего, сэр.

— Спасибо,— ответил Дортмундер, поднялся по лестнице, вышел из банка и позвонил такси.

— Угол Амстердам-авеню и Восемьдесят четвертой улицы.

Такси поехало по Сорок пятой улице, повернуло направо и застряло в заторе.

Дортмундер, сидевший на заднем сиденье, медленно и неуверенно улыбнулся, словно не в силах себе поверить. Невероятно. Изумруд у него в руках. Наконец-то они похитили изумруд!.. Он заметил в зеркальце недоуменный взгляд шофера: чему может радоваться попавший в затор пассажир? Но Дортмундер не мог удержаться. Он улыбался.

ФАЗА ШЕСТАЯ

1

185

Изумруд лежал посреди старого деревянного стола — восхитительный камень, волшебное зеленое яйцо, сверкающее в свете свисавшей с потолка лампы. Свет тысячекратно отражался в гранях и искрился; изумруд будто молча подсмеивался и хихикал, гордый своим великолением.

В задней комнате «Гриль-бара» царил благоговейная тишина. Пятеро мужчин, сидевших вокруг стола, не сводили с камня восхищенных глаз. Окружающий мир затерялся где-то вдали, приглушенные уличные шумы доносились словно с другой планеты. Они смотрели на подмигивающий и улыбающийся камень.

— Никогда не думал, что это случится,— промолвил Марч.

— Но он действительно тут,— возразил Гринвуд,— и смотрится великолепно.

— Как жаль, что Мод его не видит,— вздохнул Чефуик.— Нужно было прихватить с собой фотоаппарат..

— Сердце болит при мысли, что его надо отдать,— сказал Келп.

— Понимаю тебя,— кивнул Дортмундер,— мы так намучились из-за этого изумруда. Но нужно сразу же избавиться от него. Этот камень действует мне на нервы. Все кажется, вот-вот откроется дверь и ворвется миллион полицейских.

— Они слишком заняты девочками,— с легкой тоской сказал Гринвуд.

— Тем не менее настал момент отдать камень майору и получить наши денежки.

— Ты хочешь, чтобы пошли все? — спросил Марч. — Я на машине.

— Нет, — ответил Дортмундер. — Впятером мы рискуем привлечь внимание. К тому же, если случится что-то непредвиденное, нужно, чтобы большинство из нас имело свободные руки и было готово вмешаться. Келп, это ты нашел работу и привлек к ней всех нас, ты первый познакомился с майором. Именно ты всегда носил ему списки... Хочешь отнести ему камень?

— Конечно, — с восторгом согласился Келп. — Если вы считаете, что мне нужна охрана...

— Марч проводит тебя, а мы втроем останемся здесь. И если судьба еще раз ударит нас, то она ударит любого, у кого будет камень. Если тебя постигнет неудача, мы пойдем.

Келп не понимал, должен ли он чувствовать себя уверенней от этой мысли. Пока он размышлял, нахмурил брови, Дортмундер убрал изумруд в маленькую черную коробку.

— Мы будем ждать до тех пор, пока не получим от вас известий, — сказал он. — После вашего ухода я позвоню майору и скажу, чтобы он открывал свой сейф.

— Отлично. — Келп сунул коробочку в карман и допил бурбон. — Пошли, Марч.

— Я готов.

— До скорого, — попрощался Келп и вышел вместе с Марчем. Дортмундер взял у Чефуика монетку и пошел в телефонную будку, чтобы вызвать посольство.

— Мы принесем его сегодня, — сообщил Дортмундер.

— В самом деле? — воскликнул обрадованный майор. — Отличная новость. Я почти потерял надежду.

— Мы тоже, майор. Полагаю, что товар стоит оплаты.

— Разумеется. Деньги ждут вас в сейфе. Спасибо, что позволили. Я буду ждать нашего друга.

— Отлично, — сказал Дортмундер и, повесив трубку, вышел из кабины.

2

Как обычно, дверь открыл чернокожий секретарь и произнес:

— Сегодня кабинет.

— Вот как? Ну что ж, сегодня, полагаю, день особый, — согласился Келп.

Чернокожий секретарь распахнул дверь в кабинет, но майора за письменным столом не было. Вместо него там сидел Проскер, расположившийся как у себя дома.

Келп остановился на пороге, но рука, упершаяся ему в лопатки, подтолкнула его вперед.

— Эй! — произнес он, оборачиваясь. Чернокожий секретарь, вошедший следом, закрыл дверь, достал из кармана автоматический пистолет и нацелил его в лоб Келпа.

Келп отступил в комнату, поспешно увеличив расстояние между собой и оружием.

— Что тут происходит? — спросил он и увидел еще двух

чернокожих с пистолетами в руках, которые стояли в глубине комнаты.

Проскер начал хихикать.

Келп повернулся к нему и злобно потребовал:

— Что вы сделали с майором?

Проскер был поражен таким вопросом.

— С майором? Бог мой! Вы действительно невинны как младенец. Что я сделал с майором!..

— Да! Что вы вообще тут делаете?

— Я говорю от имени майора, на которого теперь работаю. Майор решил, что мой юридический опыт поможет мне в нескольких фразах выразить то, что вы сможете передать вашим друзьям. К тому же, это мой план.

— План? — У Келпа было ощущение, что три пистолета уже проделали в нем три дырки. — Какой план?

— Садитесь, Келп. Поговорим.

— Я буду говорить только с майором, — заявил Келп.

— Должен я приказать людям, которые стоят сзади вас, чтобы они заставили вас сесть? Разве вы не хотите уладить наши дела без насилия?

— Ладно, я вас слушаю.

— Итак, слушайте внимательно. Для начала вы отдадите мне изумруд «Балабомо» и не получите никаких денег. Майор уже выдал вам общим счетом четырнадцать тысяч, потом еще пять тысяч для гипнотизера, около пяти тысяч на разные расходы. Другими словами, Айко заплатил более двадцати четырех тысяч долларов. Это вполне достаточная сумма.

— За камень стоимостью в полмиллиона долларов, — с горечью проговорил Келп.

— Да, но по справедливости он принадлежит стране майора, — заметил Проскер. — Двадцать четыре тысячи — большая сумма для такой маленькой страны, как Талабво, особенно когда их тратят на приобретение своей же собственности.

— Вы хотите, чтобы я поплакал над тяжким уделом Талабво? Меня и моих товарищей ограбили, лишили двухсот тысяч долларов, а вы хотите, чтобы я растрогался из-за какой-то страны в Африке!

— Я только хочу, чтобы вы поняли, почему майор считает своим правом больше ничего не платить за возвращение национального имущества, и перехожу ко второму пункту. Майор не хочет, чтобы у вас и ваших друзей были неприятности из-за этого дела.

— Вот как? — Келп криво улыбнулся. — Скорее, неприятности будут у майора.

— Не обязательно, — возразил Проскер. — Вы помните слабость майора к досье?

Келп нахмурил брови.

— Бумажки в папках? Ну, и что из этого?

— Все зависит от человека, который откроет эти папки и прочитает бумажки. Прокурор Манхэттена, например, безусловно найдет чтение этих бумаг занимательным...

Келп, прищурившись, подозрительно посмотрел на Проскера.

— Майор собирается нас заложить?

— Только в том случае, если вы попытаетесь причинить ему неприятности. В сущности, вы легко отделались, учитывая неумелость, с которой выполняли свою миссию.

— Неумелость?!

— Вам понадобилось пять попыток, чтобы получить камень,— напомнил Проскер.— Заметьте, это не критика. Все хорошо, что хорошо кончается, как сказал великий поэт. Вы и ваши товарищи в конце концов доставили товар. Но вы не явили тот образчик эффективности и профессионализма, на который, нанимая вас, рассчитывал майор.

— Он с самого начала собирался нас надуть!— в ярости закричал Келп.

— У меня нет своего мнения на этот счет. Прошу вас положить изумруд на стол.

— Не думаете ли вы, что я настолько ненормален и принес его сюда?

— Я именно так и думаю,— спокойно сказал Проскер.— Вопрос в том, настолько ли вы ненормальны, чтобы заставить господ, стоящих позади вас, отобрать его. Ну?

Келп размышлял. Он задыхался от ярости и бессилия, но все же пришел к решению не быть таким ненормальным. К чему бессмысленное сопротивление? Этот раунд за противником, но борьба еще не закончена. Келп достал из кармана маленькую коробочку и положил ее на стол.

— Отлично,— улыбаясь, произнес Проскер.

Он протянул обе руки, открыл коробочку и снова улыбнулся. Потом закрыл ее и посмотрел мимо Келпа на трех молчаливых мужчин.

— Один из вас должен отнести это майору.

Чернокожий секретарь, поблескивая стеклами очков, взял коробочку и вышел из комнаты. Келп проводил его взглядом.

— Теперь,— продолжал Проскер,— я немедленно отправлюсь в полицию. Я уже придумал подходящую историю: меня похитила группа людей, считавших, что мне известно, где спрятано сокровище одного моего клиента. Им понадобилось несколько дней, чтобы убедиться в своей ошибке, и они меня выпустили. Я никого не смогу узнать среди серии фотографий всяких мошенников, которые мне покажут в полиции. Как видите, ни майор, ни я не имеем намерений доставлять вам неприятности. Надеюсь, вы будете об этом помнить и не вынудите нас прибегнуть к более строгим мерам.

— Продолжайте,— сказал Келп.— Что еще?

— Больше ничего,— ответил адвокат.— Вы не получите ни одного доллара. Майор и я решили покрыть ваши преступления ради этого изумруда. Если вы удовлетворены тем, что вернетесь к своим делам, это будет конец истории, но если хоть один из вас доставит неприятности майору или мне, мы в состоянии сделать вашу жизнь весьма затруднительной.

— Майор может вернуться в Талабво,— заметил Келп.— Но вы-то останетесь здесь.

— Нет,— приветливо улыбаясь, ответил Проскер.— В Талаб-

во нуждаются в юридических советниках для разработки новой конституции. Должность весьма значительная и хорошо оплачиваемая. Для подготовки новой конституции потребуется около пяти лет. Я заранее радуюсь перемене обстановки.

— Я пожелал бы вам одну перемену обстановки,— сказал Келп.

— Не сомневаюсь,— кивнул Проскер.— Мне очень не хочется вас выпроваживать, но я немного стеснен во времени. У вас есть ко мне вопросы?

— Ни одного, на который вы хотели бы ответить.— Келп встал.— До встречи, Проскер.

— Вряд ли она состоится. Эти двое господ проводят вас.

Машина Марча стояла за углом. Келп побежал к ней и скользнул на переднее сиденье.

— Все нормально? — спросил Марч.

— Все паршиво,— коротко ответил Келп.— Подай вперед, чтобы можно было видеть улицу.

Марч среагировал немедленно: включил зажигание, отъехал и спросил:

— В чем дело?

— Нас надули. Мне нужно позвонить по телефону. Если кто-нибудь выйдет из посольства, раздави его.

— С удовольствием,— сказал Марч, и Келп выскочил из машины.

3

Ролло вошел в комнату.

— У телефона второй бурбон. Он хочет с тобой поговорить.

— Я так и знал,— сказал Гринвуд.— Что-нибудь должно было случиться.

— Может, и нет,— пожал плечами Дортмундер, но, судя по его тону, он и сам в это не верил.

Дортмундер встал и прошел в телефонную будку.

— Да?

— Обмануты,— раздался голос Келпа.— Приезжай быстрее.

— Ладно,— ответил Дортмундер и повесил трубку.

Такси нашли сразу же, но дорога показалась им вечностью. Наконец вечность закончилась, и Дортмундер с друзьями вылезли на углу улицы, в полуквартале от посольства Талабво. Марч побежал к ним навстречу, Дортмундер спросил:

— Что случилось?

— Нас обманули. Проскер и майор заодно.

— Нужно было зарыть его в лесу! — прорычал Гринвуд.— Я это знал, я слишком добр, вот и все.

— Замолчи,— приказал Дортмундер и спросил: — Где Келп?

— Пошел за ними,— ответил Марч.— Майор, Проскер и трое негров вышли из посольства минут пять назад и сели в такси. С багажом. Келп последовал за ними в другом такси.

— Проклятье! — воскликнул Дортмундер.— Мы потратили слишком много времени, объезжая парк.

— Нам надо ждать Келпа здесь? — спросил Гринвуд.

Марч указал на телефонную будку на углу улицы.

— Он записал номер телефона этой будки и позвонит, как только сможет.

— Разумное решение,— одобрил Дортмундер.— Тогда ты, Марч, останешься возле кабины, а Чефуик и я войдем в посольство. Гринвуд, оружие у тебя?

— Конечно.

— Дай мне его.

Гринвуд передал Дортмундеру свой револьвер.

— Будешь стоять на стреме.

Марч вернулся к телефонной будке, а Дортмундер, Чефуик и Гринвуд быстро направились к посольству. Гринвуд остановился у входа и, облокотившись на решетку из кованого железа, с небрежным видом закурил сигарету, в то время как Дортмундер и Чефуик поднялись по ступеням. На ходу Чефуик достал из кармана несколько маленьких отмычек.

Две первые комнаты были пустыми, но в третьей за пишущими машинками сидели две негритянки-секретарши. Их быстро заперли в шкаф и продолжили путь.

В кабинете Айко они нашли на письменном столе записную книжку с пометкой на первой странице: «Кеннеди — № 301 — 7 ч. 15 м.»

— Они, вероятно, поехали в аэропорт,— сказал Чефуик.

— Но какой авиакомпании этот рейс?

— Тут не указано.

— Справочник! — сказал Дортмундер.

Они начали открывать все ящики в поисках телефонной книги, которая оказалась в нижнем левом отделении.

— Ты будешь звонить во все авиационные компании? — спросил Чефуик.

— Надеюсь, не придется. Попробуем «Пан-Ам».— Дортмундер поискал номер, набрал его, и на четвертый звонок ему ответил невыразительный женский голос.

— Я хочу задать вам вопрос, который может показаться глупым,— начал Дортмундер,— но я пытаюсь пресечь бегство одной парочки.

— Бегство, сэр?

— Я не хочу становиться на пути зарождающейся любви,— извинился Дортмундер,— однако стало известно, что мужчина уже женат. Мы знаем, что они улетают сегодня вечером из аэропорта Кеннеди в семь часов пятнадцать минут. Рейс № 301.

— «Пан-Америка», сэр?

— А вот этого мы не знаем. Нам неизвестны авиакомпания и направление.

Дверь кабинета открылась, и, поблескивая стеклами очков, вошел чернокожий секретарь.

— Одну секунду.— Дортмундер прижал трубку к груди и продемонстрировал нежданному посетителю револьвер Гринвуда.— Встаньте вон там,— велел он, указывая на голую стену в стороне от двери.

Чернокожий секретарь поднял руки и безропотно направился к стене.

Не спуская глаз с чернокожего секретаря, Дортмундер сказал:
— Прощу прощения. Мать молодой девушки в отчаянии.

У нее истерика.

— Так вам известен лишь номер рейса и час отлета, сэр?

— Самолет вылетает из аэропорта Кеннеди.

— Вам придется подождать.

— Сколько прикажете.

— Я постараюсь сделать все возможное, сэр. Не вешайте трубку.

— Хорошо.

Раздался легкий щелчок, и Дортмундер обратился к Чефуику:

— Обыщи и свяжи его.

Чефуик повернулся к чернокожему секретарю:

— Дай мне свой галстук и шнурки от ботинок.

— У вас ничего не выйдет,— проговорил тот.

— Если он предпочитает отправиться на тот свет, прижми дуло к животу, чтобы заглушить шум.

— Я буду слушаться,— поспешно сказал негр и начал развязывать галстук.— Но это ни к чему не приведет.

Дортмундер держал телефонную трубку у уха и целился в негра, который отдал свой галстук и шнурки Чефуику.

— Теперь сними ботинки и носки и ложись плашмя на пол,— приказал Чефуик, связал шнурками руки и ноги секретаря, а галстук засунул ему в рот.

В трубке раздался щелчок, и девичий голос произнес:

— Уф! Вот, сэр, я нашла!

— Очень вам благодарен.

— Рейс «Эйр Франс» на Париж. Единственный рейс с таким номером в этот час.

— Я очень вам благодарен,— повторил Дортмундер.

— Это так романтично, не правда ли, сэр? — сказала девушка.— Бегство в Париж!..

— Полагаю,— ответил Дортмундер.

— Жаль, что он женат.

— Такое случается. Еще раз спасибо.

— К вашим услугам, сэр.

Дортмундер повесил трубку.

— «Эйр Франс», Париж.— Он вышел из-за стола.— Чефуик, помоги мне оттащить этого типа. Совсем ни к чему, чтобы кто-нибудь обнаружил его и развязал.

Они засадили чернокожего секретаря за письменный стол и вышли из посольства, никого не встретив. Гринвуд, небрежно прислонившись к ограде, ждал. У телефонной будки Дортмундер обратился к Чефуику:

— Ты останешься здесь. Когда Келли позвонит, скажи ему, что мы едем в аэропорт и что он может оставить нам записку в «Эйр Франс». Если они поехали в другое место, а не в аэропорт, ты подождешь здесь и, если записки для нас не будет, тебе позвонят.

Чефуик кивнул.

— Встретимся в «Гриль-баре», когда все закончится. На случай, если мы разминемся,— объяснил Дортмундер.

- Мы, наверное, освободимся поздно,— вслух подумал Чефурик.— Надо позвонить Мод.
- Не занимай долго телефон.
- Не беспокойся. Желаю удачи.
- Поехали, Марч, посмотрим, в какой рекордный срок ты сможешь нас доставить в аэропорт Кеннеди,— сказал Дортмундер.

4

У девушки в окошке «Эйр Франс» был настоящий французский акцент.

— Месье Дортмундье? Вам оставили сообщение.

Она передала ему маленький конверт.

— Спасибо,— Дортмундер отошел в сторону.

В конверте оказался клочок бумаги со словами «Золотая дверь».

— Этого еще не хватало,— недоуменно произнес Дортмундер.

— Подожди минутку,— бросил Гринвуд и направился к ближайшей стюардессе — красивой, коротко подстриженной блондинке в темно-голубой униформе.

— Прошу прощения, вы не выйдете за меня замуж?

— Я бы с удовольствием, но мой самолет отлетает через двадцать минут.

— Значит, после возвращения. А пока не могли бы вы сказать, что означает «Золотая дверь» и где это находится?

— О, это ресторан в зале международных рейсов.

— Превосходно. Когда мы там пообедаем?

— В следующий раз, когда мы встретимся.

— Чудесно. Когда именно?

— А вы не знаете?

— Пока нет. Вы когда возвращаетесь?

— В понедельник,— сказала она, улыбаясь.— Мы прилетаем в три тридцать.

— Идеальное время для обеда! Итак, в четыре?

— Лучше в полпятого.

— Договорились. Понедельник, полпятого, «Золотая дверь». Я сейчас закажу столик. На фамилию Гроффилд. До встречи,— Гринвуд вернулся к Дортмундеру.— Это ресторан,— объяснил он,— в зале международных рейсов.

— Пошли!

Ресторан находился на первом этаже, напротив длинного эскалатора. У подножия лестницы стоял Келп.

— Наверху. Жрут, сволочи.

— Они сядут на самолет «Эйр Франс» в 7.15,— сказал Дортмундер.

Келп заморгал.

— Откуда ты знаешь?

— Телепатия,— ответил Гринвуд.

— Пошли.

— Я не так одет,— заметил Марч,— чтобы идти в подобное место.

На нем была кожаная куртка и джинсы; остальные были в костюмах и при галстуках.

— А есть еще другая лестница, по которой можно спуститься? — спросил Дортмундер.

— Вероятно, но для публики открыта только эта.

— Хорошо. Марч, оставайся здесь на случай, если нам не удастся их перехватить. Если они пройдут, следуй за ними, но не пытайся действовать самостоятельно. Келл, Чофунг: по-прежнему у телефонной будки?

— Нет, он сказал, что отправится в «Гриль-бар».

— Хорошо. Марч, если кто-нибудь спустится и ты последуешь за ними, как можно скорее сообщи в «Гриль-бар».

Они поднялись по лестнице и по темному ковру прошли в большой холл.

— Вот они, — прошепел Келл.

Дортмундер бросил взгляд сквозь занавес. За столом было окно расположились майор Айко, Проскер и три молодых здоровых негра. Они обедали. До отлета оставалось еще два часа.

— У меня нет желания схватиться с ними здесь, — сказал Келл. — Слишком много народу.

— Полностью согласен, — ответил Дортмундер. — Будем ждать их внизу.

Было почти шесть часов, когда майор, Проскер и трое негров, закончив наконец обед, спустились вниз. Дортмундер немедленно встал, направился к ним и широко улыбнулся.

— Майор! Какой сюрприз! До чего же я рад вас снова видеть! Теперь он присоединился к группе, схватил выдую руку майора и стал ее трясти, добавляя при этом:

— Остальные тут, около меня. Если вы не хотите вызвать перестрелку, стойте спокойно.

Проскер оглинулся и воскликнул:

— Господи, они действительно все здесь!

— Дортмундер, — сказал майор, — я уверен, что мы сможем обо всем договориться!

— Еще как сможем! — согласился Дортмундер. — Только мы вдвоем. Никаких адвокатов, никаких телохранителей.

— Гм... Вы не собираетесь применить насилие?

— Я — нет, майор, а как другие — не знаю. Гринвуд сперва пришлет Проскера, это совершенно естественно, ну, а Келл, полагая, прежде всего нападет на вас.

— Вы не посмеете осуществить подобную операцию в таком людном месте.

— Это идеальное место, — возразил Дортмундер. — Перестрелка, паника. Мы смешиваемся с остальными. Ничего нет легче, чем затеряться в толпе.

— Проскер, не пытайтесь заставить их выполнять угрозы. В том, что он говорит, есть доля правды.

— О, черт возьми, — проговорил Проскер. — Хорошо, хорошо, Дортмундер! Так чего же вы хотите? Еще денег?

— Мы не можем заплатить сто семьдесят тысяч долларов, — перебил его майор. — Это просто невозможно.

— Двести тысяч, — поправил Дортмундер. — Цена повыси-

лась после третьей попытки. Но я хочу поговорить наедине. Пойдем.

— Пойдем? Куда?

— Просто поговорим, вот и все. Ваши люди могут остаться здесь, мои люди останутся там, где они есть, а мы с вами пройдем немного дальше, чтобы поговорить. Пойдем!

Майор упорно сопротивлялся, явно не желая никуда идти, но перед натиском Дортмундера он вынужден был уступить.

Дортмундер и майор неторопливо удалились.

— Дортмундер,— начал майор,— Талабво — бедная страна. Я смогу наскрести немного денег, но никак не двести тысяч долларов. Может, тысяч пятьдесят... Но больше у нас просто нет.

— Вы собирались нас надуть с самого начала! — обвинил Дортмундер.

— Не стану лгать,— кротко ответил майор.

В зале ожидания Проскер обратился к трем чернокожим мужчинам:

— Если разбежаться в разные стороны, они не посмеют стрелять.

— Мы не хотим умирать,— возразил один из негров, и остальные согласно закивали.

— Они не станут стрелять! — настаивал Проскер. — Разве вы не понимаете, что затевает Дортмундер? Он отберет у майора изумруд.

Негры обменялись взглядами.

— Если вы не придете на помощь майору и Дортмундеру, удастся отобрать у него изумруд,— продолжал Проскер,— вам несдобровать!

Негры забеспокоились.

— Я буду считать до трех,— продолжал Проскер,— и на счет «три» мы разбежимся.

Эта мысль не очень-то им понравилась, но то, что предсказывал Проскер в случае отказа, было еще хуже.

— Раз,— начал Проскер. Он видел Гринвуда, сидящего позади эскалатора. — Два,— в другой стороне он увидел Келпа. — Три! — закончил он и побежал.

Чернокожие еще секунду оставались неподвижны, потом побежали.

Люди, бегущие по аэропорту, не вызывают обычно пристальных взглядов, но эти четверо сорвались с места так стремительно, что привлекли всеобщее внимание. Келп, Гринвуд и Марч посмотрели на них и тоже побежали, но бросились они друг к другу, чтобы выработать план действий.

В это время майор и Дортмундер продолжали двигаться по коридору. Дортмундер пытался найти спокойный уголок, чтобы освободить майора от изумруда, а майор рассказывал о неустрашенности и бедности Талабво и о своем искреннем желании загладить вину.

Вдали раздался голос:

— Дортмундер!

Узнав голос Келпа, Дортмундер повернулся и увидел двух

негров, которые неслись в их направлении, расталкивая направо и налево людей, попадавших на их пути.

Он крепко взял майора за локоть, быстро осмотрелся кругом и увидел перед собой дверь, на которой было написано «Вход воспрещен». Дортмундер толкнул дверь и оказался на верхней площадке лестницы, серой и грязной.

— Дортмундер,— взмолился майор,— даю вам слово...

— Мне не нужно ваше слово, мне нужен изумруд.

— Вы думаете, что он при мне?

— Безусловно, где же еще? — Дортмундер достал револьвер Гринвуда и прижал его к желудку майора.— Если мне придется обшаривать ваш труп, это займет больше времени.

— Дортмундер...

— Заткнитесь и отдайте камень! У меня нет времени слушать ваше вранье!

Майор пристально посмотрел на Дортмундера и пролепетал:

— Я заплачу вам все деньги, я...

— Ты сдохнешь, черт поberi! Давай изумруд!

— Хорошо, хорошо.— Майор задрожал.— Сохраните его! — заканючил он, доставая из кармана маленькую черную коробочку.— Вы не найдете другого покупателя. Сохраните его. Я свяжусь с вами. Я найду деньги и заплачу...

Дортмундер вырвал у него из рук коробочку, отступил на шаг и открыл ее. Изумруд был там. Дортмундер круто повернулся, с изумрудом в одной руке и револьвером в другой, и стал быстро спускаться по лестнице.

Он услышал шум погони. Потом повернул за угол здания и оказался в мире самолетов, среди лучей ослепительного света, янтарных и голубых взлетных полос, заправочных зон...

Его преследовали негры.

Слыша за спиной громкий топот, Дортмундер продолжал бежать, все дальше и дальше удаляясь от зданий, света, пассажиров, пока не затерялся в крошечной тьме.

Маленький пятиместный одномоторный самолет выкатил на взлетную полосу. За штурвалом сидел продавец компьютеров по имени Фиргус; его приятель Баллок спал крепким сном на заднем сиденье. Фиргус безмятежно глядел на приборный щиток, ожидая разрешения на взлет, когда дверца внезапно распахнулась и в кабину ворвался человек с револьвером.

Фиргус ошалело посмотрел на него.

— В Гавану? — спросил он.

— Пока просто взлетай, там будет видно,— ответил Дортмундер, следивший в окно за тремя людьми, мчавшимися в их направлении.

— Семьсот тридцать третий,— раздался в наушниках голос диспетчера.— Валет разрешаю.

— Э-э-э... — начал Фиргус.

Дортмундер повернул к нему голову.

— Без глупостей. Взлетай.

— Хорошо.

Самолетик быстро набрал скорость, оставив выбившихся из сил преследователей далеко позади, и круто взмыл в воздух.

— Отлично! — сказал Дортмундер.

— Если вы меня застрелите, — предупредил Фиргус, — то самолет разобьется и вы тоже погибнете.

— У меня нет ни малейшего желания в кого-либо стрелять, — заверил Дортмундер.

— Но мы не долетим до Кубы. С нашим запасом горючего мы едва дотянем до Вашингтона.

— Я не собираюсь ни на Кубу, ни в Вашингтон.

— Тогда куда же вы хотите лететь?

— А вы куда летите?

— Вообще-то в Питтсбург, — растерянно ответил он.

— Так и летите туда!

— Вам тоже надо в Питтсбург?

— Делайте, что хотите. Не обращайтесь на меня внимания.

— Что же, — произнес Фиргус, — хорошо.

Самолет парил в воздухе, изумруд «Балабому» был в руках Дортмундера.

Понадобилось пятнадцать минут, чтобы перелететь Нью-Йорк и достичь Нью-Джерси, и в течение всего этого времени Фиргус не сказал ни слова. Пролетая над болотами Нью-Джерси, он заявил:

— Старина, не знаю ваших проблем, но вы меня чертовски напугали.

— Простите, я очень торопился.

— Не сомневаюсь. — Фиргус бросил поверх плеча взгляд на Балюка, который продолжал спать. — Вот уж он удивится.

Прошло еще четверть часа, потом Дортмундер спросил:

— Что это там внизу?

— Где?

— Вон та светлая полоса.

Фиргус посмотрел вниз.

— Ах, это!.. Шоссе номер восемьдесят. Знаете, одна из супер-автострад, но эта часть еще не закончена. И потом они уже морально устарели. Транспорт будущего — это маленький частный самолет. Вот, к примеру...

— А кажется законченной, — перебил его Дортмундер.

— Что?

— Эта дорога, она кажется законченной.

Фиргус был недоволен. Он хотел рассказать Дортмундеру о великолепной статистике частных самолетов в США.

— Приземлитесь, — приказал Дортмундер.

— Что?

— Там достаточно широко для такого самолета, как ваш.

Приземлитесь.

— Зачем?

— Чтобы я смог выйти. Не волнуйтесь, я по-прежнему не намерен стрелять в вас.

Фиргус описал два круга, прежде чем решился. Он явно нервничал, и нервозность передалась Дортмундеру. Наконец Фиргус с легкостью перышка посадил самолет и повернулся к Дортмундеру с широченной улыбкой.

— Вот что называется уметь пилотировать!

— Полностью с вами согласен.

Фиргус опять бросил взгляд на Балюка и с раздражением проговорил:

— Черт побери, дрыхнет без задних ног! — Он пихнул Баллока в плечо. — Да проснись ты!

— Оставьте его.

— Если он вас не увидит, то не поверит ни одному моему слову. Эй, Баллок, соня, ты такое пропускаешь!..

— Спасибо, что подбросили, — Дортмундер опустился на землю.

— Баллок! — завопил Фиргус, молотя приятеля кулаками. — Проснешься ты или нет?!

Дортмундер растаял в темноте.

Баллок наконец пришел в себя под градом ударов, зевнул, сел, потер лицо, посмотрел вокруг, сощурил глаза, нахмурил брови и спросил:

— Бог мой, где мы?

— На шоссе номер восемьдесят, возле Нью-Джерси, — ответил Фиргус. — Ты видишь вон того парня? Смотри скорее, черт побери, пока он не ушел!

— Шоссе номер восемьдесят? Мы в самолете, Фиргус!

— Да смотри же!

— Что ты делаешь на земле? Что ты делаешь на шоссе номер восемьдесят?

— Он исчез! — воскликнул Фиргус, воздев в отчаянии руки. — Ведь я просил тебя посмотреть!

— Ты, вероятно, пьян, — сказал Баллок. — Ехать на самолете по шоссе!

— Я не ехал на самолете по шоссе!

— А как это называется?

— Нас угнали воздушные пираты! В кабину ворвался парень с револьвером в руке и...

— Если бы ты находился в воздухе, ничего бы такого не случилось.

— Да это было еще там, в аэропорту Кеннеди! Я ждал разрешения на взлет, а он, размахивая револьвером...

— Да-да, конечно, — с обидной издевкой произнес Баллок. — И вот мы в прекрасной Гаване.

— Он не хотел лететь в Гавану.

— Нет. Он хотел лететь в Нью-Джерси. Он угнал самолет, чтобы попасть в Нью-Джерси.

— Но я-то тут при чем? — заорал Фиргус. — Так было!

— Один из нас спятил, — констатировал Баллок. — А так как ты за штурвалом, то, надеюсь, спятил я.

Фиргус повернулся в своем кресле, испепеляя приятеля взглядом.

— Нас угнал воздушный пират, — угрожающе процедил он тихим голосом. — Это было.

— Если собираешься лететь так низко, — проговорил Баллок, закрывая глаза, — остановись у кафе, возьми пивка.

— В Питтсбурге я выбью тебе все зубы, — пообещал Фиргус. Он сел прямо, взлетел и в ярости взял курс на Питтсбург.

5

Представителем Акинзи в ООН был крупный человек по имени Николими. Дождливый октябрьским днем посол Николими сидел в столовой посольства в небольшом доме на Шестидесят третьей улице в Манхэттене.

— Господин посол, к вам посетитель, — доложил служащий.

Посол наслаждался миндальным тортом. Целый торт на него одного — вот почему посол был таким крупным. Одновременно он пил кофе со сливками и сахаром. Посол получал от этого огромное удовольствие и был недоволен, что его побеспокоили.

— По какому вопросу?

— Он сказал, что дело касается изумруда «Балабомо».

Посол нахмурился.

— Это полицейский?

— Не думаю, господин посол.

— Кто же он, на ваш взгляд?

— Гангстер, господин посол.

Посол поднял брови.

— В самом деле? Приведите ко мне этого гангстера.

— Да, господин посол.

Служащий вышел, а посол, чтобы не терять даром времени, наполнил рот тортом. И как раз собирался запить его глотком кофе, когда служащий вернулся.

— Он здесь, сэр.

Посол сделал знак рукой, чтобы гангстера пригласили войти, и в дверях появился Дортмундер. Все еще жуя, посол жестом предложил ему взять торт.

— Нет, спасибо, — вежливо отказался Дортмундер.

Посол выпил еще немного кофе, громко рыгнул, вытер губы салфеткой и произнес:

— Если я правильно понял, вы хотите поговорить со мной об изумруде «Балабомо»?

— Совершенно верно.

— Что же вы хотите мне сказать?

— Во-первых, — начал Дортмундер, — я хочу, чтобы это осталось между нами. Никакой полиции.

— Так ведь она его разыскивает.

— Конечно. — Дортмундер скосил глаза в сторону служащего, стоявшего у двери, потом перевел взгляд на посла. — Мне бы не хотелось говорить при свидетелях.

Посол улыбнулся и покачал головой.

— Тем не менее вам придется пойти на риск. Я предпочитаю не оставаться наедине с незнакомцами.

Дортмундер несколько секунд размышлял.

— Ладно, — решил он наконец. — Немногим больше четырех месяцев назад кто-то украл изумруд «Балабомо».

— Знаю, — сказал посол.

— Он стоит очень дорого.

Посол утвердительно кивнул.

— Это я тоже знаю. Хотите мне его продать?

— Не совсем так, — ответил Дортмундер. — Обычно владельцы особо ценных камней изготавливают копии — для выставок. Существуют ли копии изумруда «Балабомо»?

— Даже несколько. К сожалению, в «Колизее» был выставлен оригинал.

Дортмундер бросил подозрительный взгляд на служащего.

— Я хочу предложить вам обмен.

— Обмен?

— Да. Настоящий изумруд — за копию.

— Боюсь, что я не совсем вас понял. Копия и... что еще?

— Больше ничего. Просто обмен одного камня на другой.

— Я в самом деле вас не понимаю,— признался посол.

— Да, но одно условие,— продолжал Дортмундер,— вы не объявите публично, что получили изумруд, прежде чем я не дам вам на то разрешение. Может быть, через год или два, может быть, гораздо раньше.

Посол поджал губы.

— Мне кажется, вы можете рассказать потрясающую историю.

— Не при свидетелях,— отрезал Дортмундер.

— Ладно.— Посол повернулся к служащему.— Подождите в коридоре.

— Хорошо, господин посол.

Когда они остались одни, Дортмундер поведал ему всю историю, не называя имен, кроме майора Айко.

Посол слушал, время от времени кивая головой, иногда улыбаясь, иногда прищелкивая языком от восхищения. Когда Дортмундер закончил, он заявил:

— Я всегда подозревал, что за похищением стоит майор. Значит, он пытался вас надуть, и вы вновь отобрали изумруд. А что теперь?

— В один прекрасный день,— сказал Дортмундер,— майор вернется с двумястами тысячами долларов. Может быть, через месяц, может быть, через год, но я знаю: это будет. Он очень хочет получить изумруд.

— Талабво хочет,— кивнул посол.

— Поэтому деньги они найдут,— продолжил Дортмундер.— В последний момент майор прокричал мне, чтобы я хранил изумруд, что он вернется и заплатит. И я уверен, он придет.

— Но вы не хотите отдавать ему изумруд, ведь так? Потому что он вас обманул?

— Верно. Чего я теперь хочу, так это поквитаться. Вот потому-то я и предлагаю обмен. Вы получите настоящий изумруд и на некоторое время спрячете его. Я беру копию и храню ее до появления майора. Я продаю ее за двести тысяч долларов, он садится в самолет, чтобы отвезти изумруд в Африку, и тогда вы объявляете, что настоящий находится у вас.

Посол печально улыбнулся.

— В Талабво не скажут майору спасибо, когда узнают, что он заплатил двести тысяч долларов за кусок зеленого стекла.

— Вот и я так думаю.

По-прежнему улыбаясь, посол покачал головой.

— Я буду помнить, что вас нельзя обманывать.

— Вы согласны? — спросил Дортмундер.

— Конечно, согласен. Помимо того, что мы вновь обретаем наш изумруд, я согласен еще и потому, что уже несколько лет жду возможности сыграть с майором шутку. Я тоже мог бы рассказать вам про него кое-какие истории. Вы бы удивились, услышав их... Быть может, все же отведаете торта?

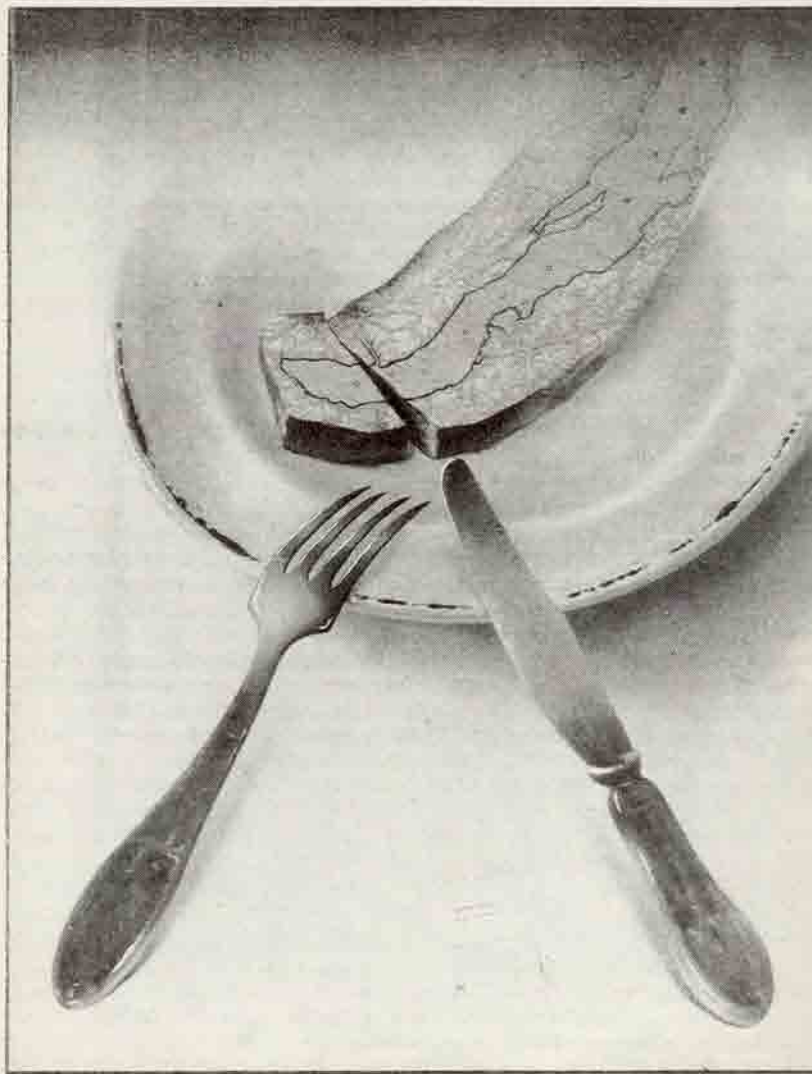
— Разве что крошку,— сдался Дортмундер.

— И чашечку кофе. Я настаиваю.— Посол перевел взгляд на окно, заливаемое струями холодного дождя.— Какой прекрасный день, вы не находите?

— Прекрасный,— согласился Дортмундер.

Перевод с английского
БОРИСА БЕЛКИНА.

FROM HO



ПОБЕДИТЬЕ

**ВЕДОМСТВА ВЛАСТВУЮТ
И СЕГОДНЯ
НАД ЗЕМЛЕЙ,
ВОДОЙ
И ВОЗДУХОМ ОТЕЧЕСТВА...**

СЕРГЕЙ КАЛЕНИКИН

Никто не скрывал своего беспокойства: оно — и в сбивчивом монологе академика, и на уставшем лице депутата, его, беспокойство, улавливаешь и в настороженном взгляде высокопоставленного чиновника... Кого нынче не волнует экология?! И у каждого свой взгляд, свое мерило, свои резоны, но кто о чем печется, право?..

Его ждали давно — более десяти лет. И лишь в январе 1988 года ЦК КПСС и Совмин СССР приняли постановление № 32 «О коренной перестройке дела охраны природы в стране». Документ обнадеживал. По нему выходило, что ведомственному экологическому террору наступает конец, министерская власть низвергается, то есть в стране вот-вот, не сегодня, так завтра появится единая система государственного контроля за использованием лесов, недр, земли, водоемов и прочих природных ресурсов. Карт-бланш

вручался созданному Госкомприроды СССР.

Вручался-то вручался, а между тем ни одна должностная душа так толком и не могла объяснить, где же положение о Госкомприроде СССР и какой облик, правовой статус уготовлен новоиспеченному комитету? Словом, не очень-то было понятно: кто есть кто, что есть что и где, собственно, гарантии, что постановление № 32 работает с нужной отдачей? Мало ли ЦК и Совмином СССР принято решений! — не унимались скептики. Да, все это тревожило, и с каждым уходящим месяцем беспокойство нарастало — ничего не подозревавшая общественность недоумевала: когда же заявит о себе комитет? где его лицо, позиция, активность?..

Еще свеж был типографский аромат тридцать второго постановления, как вослед ему выходит другое, с достаточно четким уточ-

нением: не комитет по охране природы (что устанавливалось постановлением № 32) ведает ключевыми водными функциями, а, как и прежде, Минводхоз СССР!.. Пока слепцы Госкомприроды терялись в догадках: что за сим правительственным маневром кроется, в марте — другое постановление ЦК КПСС и Совмина СССР, но уже «О совершенствовании управления лесным хозяйством и лесной промышленностью страны». И та же катавасия, то бишь, если раньше — по постановлению № 32 — госконтроль за ведением лесного хозяйства и рациональным использованием лесов доверялся Госкомприроды СССР, то теперь он возлагался на... Госкомлес СССР!

Чем не водевильная интрижка? Одна сторона с девичьим укором: будьте любезны исполнять постановление № 32, а стало быть, должны передать нам и госфункции, и службы, и материальную базу... А им в ответ: с какой стати? Вы, уважаемые, видать, что-то недопонимаете...

Похоже, первый министр природы Ф. Моргун все же понял, по каким правилам пошла игра, и, собрав на совещание председателей областных природоохранных комитетов РСФСР, не мудрствуя лукаво выдал: «Охоту вам отдай, лицензии отдай, рыбоохрану отдай, лес отдай... Куда лезете, куда рветесь?.. В тех водоемах, где раньше рыбы было полно, нынче ее нет и завтра не будет! Если заберете себе всю «рыбалку», то возьмете на себя и всю ответственность. На вас вина же и свалится».

Так, по-простецки, по-свойски министр внес ясность в обеспокоенные души подчиненных. И в том же 1988 году за спиной общественности между Госкомприроды СССР и ведомствами на-

чались торги — кому, в какой мере и на каком участке властвовать. Печальная, но, право, закономерная действительность.

Ведомственные торги, страсти по разделу природы на сферы влияния кипят и по сей день. Если министерства, госкомитеты и проявляют сегодня готовность чем-то поступиться, то с очевидным расчетом: как и при каком раскладе однажды утраченное восполнить с лихвой, какие разменять фигуры, дабы сохранить свою ведомственную мощь. Прошрое им отнюдь не в тягость.

Для справки: подразделениями Минрыбхоза СССР ежегодно вылавливается 11 миллионов тонн рыбы и морепродуктов. Около 40 процентов плавсредств Минрыбхоза не оснащены водоохраным оборудованием. Только в 1987 году должностными лицами министерства допущено 1145 нарушений правил рыболовства в экономической зоне СССР, прилегающей к территории РСФСР. Издержки промысла привели к катастрофическому сокращению численности семги, критическая ситуация сложилась с запасами мойвы и тресковых рыб в Баренцевом море — из года в год допускается значительный перелов выделенных квот, подорваны запасы пикши... Действующий до 1989 года режим рыболовства отрицательно повлиял на естественное производство осетровых рыб в Каспийском бассейне. Из-за чрезмерно интенсивного промысла истощаются запасы Охотского и Берингова морей, истреблены запасы камбалы на Явинской банке. В 1988—1989 годах по соглашению с Минрыбхозом СССР в Баренцевом море вели промысел гребешка суда Фарерских островов (Дания), хотя меры регулирования этого промысла еще не приняты...

Внесем ясность. Что значит гос-

контроль? Его суть не только и не столько в надзоре, сколько в выработке стратегии охраны окружающей среды, в формировании и защите национальной концепции экологического развития, в способности заглядывать в день грядущий, прогнозировать его, регулировать хозяйскую деятельность, дабы она не вышла за все приличествующие рамки дозволенного и допустимого. Способен ли на это нынешний комитет? Нет, пока что не способен. У него нет даже необходимой научной базы. А чего только не требуется! Колесная, гусеничная, летательная и прочая техника, компьютерная сеть, всевозможные институты, лаборатории, армия специалистов, ученых, миллиарды рублей...

Верно, многое — на балансе ведомств, которые и должны были передать Госкомприроды все, что полагается. Должны... Однако расстались с самой малостью, копейным пустяком. Помяну в этой связи Госагропром СССР. Его ликвидацию госкомприродовские спеццы приняли как подарок судьбы. Ведь по логике вещей, к ним безо всякой волокиты, автоматически переходили два мощных научных учреждения бывшего «прома» — Институт сельскохозяйственных аэрофотогодезических изысканий и Всесоюзный научно-исследовательский центр «Агроресурсы». Спеццы уже видели себя законными владельцами космической информации о земле: это и мониторинг, и прогноз урожайности, и скрытые посевы, и площадь пашни, угодий...

Кто, как не Госкомприроды, должен всем этим владеть?! Но постановление Совмина СССР от 8 августа 1989 года «О государственной комиссии Совмина СССР по продовольствию и закупкам и уточнении отдельных функций центральных экономических орга-

нов в связи с перестройкой управления агропромышленных комплексов страны» все ставит на свои места. Председатель замысловатой комиссии В. Никитин в недельный срок (!) создает Главное управление землепользования и землеустройства... с госинспекцией использования и охраны земель! Да, жив и здравствует Госагропром СССР и при нем — упомянутые научные учреждения. Госкомприроды в очередной раз остался с носом.

Итак, на что рассчитывают работники Госкомприроды, на основании чего они думают принимать решения, не имея необходимой научной базы? Уповают на услуги минводхозовских, минрыбхозовских, агропромовских и прочих ведомственных служб, которые и будут природоохранным комитетам выдавать необходимые данные для контроля и прогноза? А кто поручится за объективность, полноту и непредвзятость ведомственной информации? Председатель Госкомгидромета Ю. Израэль, министр рыбного хозяйства Н. Котляр? Председатель Госкомлеса А. Исаев? Министр атомной энергетики и промышленности В. Коновалов? Или, быть может, зампред Совмина, председатель Госкомиссии СМ СССР по чрезвычайным ситуациям В. Догужиев?.. Кто-то ведь должен дать ответственности необходимые политические и юридические гарантии со всеми вытекающими последствиями? И кто же в конце концов персонально отвечает перед нами, перед законом за разрушение природы?

Начальник Управления по надзору за использованием природоохранного законодательства Прокуратуры СССР А. Сугробов, когда я спросил его, почему бездействуют соответствующие статьи Уголовного кодекса, ответил, вздох-

нужно, что, дескать, нет отлаженной методики подсчета материального ущерба, нанесенного природе. Хотя в некоторых случаях можно вычислить прямой ущерб. Так, в прошлом году из-за выбросов в Волгу ртутных соединений он составил 20—30 миллионов рублей. Но тут иная прокурорская загвоздка: как установить конкретного виновника, когда неизвестно, каким образом это сделать! И так далее, в том же духе...

Самое ужасное, что товарищ Сугробов на этом поставил точку. Он не сказал, что все, хватит, пора с этим разбоем кончать — принимаем такие-то чрезвычайные меры. Я понял так: на нет и суда нет. Если потрудитесь заглянуть в раздел обновляемого уголовного законодательства «Преступления против окружающей среды», то собственными глазами увидите, что ведомства и впредь неподсудны — не несут уголовной ответственности за свои деяния. Марксово утверждение, что право не может быть выше экономики и обусловленной ею культуры, остается в силе. К нему добавить нечего. Оно бьет в точку.

Для справки. Потери древесины на лесосеках Госкомлеса СССР, МВД СССР, Минлеспрома СССР и других заготовителей на 1988 год составили более четырех миллионов кубометров, потери при транспортировке — более миллиона кубометров. В 1988 году переруб составил 17,1 млн. кубометров, на 1989 год — по предложениям Минлеспрома СССР и при согласии Минлесхоза РСФСР Совмин СССР разрешил (!) переруб расчетной лесосеки в объеме 17,4 млн. кубических метров. В системе Минлесхоза РСФСР гибнет каждый третий гектар посадок.

Предвижу вопрос: коль конфронтация между Госкомприроды

СССР и ведомствами возникла не из-за контрольных функций, то что тогда они промеж себя не поделили, почему никак не могут договориться и разойтись полюбовно? Что стоит за всей этой передерягой? А вот что: если постановление № 32 реализовать, то тогда, в сущности, упраздняются не только отдельные ведомственные службы, но и — штука ли! — главки, Госкомитеты СССР! То есть отпадает надобность в Главохоте, Главрыбводе Минрыбхоза СССР, Госкомгидромете СССР, Госкомлесе СССР!.. А это удар ниже пояса. Как понимаете, страшна не сама по себе потеря работы, а утрата той распорядительной власти, утрата тех дивидендов, которые она давала и продолжает давать. Ситуация, что и говорить, пикантная. Ну, а коль есть что терять, есть и что защищать. Цитирую:

«В связи с образованием Государственного комитета водного хозяйства РСФСР целесообразно передать в его ведение из Госкомприроды СССР и РСФСР осуществление государственного контроля за использованием и охраной вод и выполнение других конкретных функций, связанных с организацией охраны и рационального использования водных ресурсов». Под документом «Концепция управления водным хозяйством, обосновавшей образование комитета» — фамилии госплановских работников. Поименно: Б. Григорьев, Б. Бабич, А. Семушкин.

А как быть с нами, народом — со мной и миллионами моих сограждан? В США обеспокоенный чем-то американец, требуя прекратить реализацию сомнительного для него проекта, вправе обратиться в суд с иском заявлением и, между прочим, обращается, добываясь своего. (После общена-

родных дискуссий в США ежегодно запрещают строить тысячи предприятий...)

Меня могут упрекнуть: не сгущаю ли краски? Где, собственно, доказательства частного интереса ведомств? Отвечу так: доказательства в прокуратуре. Можете, к примеру, запросить справку от 1987 года по земельным делам. В ней прямо сказано: «За последние три года в стране в результате загрязнения производственными отходами и сточными водами из сельхозоборота выведено 53 тыс. гектаров, заброшено и бесхозяйственно использовалось около 500 тыс. гектаров, не рекультивировано или несвоевременно возвращено хозяйствам 137 тыс. гектаров, самовольно захвачено около 100 тыс. гектаров земли. Наибольшее распространение такие нарушения получили в Узбекской, Украинской, Белорусской, Молдавской, Туркменской ССР и ряде областей РСФСР».

Не знаю, в какой мере можно доверять этим цифрам, но даже они, согласитесь, говорят о многом.

Для справки: по данным Института глобальных проблем (США) Советский Союз теряет верхнего гумусового слоя почв больше, чем любая другая страна: эрозия в СССР ускорена переходом к более тяжелым сельскохозяйственным машинам и укрупнением полей, которое привело к исчезновению многих природных пограничных барьеров, затруднявших проявление эрозии. По данным ЦРУ США, около 500 тыс. гектаров пахотных земель в СССР ежегодно забрасывается, поскольку они становятся серьезно эродированными, более не годятся для использования. По данным Постпредства СССР при международных организациях в Вене, наиболее высокая интенсивность проявления эрозии

почв в мире отмечается в СССР: с площади 620 млн. акров ежегодно теряется 2,3 млрд. тонн плодородной почвы.

(В скобках отметим: ни в одном доступном для населения справочнике правительство не сообщает данных о деградации земли.)

Теперь иные цифры: общая площадь сельхозугодий в 1960 году составляла 508 млн. 034 тыс. га, в 1985-м — 550 383, в 1988-м — 549 096. Пашня — соответственно за те же годы — 213 млн. га, 220, 220. Как видите, весьма и весьма благополучная картина. Бывшего агропромовца спрашиваю: может ли быть такое? Ответ бывало: может. Так оно и есть. В основе благополучия — тотальные государственные приписки. То есть, чтобы показать, что пашня не уменьшается, в ее площадь включают непригодные, худшие земли, заболоченные, песчаные территории... Те же «мертвые души».

На разоблачительном подъеме бывшие агропромовцы выдали и такую, досель неизвестную нам арифметику. Оказывается, площадь сельхозугодий (на одного жителя страны) за последние 25 лет «усохла» на 23 процента: с 2,87 до 2,2 га, площадь пашни — на 20 процентов: с 1,03 до 0,82 га. Так что земля умирает, а мы толкуем о переменах к лучшему.

Кто кого слушает и кто про что печалится? В каком — назовите — правительственном декрете значится нынче отечественная многозаботливость о родном крае? Случаем, не в проекте ли долгосрочной Программы оздоровления экологической обстановки до 2005 года? Кто не знаком, познакомьтесь. Он — из серии «гримасы перестройки». Предлагаю имена авторов этой оздоровительной программы вписать золотом на завод-

ских продыmlенных трубах Запорожья, Днепропетровска, Днепродзержинска, Донбасса, Ворошиловградской области, Мариуполя, Кривого Рога... Впрочем, воздержусь от авторских оценок, тем более что есть официальные.

Я был свидетелем того, как нынешний председатель Госкомприроды СССР Н. Воронцов сокрушался, говоря об упомянутой программе. По его словам, правительственные меры таковы, что чудовищный уровень загазованности в промышленных центрах сохранится и в 2005 году. На оздоровительные меры предусмотрено выделить два процента от валового национального продукта, а надо пять, если не все десять. (Курортная Швейцария, кстати, на эти же самые цели выделяет пятнадцать процентов.)

Для справки: в городах с особым высоким уровнем загрязнения атмосферы в настоящее время проживают 37 миллионов человек, то есть каждый пятый городской житель страны...

Если Госкомприроды СССР и перестроечное дитя, то зачатое во грехе — немой уродец, изначально обреченный на социально-политическую безликость, безропотность, безмятежность, совминовскими путями связанный по рукам и ногам. Он был и остается звеном Совмина СССР.

Не потому ли после ухода на пенсию Ф. Моргуна кресло министра природы осиротело на неприлично долгий срок? Кого им только не соблазнял госаппарат, но закулисный список кандидатов хирел. Кому же охота рисковать головой, здоровьем, репутацией, карьерой? Тут ведь с ходу попадаешь в клещи: с одной стороны — министерское лобби с непомерными аппетитами, а с другой — общественность, которая сейчас отнюдь не безмолвствует.

Смельчак-таки нашелся — ученый Николай Николаевич Воронцов.

Понятно, от него никто не требовал сиюминутных перемен, но нам было важно знать, с кем, собственно, имеем дело? Какую позицию займет очередной министр природы? По течению или против потащит за собой комитет, намерен ли он освободиться от совминовских пут? В августе прошлого года Н. Воронцов еще допускал: «...наверное, стоит рассмотреть вопрос о двойном подчинении Госкомприроды — Верховному Совету СССР и Совмину СССР», но уже в ноябре уточнил: «...нет, уж лучше оставаться под началом В. Добужиева, заместителя премьера по чрезвычайным ситуациям». На сей счет знаем и мнение самого Добужиева, оно прозвучало с трибуны Верховного Совета. «Дело не в статусе комитета, — говорил он, — а в людях. Ничего не надо менять. Таково мнение правительства».

Как видим, не так просто нечто новое втиснуть в замшелую структуру госаппарата. Это я о Госкомприроде СССР, РСФСР. В лучшем случае, подобное породит подобное. Это диалектика. Кстати, уже породило. Причем правительство, программируя в природоохранной политике двоевластие — пусть и формальное, — идет на сознательные крупномасштабные издержки, несмотря на жуткую инфляцию (мы о ней как будто позабыли), страшный бюджетный дефицит и прочие финансовые прорехи. Как ни крути, а одно ведомство начнет дублировать функции другого. И тут миллионом, другим не отделаешься. Госкомприродовские спецы уже сегодня и устно, и печатно твердят: нам 27 миллионов рублей на текущий год мало, вон

Госкомлесу из бюджета выделено почти 140 миллионов рублей, Госкомгидромету — 662 миллиона рублей... Они требуют свое, и в амбициозном максимализме их вряд ли уличишь.

Как ни крути, а Госкомприроды обречен на прозябание и безликость — совминовские пути ему не разорвать, министерско-ведомственное лобби не одолеть. Тридцать второе постановление — тому пример. Ведь само по себе напрашивалось: коль Совмин СССР — соавтор этого постановления, то оно еще на стадии своего зарождения не раз и не два оседало на тертых столах Госкомлеса СССР, Минрыбхоза СССР, Госкомгидромета СССР, Минводхоза СССР, Минатомэнерго СССР, Госагропрома СССР и иже с ними. Ну никак не верилось, что ведомства себе же подписали «смертный приговор».

Мне по душе решительность прибалтов. Латвийская ССР первая перевела республиканский природоохранный комитет в подчинение своего Верховного Совета — здешний Совмин комитету не указ. Того потребовал здравый смысл. Нет, я не утверждаю, что таким вот образом в мгновение ока разрешатся все проблемы на местах и в центре. Но это, согласитесь, хоть какая-то реальная возможность остановить экономический произвол министерского корпуса. А пока он существует, пока правит бал, защищая свои гипертрофированные ценности и ведомственно-меркантильные интересы, нам не остановить деградацию окружающей среды, человека и всего общества.

Трудно сказать, вычислить, когда мы станем беречь Природу, себя не только из-за страха потерять рубль, должностное место или свободу, но исходя из пони-

мания смысла Бытия и Развития, понимания того, что творим, к чему катимся, когда будет выгодно и нравственно не губить, разорять, а беречь и умножать. Этим нужно переболеть, для этого требуется время. А сегодня долг живущих и здравствующих — остановить беду, остановить экологический кризис, остановить тех, кто жил и живет не логикой завтрашнего дня, а логикой сиюминутного интереса.

Не пора ли одуматься?

ШО

ТАМАРА ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО

Фото: ВСЕМИРОНА ТАРАСЕВИЧА

загадка
СТАКОВИЧА



2011

МАСТЕРСКАЯ



одном из документальных фильмов о Дмитрие Шостаковиче есть такие кадры: композитор сидит в купе мчащегося поезда и долго смотрит в окно, омываемое дождем. А за кадром звучит Тринадцатая симфония. Ни тени умиротворения на бледном, аскетической красоты, нервном лице, с резко стиснутыми губами. Ни секунды покоя не дают себе пальцы рук. А в глазах, загадочно поблескивающих сквозь очки, — непреклонность борца и незащищенность ребенка, боль и гнев. Страстная сосредоточенность и странное отчуждение. Кажется, мозг композитора погружен в какую-то яростную тишину, готовую взорваться звуками. Незабываемое лицо человека, для которого мир — вечное рождение музыки, а музыка — вечная исповедь от лица мыслящего и страдающего человечества, шифрованный документ о правде века для послания в вечность...

Таким он запомнился всем, кто знал его в бурные 60-е годы, ставшие и взлетными, и закатными для композитора. Я утверждаю: напряжение судьбы Шостаковича достигло высшей точки именно в это время, когда уходили последние иллюзии хрущевской «оттепели» и нарастающие деструктивные социальные процессы в обществе ставили композитора перед жестоким выбором. И, как совершенно ясно теперь, именно личный выбор Шостаковича определил многие события духовной борьбы людей искусства 60-х, сделал его центральной фигурой всего фронта Сопротивления консолидирующейся творческой интеллигенции.

Он жил на острие внимания всей музыкальной планеты. И события его личной жизни начала 60-х годов, казалось,

рисовали образ преуспевающего гения. Вот он, как председатель жюри Международного конкурса имени Чайковского, вручает премии его лауреатам. Вот его чествуют в шотландском Эдинбурге на фестивале его имени. Вот он в Горьком, где впервые звучит ретроспектива его сочинений: за девять дней более пятидесяти клавиров и партитур! И — премьеры, премьеры невиданно бурным потоком.

Из глухого небытия извлекает дирижер Кирилл Кондрашин никогда не звучавшую Четвертую симфонию, которую позднее назовут «первой великой симфонией, появившейся в России после революции». Ее премьера в канун блистательного для Шостаковича 1962 года стала подлинной мировой сенсацией (вскоре ее услышали в Эдинбурге, в других европейских городах). А вот приходит черед и других «репрессированных» произведений раннего Шостаковича. Молодой, никому тогда не известный режиссер Лев Михайлов и дирижер Геннадий Проваторов берутся за постановку поправленной «Леди Макбет» (получившей в новой авторской редакции наименование «Катерина Измайлова»), и ее премьера в Театре Станиславского и Немировича-Данченко в декабре 1962-го, подобно взрыву на солнце, возбуждает весь космос музыкальной планеты. Никогда не забуду этого ошеломляющего впечатления от соединения трагедии и гротеска; весь безысходный трагизм истинно русского финала оперы, с серым фоном его арестантских шинелей и звоном натуральных кандалов. И центр скорби, символ доли российской — монолог Старого каторжника... Мы, музыкальная молодежь, просто оплоумели от «Катерины Измайловой». Пробирались на все репетиции и спектакли, где была, естественно, «вся Москва» во главе с Рихтером и Нейгаузом. Кто-то подсчитал: Генрих Нейгауз слушал «Катерину» семнадцать раз!

И, наконец, тут же, в декабре 1962-го, премьера Тринадцатой симфонии, на которой подтянутый, наутюженный Шостакович впервые появился с молодой женой, Ириной Антоновной Сунинской. Казалось, кривая преуспеяния и благополучия Шостаковича неуклонно нарастает. Тому свидетельство не только каскад премьер, но и новенький партбилет члена КПСС, выданный 55-летнему маэстро, и женитьба на симпатичной 27-летней женщине, да в конце концов и почетный пост первого секретаря Союза композиторов РСФСР (хотя кто же не понимал нелепости «соподчинения» Шостаковича Хренникову, буквально вросшему в кресло первого секретаря СК СССР со времен разгромного постановления ЦК ВКП(б) 1948 года?).

Между тем за благополучным внешним фасадом событий скрывался совсем иной процесс — мучительный и трудный. Да, это была та параллельная, непрекращающаяся, внутренняя жизнь Шостаковича, которую Григорий Козинцев назвал «незаживающей раной» и которая принимала в себя малейшие дуновения времени, ход «темных сил», врагов свободы и человечности. Шостакович обладал мышлением «нового поэта», которое всегда способно было «выразить политическую страсть лирикой и лирическое переживание человека сделать политической страстью» (слова Г. Козинцева). Он всегда очень остро ощущал и пред-

ощущал жизнь своего народа и пророчествовал о ней на языке высокого искусства. И потому один из первых уловил грозные признаки движения к реставрации просталинского режима, которые прорывались то в запрещениях исполнять его вокальный цикл «Сатиры» на стихи Саши Черного, то в гневных окриках партийного лидера на скульптора Эрнста Неизвестного и поэта Андрея Вознесенского, то в разразившемся скандале по поводу «Преждевременной автобиографии» Евгения Евтушенко, опубликованной за рубежом.

Своим вселенским слухом он, быть может, первым ощутил тот подземный толчок, когда в России вновь заработала тоталитарная машина подавления, грозясь смести на обочину истории все, что мыслит свободно вопреки шаблонам и предписаниям.

Формально он не принадлежал к поколению «шестидесятников». Но он протянул руку друга, единомышленника, борца тем молодым, кто штурмовал бастионы косности, раболепия, конформизма, провозглашал идеи правды и свободы — будь то средствами поэзии, театра или кино. В этом был его личный выбор.

В самом деле — очень важный выбор, значение которого до сей поры всерьез не понято и не оценено.

В эти 60-е годы неустойчивого равновесия противоборствующих сил Шостакович, достигший, так сказать, высот общественного признания, мог идти накатанным путем, углубляясь в свой излюбленный мир «чистого» академического симфонизма, ничем не рискуя! Но нет! Он выбрал путь иной. Путь симфонизма публицистического, театрального, оплодотворенного словом. Он двинул в музыку новую социальную инициативу, вступив в союз с мятежной музой молодого Евтушенко, балансировавшего на острие опалы. Шостаковича не смутила ни опала, ни сомнительная молва и ажиотаж вокруг фигуры фрондирующего поэта. Напротив. Композитору как нельзя более импонировала гражданская непримиримость и политическая острота ершистой и умной поэзии лидера «новой волны». Его важег обличительный пафос стихотворения «Бабий яр», напечатанного в «Литературной газете». «Этот опус «вдохновил» меня», — писал Шостакович (обычно не употреблявший подобных определений своей работы) в письме другу-композитору Виссариону Шибалину, находясь в больнице. Именно тут яростная тишина его души взорвалась звуками неожиданной силы. Потому что он не стал откладывать работу. И тут же, на больничной койке, в марте 1962-го, сочинил пространный монолог-реквием для баса и хора мужских голосов с оркестром на текст «Бабьего яра». Так начиналась великая Тринадцатая симфония — драма совести русских людей, шедевр антисталинского гражданского искусства.

Уже после знакомства с Евгением Евтушенко, который произвел на него огромное впечатление, Шостакович отобрал еще три стихотворения — «Юмор», «В магазине», «Карьера» — и заказал четвертое — «Страхи», складывая свою невиданную по дерзости и остроте пятичастную музыкальную трагедию-сатиру.

Помню, весть об альянсе Шостаковича и Евтушенко мгновенно облетела интеллигентские круги — смутила слабых, окрылила

сильных, заставила подозрительно затаиться, сделать «стойку» власть предержащих. В воздухе повеяло какой-то жутью, наподобие той, которая проступила вскоре в самой музыке Тринадцатой, в мрачной псалмодии хора басов: «Умирают в России страхи словно призраки прежних дней».

В этой музыке, наделившей стихи гипнотической силой воздействия, властям предстояло как бы лицом к лицу встретиться с мыслящим народом, в борьбе с рабством и бездуховностью осознающим свою судьбу, обретающим новую социальную и нравственную программу жизни. Альянс Шостаковича — Евтушенко готовил диктаторам всех мастей испытание на честность. Тринадцатая — в случае ее запрещения к исполнению — становилась надежным «детектором лжи».

Со времен Седьмой «Ленинградской» симфонии не было подобного грандиозного события в музыкальной жизни. Не случайно в семье Шостаковичей отмечались только две даты, связанные с творчеством: 12 мая — премьера Первой симфонии и 20 июля — завершение работы над Тринадцатой.

Я не знаю, почему отмечалась дата именно завершения, а не премьеры (18 декабря 1962 года), но подозреваю, что здесь не последнюю роль сыграло обилие отрицательных факторов, сопровождавших подготовку исполнения Тринадцатой. Я помню настороженную атмосферу все нарастающей сенсации вокруг симфонии «с хорами», вокруг очередного «выверта» Шостаковича на сей раз бетховенско-малеровского толка, от которого скептики и хулители не ждали ничего хорошего, тем паче нового. Существовало даже мнение — и тогда, и позже, — что, написав Десятую симфонию в год смерти Сталина, великий симфонический экспериментатор выдохся и в последнее двадцатилетие (!) своей жизни пребывал в растерянности. А тут вдруг Арам Хачатурян, еще до публичного исполнения Тринадцатой, разразился панегириком в ее честь на страницах газеты «Советская культура». Эдакий, простите, провинциальный жест старомодной дилетантской прессы! Но даже не это нагнетало атмосферу сенсации. Ее питали многочисленные слухи о том, что Шостаковичу отказывают, чинят препятствия; его предают крупнейшие и близкие ему исполнители: ленинградский дирижер Мравинский или, например, киевский певец Борис Гмыря. Слухи подтверждались. В музыкально-художественной среде Москвы также царилая какая-то настороженность. «Умирают в России страхи словно призраки прежних дней...» К сожалению, до их смерти было слишком далеко.

Тогда за дело взялся предприимчивый и энергичный Кирилл Кондрашин, руководитель Государственного оркестра Московской филармонии, все более выдвигавшийся как дирижер «авангарда», открыватель нового в симфонизме. Он и стал триумфатором на премьере Тринадцатой. А через два года повторил свой триумф на премьере вокально-симфонической поэмы «Казнь Степана Разина» Шостаковича — Евтушенко, грянувший каким-то образом сразу вслед за отстранением Хрущева (эта премьера состоялась в Москве в декабре 1964 года).

Однако вернемся в Большой зал Московской консерватории,

где впервые звучит Тринадцатая симфония. Это был миг исторический, вечер прозрений и вдохновений, вернувший людям почти забытое чувство человеческого достоинства и солидарности. Огромный зал с посветлевшими ликами великих музыкантов, взирающих из своих настенных медальонов на переполненные амфитеатры и партер, был до предела наэлектризован. Но этот заряженный поток энергий лился не только со сцены, но из партера, где сидели знаменитые авторы — композитор и поэт. Я видела их обоих с высоты правого амфитеатра. Знакомый заостренный замкнутый профиль с непослушным хохолком на макушке — в восьмом ряду партера — это значит максимальная мобилизация зала, высший градус «соавторского» внимания и соучастия слушателей. А на сцене — оркестр, хор, дирижер, солист-бас В. Громадский, мало кому известный (заменявший, как оказалось, в последний момент отпавшего В. Нечипайло). Не случайно же так волновала Шостаковича исполнительская судьба именно этой симфонии! Что будет с его музыкой, впервые попавшей в «чужие» руки?

Но, видно, симфонии помогала вся общественная атмосфера. Время либерализации, возрождения, антикультовых идей кричало о помощи. Ему грозило забвение и обман. Оно ждало защиты от самых сильных своих сыновей. Так кто же, если не Шостакович? Это понимали все. Лишь самодовольной командно-административной «элите» не дано было понять, что Космос XX века родил «удивительно сильного, просто непобедимо сильного ребенка» (как писала о Шостаковиче Мариэтта Шагинян). И вот он снова ради людей идет на Голгофу. Только на сей раз его Голгофа — это Бабий яр, вызывающая из-под многолетних тяжких прессов запрета тема антисемитизма, жестокости и бесчеловечья расистских расправ. А еще — тема свободы и неистребимости народного духа, вечно противостоящего насилию террора. Тема благородства, честности выбора. Достоинства человека в конце концов.

Вот он, скорбный образ «Бабьего яра»: унисон низких струнных и деревянных, тихий удар колокола начинают хоровое раздумье народа, чья поступь печали и гнева пройдет через весь рассказ-реквием. Здесь, над огромной могилой невинных жертв фашизма, потечет череда воспоминаний, о которых поведаст корифей хора, — поэт и летописец. Они ввинчиваются в память, как круги дантова ада, рисуя драматические сцены из жизни Дрейфуса, из жизни белостокского мальчика, свидетеля еврейского погрома, и, наконец, жуткую сцену гибели Анны Франк и ее возлюбленного, павших от рук расистских карателей.

Да, разумеется, первая часть Тринадцатой — драматургический шедевр. Но по образной хлесткости и социальной остроте ей не уступают и все остальные, особенно «Юмор» (вторая часть), а также многослойный финал («Карьера»).

Хочу напомнить об одном замечательном эпизоде в финале этой части Тринадцатой. После гарцующего скоморошьего пляса под дудочки-сапелочки (есть такая остроумнейшая инструментовка у Шостаковича) вклинивается театрально-зрелищная картина судилища над озорником, грозное шествие к лобному

месту. Как же у Шостаковича без сцены казни! И вдруг оргия казни, этот неистово-зловещий оркестровый гул и ляг неожиданно рассыпается в прах перед игривым мотивчиком флейт и кларнетов. Юмор вывертывается, конечно же, и выскальзывает на свободу. Здесь Шостакович удивительно близок по духу поэту Евтушенко.

Бас соло: *Хотели юмор купить,*

Хор: *Да только его не купишь!*

Бас соло: *Хотели юмор убить,*

Хор: *А он показывал кукиш...*

Интересно, что однажды Шостакович тоже писал о «резвости» своего характера. Наверное, таким образом он в юности отмечал свою склонность к карикатуре, едкой насмешке, музыкальному шаржу, столь обогатившим его палитру. Михаил Зощенко, близко знавший молодого Шостаковича, писал в одном из писем к Мариэтте Шагинян о его «жестком», «едком», «деспотичном» гении и завершал характеристику личности композитора такими провидческими словами: «Это конфликт в высшей степени. Это — катастрофа!»

Вроде бы и не открывал композитор в своей Тринадцатой симфонии новых Америк в плане интонационного языка, ритмодинамики или инструментовки. А вот поди ж разгадай, из чего складывается потрясающий музыкальный образ тиранствующей власти в «Страхах» (столь близкой по духу и колориту «Дворцовой площади» из его Одиннадцатой симфонии «1905 год»). Или откуда и каким образом в комедийной притче о «карьеристах» вырастает столь удивительная поэтическая постлюдия? Только что какой-то галопирующий фаготик сопровождал рассказ о Галилее и других интересных личностях, кто делает карьеру, «как у Шекспира и Пастера, Ньютона и Толстого... Льва», как вдруг — точно спадает с глаз пелена и распахиваются окна на тихий солнечный пейзаж... И выступает вечное начало, облик неземной красоты бытия. Дальний план симфонии, тайный смысл ее, точно катарсис, сквозь океан страданий и бытия наконец обнимает наши души, растворяя их в серебряных звонах арф, струнных, челесты, просветленных колоколов. Живите, земля и люди, и творите жизнь!

Нужно признаться: в день премьеры Тринадцатой для многих остался загадкой этот райской красоты инструментальный финал в изобилующей страшными изобличительными образами вокально-симфонической партитуре. Только позднее поняли, что подобные «тихие», запредельные финалы, где композитор словно вступал в исповедальный диалог с вечностью, станут неременной чертой высоких прощальных творений Мастера.

Но все же здесь, в Тринадцатой, он еще не прощался. Он признавался в любви к жизни.

Когда умолкли последние звуки челесты и колоколов, в огромном зале Московской консерватории наступила страшная пауза, а потом раздался стон. Зал поднялся с мест, как один. Люди плакали и ликовали, как в день всенародного счастливого праздника. Это была победа. Это был прорыв за барьеры.

И встал композитор — комок воли и напряжения — и пошел навстречу овациям и ликующему оркестру точно на эшафот, чуть кося плечами, с выражением отчаяния и обреченности на бледном лице. Сколько раз в жизни я видела его — гения, с лицом приговоренного к казни, принимающего знаки восхищения и новой славы. И сколько раз я говорила себе: «Он никогда не смирится с почестями».

А на сцену размахистым шагом уже шел, нет, мчался почти вприпрыжку долговязый поэт. И вот уже они рядом — Шостакович и Евтушенко — воплощенная скромность и нарастающий апломб. Стоят, стиснутые оркестровыми пультами и корзинами цветов. Евтушенко цепко держит под локоть (чтоб не упал, что ли?) несравненного «Дэдэ». Запомните этот день! Запомните этот час!

Запомнить действительно стоило. Ибо совсем скоро на исполнение Тринадцатой симфонии был наложен тайный запрет. Власти не разделили ликования народа. А из разных газетных публикаций критиков-конформистов раздалось неодобрительное шипение. Музыку обвиняли в мрачности и ультрасатиричности. А в одной из рецензий откровенно говорилось о том, что, дескать, «Д. Шостаковичу изменило присущее ему всегда чувство времени, чувство высокой ответственности», что «Д. Шостакович не понял, что нужно обществу». Что же касается стихов, то они... «мешают воспринимать музыку, отвлекают внимание».

Симфония канула в небытие года на три. Потом ее «пробил» верный друг и пропагандист творчества Шостаковича горьковский дирижер Израиль Борисович Гусман. Продиржировал ее в Горьком в канун 1965 года, а потом через год — в Москве. В 1966 году симфония, наконец, прозвучала в Новосибирске, Ленинграде и только в конце 60-х годов — за рубежом.

Столичные подмостки симфоний остерегались. Самодовольная брежневско-сусловская партократия не желала себя «травмировать». Повсюду шел уже полным ходом демонтаж завоеваний хрущевской «оттепели».

Тем оглушительней был триумф Тринадцатой симфонии, когда ею продирижировал Евгений Светланов, незадолго до того возглавивший Государственный симфонический оркестр СССР. Произошло это 13 февраля 1967 года в Большом зале консерватории. И это был не только триумф. Это была политическая манифестация!

Но к тому времени уже многое произошло в жизни Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В конце мая 1966-го прозвенел его «первый звонок»: инфаркт миокарда! Едва оправился к осени, когда 25 сентября торжественно отмечали его 60-летие, и ликующий Мстислав Ростропович играл новый, посвященный ему Второй виолончельный концерт. Как давно водилось в «приличном» доме, Шостаковичу дали Героя Соцтруда. Даже на слух это воспринималось анекдотически.

И вот тогда прозвучала Тринадцатая у Светланова.

Никогда не забуду юбилейных торжеств Шостаковича. В дни подготовки премьеры Концерта для виолончели (значительность и масштаб которого даже наводили композитора на мысль на-

звать его Четырнадцатой симфонией) мы встретились с Ростроповичем для беседы о личности и творчестве Шостаковича. Пресса ждала интересных материалов.

Как сейчас помню: сидим с Мстиславом Леопольдовичем в его просторном рабочем холле, обитом синей кожей, где на небольшом подиуме стоит рояль. Я вижу здесь на стене только один портрет — Дмитрия Шостаковича. И слышу слова о нем, необычные по тем временам, незабываемые:

— Неизмеримо усложняется мир человека. И получает глубину невероятной силы. Чтобы вскрыть ее, «вскрыть» мозг человека, нужны усилия могучего «патологоанатома». Им может стать только великий писатель или музыкант. Шостакович — из породы этих могучих... Мне всегда казалось, что Шостакович знает о человеке все. С детства я пугался его эрудиции... Есть точка зрения, что Шостакович отражает в музыке античеловеческое, страшное, бездушное начало, воссоздавая трагическую правду XX века. Вас интересует мое мнение? Я не вижу в музыке Шостаковича «сил зла». Я вижу просто силу. Я вижу невероятную силу человеческого характера!.. («Вот так решает Ростропович для себя загадку Шостаковича», — подумалось мне.) И знаете что? Мы плохо знаем себя. Мы плохо видим или не хотим видеть свой образ. А музыка Шостаковича — это мы сами, наша не познанная до конца жизнь. В этой музыке вся громадная амплитуда нашей жизни — от глубоких разочарований и трагических столкновений до просветлений и гордых надежд.

Так говорил Ростропович 23 года назад. И в этой речи, которую невозможно было тогда без искажений напечатать, проступала новая концепция в оценке личности и творчества Шостаковича, полная глубокого подтекста.

И была еще одна примечательная особенность этой речи: Ростропович как бы пророчествовал о своем «дирижерском» будущем. Разбирая новый Концерт для виолончели, восхищаясь «непостижимым мастерством» творца музыки, артист восклицал:

— Я всегда завидовал дирижерам! Я всегда мечтал о виолончели со ста струнами. Но талант Шостаковича преодолевает несовершенство инструмента. Играя эту музыку, я впервые чувствую себя на музыкальном уровне дирижера. Шостакович наделяет виолончель качеством невиолончельной силы... Играть Шостаковича, быть современником Шостаковича — это гордость, великая гордость!

Сегодня кажется почти очевидным: именно музыка Шостаковича в конечном счете «вытолкнула» Ростроповича окончательно за дирижерский пульт. Потому что в следующем, 1967 году, он уже ставил в Большом театре своего «Евгения Онегина». И еще одна интересная подробность: сам Шостакович в своей единственной дирижерской попытке решил выступить именно с Ростроповичем.

Монолог Ростроповича о Шостаковиче стал существенным аккордом в многоголосье газетных голосов юбилея. Это было слово крупнейшего музыканта-единомышленника, знак солидарности

и поддержки больного композитора в годы усиления деспотизма и произвола властей.

Именно в середине 60-х годов дружба Шостаковича и Ростроповича стала серьезнейшим фактором консолидации сил музыкальной интеллигенции и — более того — всего фронта Сопротивления творцов-«шестидесятников». И не случайно в своем знаменитом «Открытом письме» редакторам центральных советских газет, отправленном в октябре 1970 года (и опубликованном только теперь, в журнале «Юность», 1989, № 7), Ростропович, выступая отважно в защиту гонимого писателя Александра Солженицына, защищал одновременно и композитора Дмитрия Шостаковича, и его «репрессированные» сочинения. Одно только имя Шостаковича упоминается в письме шесть раз.

«В 1948 году были СПИСКИ запрещенных произведений, — писал Ростропович. — Сейчас предпочитают УСТНЫЕ ЗАПРЕТЫ, ссылаясь, что «есть мнение», что это не рекомендуется. Где и у кого ЕСТЬ МНЕНИЕ — установить нельзя. Почему, например, Г. Вишневской запретили исполнить в ее концерте в Москве блестящий вокальный цикл Бориса Чайковского на слова И. Бродского? ¹ Почему странные трудности сопровождали исполнение XIII и XIV симфоний Шостаковича? Опять, видимо, «было мнение»?»

Если внимательно вчитаться в письмо Ростроповича — услышишь голос «буревестника» нынешней перестройки:

«Неужели прожитое время не научило нас осторожно относиться к сокрушению талантливых людей?.. Почему именно в нашей литературе и искусстве так часто решающее слово принадлежит людям абсолютно некомпетентным?»

И замечательно обнадеживающее и провидческое: «К свободному обсуждению без подсказок и одергиваний мы обязательно придем!»

Текли последние годы жизни Шостаковича. Премьера каждого его нового сочинения ожидалась с огромным волнением. Творения тираноборческой, пророческой, исповедальной музыки Шостаковича звучали в исполнении гениальных артистов. Это создавало особую ауру вокруг концертов из произведений Шостаковича. Премьеру Второго скрипичного концерта играл Давид Ойстрах. Премьеру Сонаты для скрипки и фортепиано — Рихтер и Ойстрах. А прибывший с гастролями в Советский Союз великий Герберт фон Караян дирижировал Десятой симфонией. Ни до, ни после мы не слышали подобных бездонных интерпретаций музыки Шостаковича.

Было это 29 мая 1969 года, когда Шостакович уже готовился к премьере своей Четырнадцатой симфонии.

...Невероятно трудно представить себя гостем величайшего музыканта, да еще в дни, когда болезнь вынуждает его ограничивать контакты. Трудно представить, что он сам встретит тебя в коридоре своей московской квартиры и, торопливо извиняясь за то, что не может помочь снять пальто (болит рука!), пригласит

¹ Вокальный цикл Б. Чайковского на стихи И. Бродского впервые прозвучал в концерте «Московской осени-88».

в кабинет. И ты, еще не веря в реальность этой большой комнаты, освещенной мягким вечерним светом, покорно отдаешься его трогательным заботам. А он все пытается усадить тебя в «главное» кресло у стола, сам же пристраивается где-то сбоку... Вот тут ты наконец приходишь в себя. И начинаешь спорить, настаивать, требовать, чтобы сам хозяин занял «главное» место. Он же упорно сопротивляется. Сцена затягивается, приобретая черты чистейшей гоголеады.

— Я и так здесь долго засиживаюсь, понимаете ли,— бросает он беглой скороговоркой, усаживаясь-таки в кресло, а поймав взгляд гостыи, брошенный на рояль, прибавляет тоном ниже, словно про себя,— играть-то уже не могу...

Вот он перед тобой, великий диктатор и властелин музыкальной вселенной, восседающий за необъятным, безукоризненно прибранным столом. Ни одного лишнего предмета в его окружении. Никаких признаков поспешно прерванной работы или отложенных занятий. Ни листа бумаги или газеты. Ничего. Только он и чистое поле письменного стола.

Как же это случилось, что я очутилась у него в гостях? Мы ведь, в сущности, не были знакомы, хотя встречались мельком то в концертах, то за кулисами, когда я заходила его поздравить. Я никогда не пыталась приблизиться к Шостаковичу, ну хотя бы с банальной целью обретения «интервью». Сама мысль об этом казалась мне кощунственной. Не потому, что пугали «огромные жернова» интеллекта композитора, о которых чуть ли не с мистическим трепетом мне рассказывал Ростропович. И не потому, что останавливало предчувствие какой-то дискомфорта общения, психологического барьера, «странного отчуждения», о котором писала Галина Серебрякова, вспоминая свои встречи с молодым Шостаковичем. Нет, дело было совершенно в другом. Чем больше слушала я музыку Шостаковича, чем дальше и выше поднимался он, создавая свои последние шедевры, тем меньше оставалось трудных вопросов, на которые бы творчество Мастера не проливалось свет. Все недосказанное, недодуманное, необъясненное на бытовом языке казалось мизерной суетой сует в сравнении с тем, что уже выражено, объято и приподнято бесконечно высоко над обыденностью гениальным музыкальным видением Дмитрия Шостаковича.

Стоял февраль 1970 года. Прошло уже четыре месяца с тех пор, как впервые в Большом зале Московской консерватории была исполнена Четырнадцатая симфония. Между тем столичная пресса молчала. Кроме краткой информации о состоявшейся премьере, не было опубликовано ни единой строчки, где бы дана была оценка новой симфонии Шостаковича. Что означала сия фигура умолчания, было абсолютно ясно. Непривычку вслух размышлять, а тем паче писать о трагическом. Ведь Шостакович сочинил симфонию о смерти — одиннадцать симфонических песен на стихи Лорки, Аполлинера, Рильке, Кюхельбекера. Это был полный шок! В канун столетия со дня рождения В. И. Ленина от Шостаковича ждали совсем другую симфонию. Но композитор, как известно, был непредсказуем и... неуправляем. Он давно разошелся с официальным «календарем». Время стояло холод-

ное. Страну стали покидать писатели, художники, музыканты. Начались политические суды над инакомыслящими. В жизнь входило ранее не известное слово «диссидент», «узник совести». Как говорил Василий Аксенов, к концу 60-х годов мы из «рассерженных» уже превратились в «обоженных».

Свою Четырнадцатую симфонию писал «обоженный», глубоко страдающий Дмитрий Шостакович. Может быть, он уже не очень рассчитывал дожить до Пятнадцатой.

Итак, поэт и вечность. Человек и смерть... Шостакович не мог не подойти к этой глобальной теме жизни и искусства, составлявшей предмет размышлений и творчества величайших художников всех времен. Но подошел к ней, не повторив ни одного из своих музыкальных предшественников, будь то Лист или Чайковский, Мусоргский или Рахманинов. «Я полемицирую с классиками!» — говорил композитор перед прослушиванием симфонии.

Да, на сей раз в основу замысла симфонии была положена концепция самой жизни человека как феномена природы. Та концепция, которая несет уже в самой себе естественный, непримиримый конфликт: бесконечен круг стремлений и проявлений человека, но ограничена, конечна жизнь его.

Но вот парадокс: когда я слушала Четырнадцатую, мне чудилось, что музыка симфонии полемицирует не только с классиками, но где-то и со своей литературной основой. Музыка Шостаковича, в моем ощущении, была ярче, светлей, активней, объемней звучащих слов. И несмотря на безысходность общего тона, в ней слышались и гимны свободе, и философские скорби, и — главное — яростно протестующие, обличительные ноты — вечные спутники творчества Шостаковича и нашей любви к нему. И очень важна особая, «пушкинская», атмосфера завершения симфонии, с ее центральной песней на стихи Кюхельбекера («О, Дельвиг, Дельвиг!») и надеждой на «бессмертие союза любимцев вечных муз», бросающей луч светлого катарсиса на холодные гробницы финальных песнопений симфонии...

Так или примерно так размышляла я и писала о Четырнадцатой симфонии в те памятные дни рубежа 60—70-х годов. И первая моя статья — «Композитор перед вечной темой» — была опубликована в Вестнике АПН «Культура и искусство» 22 октября 1969-го и вскоре перепечатана французским «Journal musical français» и другими журналами и газетами. Однако вторая статья о новой симфонии Шостаковича, написанная для «Комсомольской правды», лежала без движения... Только 11 февраля 1970 года под заголовком «Вечная, как само искусство» она была опубликована. Ей был предпослан красноречивый эпиграф: «Творить — значит убивать смерть». Ромен Роллан...

И случилось непредвиденное. Спустя несколько дней после выхода статьи, а точнее 16 февраля, мне позвонил Максим Шостакович и передал, что завтра, то есть 17-го, композитор может принять меня, если мне удобно, в 17 часов, на своей московской квартире. Зная, как серьезно был тогда уже болен Дмитрий Дмитриевич, помнится, я ужаснулась. До сих пор не понимаю, что побудило его пойти на эту встречу; удивительное ли его внимание к людям, порой даже очень ему далеким; стремление ли поощрить журналиста, свершившего свой ма-

ленький «подвиг» (впрочем, нет — такое трудно представить!); или обыкновенное любопытство к личности, так неожиданно возникшей на обозримом горизонте. Скорее всего — ни то, ни другое, ни третье, а что-то такое, о чем я никогда уже, к сожалению, не узнаю. Только была во всей этой истории какая-то болезненная нота, натяжка, дискомфорт.

С холодным трепетом и дико падающим куда-то вниз сердцем поднималась я в лифте на седьмой этаж в квартиру Шостаковича на улице Неждановой. И все заглядывала в свой журналистский блокнот, где под датой «17 февраля» были уже записаны какие-то тезисы, вопросы, наброски. Ах, боже мой, все это было не то, все это было нелепо и в высшей степени несущественно в сравнении с тем, что мне предстояло говорить с великим человеком, увидеть близко его глаза, ощутить движение его мысли.

Вот что предшествовало этой «гоголевской» сцене вокруг кресла.

А теперь мы уже сидим чуть успокоенные друг против друга и кто-то из нас должен «начинать». И вдруг я к ужасу своему ощущаю, что не могу вымолвить ни единого слова, потому что от него идет ко мне какая-то жгучая волна недовольства собой, чувства преждевременной вины за несовершенство еще не сказанных слов, еще не сделанных жестов. И он дико нервничает, как-то замыкается, отворачивается, нетерпеливо потирает руки, словно сердится, предчувствуя, сколько будет сказано «бесполезных» слов. Домашние туфли то и дело спадают с его беспокойных ног; и он вдруг резко нагибается всем корпусом, чтобы обеими руками еще раз водрузить их на место. Борьба с туфлями, однако, затягивается. И чтобы, по-видимому, компенсировать эту неудачу, он вдруг набрасывается на меня, прерывая, наконец, молчание и неловкость самым неподражаемым образом:

— Что это у вас? Блокнот? Пожалуйста, закройте его и спрячьте подальше. Надеюсь, у нас не интервью. Вся эта писанина, все интервью — никчемное дело. Вон сколько их напечатано, а что толку? Читаешь потом — совсем не те слова. Выбросить все это нужно. В корзинку! В корзинку! На свалку!..

И делает уничтожающе-сердитый жест рукой, отбрасывающей НЕЧТО. А потом вдруг, смягчаясь несколько, говорит:

— Я понимаю, конечно, что вы пришли ко мне не для того, чтобы поговорить о... хозяйстве.— И что-то вроде лукавой усмешки проходит по его лицу.— Но, понимаете ли, с тех пор, как в 1948 году меня уволили и я перестал преподавать в консерватории, я постепенно разучился говорить о музыке. Да и разве расскажешь о самом сокровенном?..

На какой-то миг в его голосе проскальзывает интонация мягкая, детски беззащитная, даже растерянная. Но через секунду он уже бросает сердитую реплику, сверкающую точно лезвием на солнце:

— О музыке, как о любовнице, не станешь распространяться! Не станешь, понимаете ли...

О! какое чудо — «сердитый» Шостакович! Весь он тут со своей музыкой, где хлесткость, раздевающая прямолинейность, отсутствие игры в красоту, угодливой боязни не понравиться,— оборачивается целой системой художественных средств. Трагед-

дня и сатира-гротеск — вот они рядом. Оказывается, свежи у него раны 1948 года, воспоминания о гонениях на космополитов и «формалистов-какофонистов» после пресловутого постановления ЦК ВКП(б) о музыке. Свежи, никогда не зарастали и не зарастут. Но, как поется в Тринадцатой симфонии на слова Евтушенко, «хотели юмор убить, а он показывал кукиш!». Сердитый и озорной, страдающий и обличающий Шостакович — композитор и человек — это одно лицо, одна-единственная всеобъемлющая личность. Только в нем уживаются рядом, составляя причудливый комплекс: доброта и беспощадность, непреклонный фанатизм и полудетская застенчивость, скорбная мина трагика и сатирическая гримаса фельетониста. Пожалуй, лишь у Шекспира так близко смыкались великое и смешное, трагедия и фарс.

Но Шостакович не любит высокопарных слов, высокопарных мыслей. Я чувствую это теперь здесь с ним рядом совершенно отчетливо. И начинаю почему-то думать, что моя статья о симфонии могла ему не понравиться, как могут не нравиться вообще всякие слова о музыке...

И все же разговор о «музыке-любовнице» каким-то образом сложился. На что он был похож? На рассеянную светскую беседу или дискуссионный клуб? На доверительные контакты или тайную дуэль, где бой идет, как говорится, до выяснения группы крови? Всего здесь было понемногу за этот час, что был отведен нам судьбой. Но более всего наш разговор напоминал хитроумную и, если хотите, увлекательную игру в тесты, которая тогда входила в моду. Кто ты есть? А ты кто? А ну-ка не выдумывай себя.

Что и говорить, мы были не в равных условиях. И все-таки Дмитрий Дмитриевич, несмотря на тщательно скрываемую угнетенность состояния, проявил «резвость» характера и определенный интерес и к предмету разговора, и к личности собеседника. Спрашивала не только я, но и он. А речь шла, главным образом, о вкусах и пристрастиях, о музыке современной и прошедших веков, о «влиятельных» фигурах композиторов-классиков, чья музыка не «застывает» и продолжает развиваться в наши дни. А в самом деле, не умер ли для современных композиторов-новаторов XIX романтический век?

— Да нет же, это все ерунда, что умер XIX век! — воскликнул Шостакович. — Он весь жив, как живы и XVIII, и XVII, и даже XVI века.

А потом, без всякого перехода, вдруг спросил:

— Вы любите Даргомыжского?..

— А вы кого любите?

И он, явно забавляясь этой детской игрой, повторил ставшую уже хрестоматийной фразу: «Я — эклектик; люблю всю музыку — от Баха до Оффенбаха!» И еще раз повторил: «От Баха до Оффенбаха!» — с упрямой рьяностью давно заученного школьного урока.

Ну кто не знает об этой замечательной «всеядности» Дмитрия Дмитриевича, созданной им самим для сокрытия своих очень четких, стойких и дифференцированных пристрастий? Никогда он не любил, например, ни Скрябина, ни Дебюсси и, что очень жаль, — не любил Рахманинова, особенно его фортепианные

концерты. И я натолкнулась на этот парадокс в нашей беседе, когда речь зашла о самых «живых» композиторах-классиках, бурно «прорастающих» в музыке новых поколений. Ведь как возрождается на наших глазах, например, Моцарт!

— Но кто мертвым родился, тот уж не возродится, — буркнул Шостакович и тут же умолк, загадочно блеснув очками.

Но стоило мне только упомянуть имя Рахманинова, как он вскинулся:

— Вот уж кто никогда особенно не влиял — ни раньше, ни теперь. У него, правда, есть хорошие романсы — «Сирень», например... А фортепианных его концертов я слышать не могу!

И стал сердито вновь напяливать на ноги спадающие «шлепанцы».

Тут мы чуть не поссорились. И позволив себе вслух с ним не согласиться, я осмелела достаточно, чтобы прокурорски спросить: «Кто ваши духовные отцы, Дмитрий Дмитриевич?»

А он злился и упрямылся и торопливой скороговоркой повторял свое излюбленное: «Я — эклектик! и на меня оказывали влияние решительно все!»

И только когда я все-таки уточнила: «Ну, а если обратиться к самым юным временам?» — Он на секунду задумался, а потом сказал твердо:

— Соллертинский. Иван Иванович Соллертинский. Он сформировал мое мировоззрение. Сейчас у нас его почти забыли. Мало что сохранилось из его наследия. Некоторые теперь изображают его этаким забавным рассказчиком-анекдотчиком. Мне это не нравится. Да, Соллертинский был музыкальным эрудитом, в основном устного дара. Но дара — гениального!

Меня поразила эта огромная тирада о друге-музыковед — свидетельство глубоких и неизменных чувств композитора. И в памяти моей возникло острое воспоминание военных лет, когда в Новосибирске, в день премьеры Восьмой симфонии Шостаковича нам, девчонкам-шестиклассницам, довелось услышать пламенное слово Ивана Ивановича о музыке Шостаковича, о его новом симфонизме, о праве художника на трагедию. И через несколько дней этот прекрасный лектор-музыковед умер, не дожив и до 42-х... Я рассказала об этом давнем единственном впечатлении Дмитрию Дмитриевичу и видела, как нарастает его волнение. Ведь в момент неожиданной смерти Соллертинского Шостакович жил в Москве и был совершенно сражен долетевшим из Сибири известием. И вскоре принялся за создание Трио памяти И. И. Соллертинского...

— А какую статью написал он об Оффенбахе! — вдруг добавил он мечтательно.

Мне показалось, разговор о Соллертинском растопил ледок отчужденности настолько, чтобы не бояться более ни острых слов, ни нелепых вопросов, ни резкого неприятия или несогласия. И наш диспут вступил в самый горячий круг. Речь зашла о творчестве молодых композиторов и их увлеченности новыми техническими системами. Я неосторожно упомянула о музыке «ортодоксальной» и музыке «авангардной», позабыв совершенно о жгучей ненависти Шостаковича ко всякого рода теоретической терминологии. Боже, что тут началось!

— Ортодоксальная музыка? Я такой не знаю! — кричит он, яростно потирая руки. — Авангард? — почти взвизгивает он. — Опять же, что это такое? Если то, что принято считать «авангардом» на Западе, то в большинстве случаев это ужасная гадость (так и сказал с каким-то присвистом «гадоссть»!). Если же говорить о нашем «авангарде», то опять-таки я не вижу никакого авангарда, а вижу сочинения хорошие и плохие.

Мы начинаем перебирать имена молодых композиторов, играть, так сказать, в детские тесты «нравится — не нравится», «плохой — хороший». И чем дальше, тем более становится ясно, как совестлив и человеколюбив добрый Дмитрий Дмитриевич, как ему ужасно не хочется кого-нибудь обидеть, о ком-то забыть упомянуть. Нет, лучше не заставляйте его перечислить всех композиторов, которых он любит, все новые произведения, которые ему понравились. «Список получится огромный!» — предупреждает он.

Но я уже знаю, что стоит только как бы невзначай натолкнуть Шостаковича на импонирующее ему явление, как он сам начинает говорить увлеченно, не опасаясь излишним вниманием, так сказать, возвеличить ту или иную фигуру. Нужно только найти предмет.

И предмет находится. А вернее будет сказать: он рождается как бы из механического перечисления. Вот он перечисляет фамилии интересных, с его точки зрения, молодых композиторов. Здесь и Борис Чайковский, и Сергей Слонимский, и Борис Тищенко, и Альфред Шнитке, и Родион Щедрин...

И вдруг — остановка. И вопрос:

— Вот вы говорите — «авангард»! А что такое, к примеру, Родион Щедрин? Авангард или не авангард? Но какое это имеет значение?

И, довольный возникновением этой пленительной фигуры, он продолжает увлеченно:

— Это очень талантливый композитор. Все его последние сочинения замечательные. И Вторая симфония, и Второй фортепианный концерт, и великолепная «Кармен-сюита», и «Поэтория», и, наконец, самое последнее сочинение — оратория «Ленин в сердце народном». Из-за болезни я не смог пойти в концерт, но дважды слушал ее в записи. Замечательное сочинение!

Я спрашиваю моего собеседника, как он относится к своеобразному тексту оратории, где использованы, помимо известного плача о Ленине народной сказительницы М. С. Крюковой, воспоминания бывшего латышского стрелка Бельмаса и какой-то фабричной работницы Наторовой. Нет ли в длинном умильном рассказе о пуговице, пришитой рукой простой работницы к ленинскому пальто, некоторой передержки, «заземления» образа?

— Может быть, мера слегка и нарушена, — задумывается Дмитрий Дмитриевич, но вдруг снова оживляется, вскидывается, словно натолкнувшись на искомую поправку. — Но знаете что? Не имеет значения, что речь идет о каких-то мелких бытовых подробностях. Вы читали когда-нибудь рассказы Зощенко о Ленине? Удивительные вещи! Рассказывается, казалось бы, о пустяках: как Ленин ходил в парикмахерскую, как плавал

в озере, как ел и разговаривал, как бросал курить... Вот почитайте, почитайте еще раз! И вы увидите, что образ при этом не принижается, а, напротив, возвеличивается!

И каким-то особенным театральным движением рук, словно подымая вверх и раскрывая тяжелый фолиант, мой собеседник зримо завершает свою мысль.

Этот жест я никогда не забуду. Он воплощает в моем представлении удивительную цельность и последовательность этого человека, сумевшего, несмотря ни на что, сохранить верность избранному еще в юности идеалам. И не только сохранить, но и продлить диалог с ними через десятилетия. Ленин, Зощенко, Соллертинский... Нет, не случайно возник этот ряд в нашем разговоре. И не ради какой-нибудь демократичности или красного словца к празднику. Все это был мир Шостаковича и его жизнь, которую он привык всегда в себе нести — всю, целиком, ничего не теряя.

Об этом, к слову сказать, поведала вскоре всему миру его последняя Пятнадцатая симфония, каждый элемент, каждый штрих которой имеет свою генеалогию в прежнем симфонизме Шостаковича. Вся эта поразительно автобиографическая музыка десятками тематических «пуговин» и композиционных приемов связана с изначальным революционным творчеством Шостаковича. А тема марша-нашествия из Седьмой симфонии, становящаяся постоянным ритмом контрабасов и литавр финала, звучит и в самых последних тактах коды — как дальний гул Земли, как последний «автограф» Шостаковича, растворяющийся в волшебных небесных звонах и улетающий навстречу вечному свету. А пленительная, точно парящая в высоте, светящаяся нежностью и чистотой мелодия скрипок из финала Пятнадцатой, эта тема красоты жизни — не родная ли она сестра поэтическому «послесловию» Тринадцатой?.. И даже цитаты из произведений Россини и Вагнера, при внимательном анализе, обнаруживают свое раннее происхождение в фактуре Первой и Шестой симфоний!

Нет, ни одной мысли, ни одной художественной находки, ни одной детали ритма, композиции, инструментовки не утратил на своем многотрудном пути Дмитрий Шостакович и лишь обрел в конце его высшее чувство гармонии, чувство Космоса, соединяющие навсегда Человека, Судьбу, Эпоху, становящиеся единой Историей.

...Дмитрий Дмитриевич сам провожал меня в коридоре. И снова смущенно извинялся за большие руки.

— Вы идете теперь в Большой зал? Слушать новый скрипичный концерт Цинцадзе? Прекрасный композитор! Завидую вам...

И уже закрывая за мной дверь, вдруг вспомнил почему-то, что еще может мне чем-то помочь. И выглянув еще на один миг, с ребячливой светлой улыбкой сказал: «Не забудьте нажать вон ту кнопку — и к вам приедет лифт...»

Я шла к улице Герцена, к Большому залу консерватории. Сердце билось где-то в висках. И в душу входило какое-то новое предощущение будущего, в котором не могло не быть Шостаковича и где жизненный и художнический подвиг его будет переосмыслен.

А у нас уж полдень: жадный клекот
чаек, атакующих прибор.
Стояло ли ехать так далеко,
чтоб отсюда говорить с тобой!

Чтобы здесь, в долине ярко-синей,
осознать, что дело мое — швах,
ибо нет умнее и красивей
даже на Курильских островах.

А воды и неба здесь излишек,
в километрах мерим глубину...
До свиданья.
Поцелуй детишек.
Не печалься.
Приголубь жену.

ЕЛЕНА НАУМОВА

==

Н. Рубцову

Он пошел по этажу,
Где безмолвно и безлико.
Там, где шутки, споры; крики
Не смолкают, я скажу.
Он добрался до окна.
Молча повернул обратно.
Чьи-то контуры и пятна,
Чьи-то тени бились на
Стенах и на потолке.
Вспомнил Джонатана Свифта.
Синий якорь на руке
Нес старательно до лифта.
Впрочем, лифтом пренебрег.
Год и месяц перепутав,
Огибая лилипутов,
Память мучил и берег.
С этой нспей непростой
С якорем, а не с короной
Он покинул дом пустой
Многолюдный, многозвонный...

==

День, как велогонщик, стартовал.
Подхватил поспешно и понес —
На гору отчаянно взмывал,
Бешено катился под откос.
Не успела глазом я моргнуть,
Звезды зажигаются в окне.
Освещая прожитый мной путь
И число, как номер на спине.

Все до последнего момента
 Хранит минувшего черта:
 Папирус, книга, перфолента,
 Магнитный диск и береста.
 Осталось лишь убрать пометки...
 Но все равно — глаза зальет
 Свет — ослепительный и яркий —
 Тому, кто после нас придет.

ОДИНОКИЙ

Вдоль по улице зеленой
 Шел мужик, авоську нес,
 На плече пригрел ворону,
 Бормотал себе под нос.
 Может быть, мужик молился
 На какой-то идеал,
 Может, просто матерился,
 Что закуску не достал?
 Со своей ручной вороной
 Он один на целый свет,
 И листок, сорвавшись с клена,
 Мягко ляжет в черный след.

ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА

Дождь колошматил, а ветер довел до угла.
 Далее шли три барака.
 Вдали было плоско.
 Съехав на землю, по-детски безвольно спала
 пьяная баба под куцым навесом киоска.
 А между тем пробегала уже молодежь
 на итальянскую ленту с названием «Невин-
 ный».
 Далее — дачи,
 и так незаметно пройдешь
 с хмурыми сумками путь этот долгий и длин-
 ный!..
 Право, невинный!
 А если ты в чем виноват,
 так ведь не в бабе,
 не в темном разврате умишек,
 так ведь не в этом — повторенном тысячу
 крат
 ряде прогнивших, продрогших, протухших
 домишек!
 Право, невинный!

А если виновен, то не
в этой бессмыслице, не —
опустив остальное —
в том, что гуляет по темной глухой стороне
глухой кастет, чтоб сказать тебе слово
стальное.

...Дождь между тем всю окрестность вбирал
и знобил,
ветер меж тем налетел, подхватил,
искорежил...

Право, невинный!
Но что ж ты так мало любил,
что ж ты упал
и уже от удара не ожил?

==

Безумцы, демоны, бунтовщики, слепцы,
лакеи, пьяницы, бродяги, гордецы
и незнакомки падшие — в собольих
мехах, ресницах ли — с глухой тоской в гру-
ди, —
вот, русская поэзия, гляди,
кто собеседник твой в твоих застольях.

От тех же слов, от этих же плодов,
из тех же язв, из этих же трудов
вы вместе кормитесь, из общей чаши пьете.
Все надкусив, все перебрав вокруг,
ты, как они, испытываешь вдруг
тоску пресыщенной и горделивой плоти.

И, отрывая взоры от стола,
срываешься из душного тепла
дыханий человеческих, чтоб в слякоть
перед лицом отчизны роковым,
почти как преподобный Серафим,
всю тыщу дней пробедствовать, проплакать!

Припасть к земле, склониться у креста
и лишь пред небом отворить уста...
Что ж и теперь — никак не позабудешь
весь этот сброд отверженных, больных,
несчастных сотрапезников твоих —
блудниц, калек, сирот, блаженных, чудил?

Как будто каждый может быть храним
твоею песней, приносимой к ним,
зовущей небо, океан и сушу
для оправданья каждого из них...
Так русский богоборчествует стих,
кладя за ближних собственную душу!

ФОТОССЕР

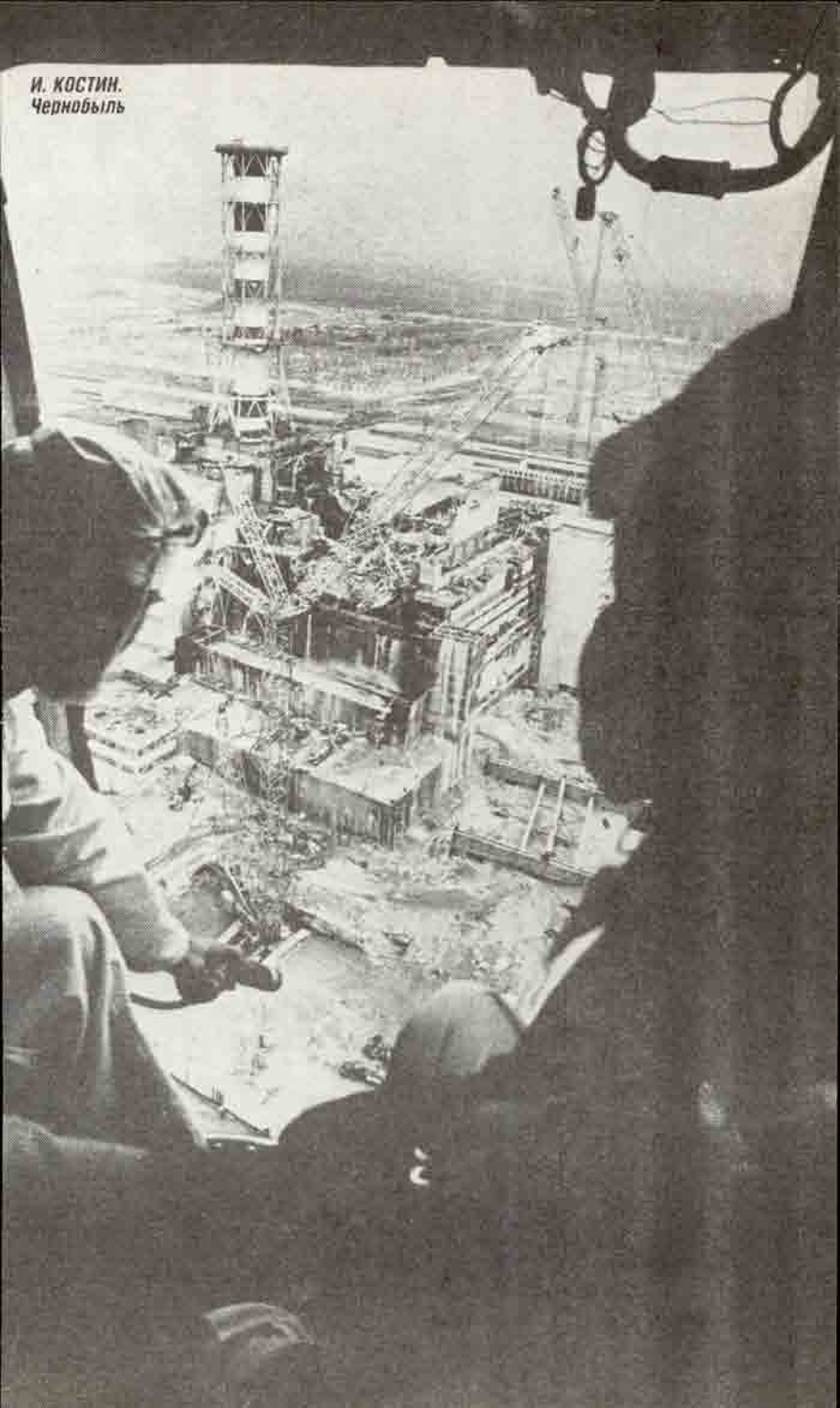


Из работ,
представленных
на Всесоюзной
фотовыставке

*Снятие памятника
Александру III
на площади
у храма
Христа Спасителя.
Москва, 1918 г.*



И. КОСТИН.
Чернобыль



Б. КАУЛИН.
Мужская работа





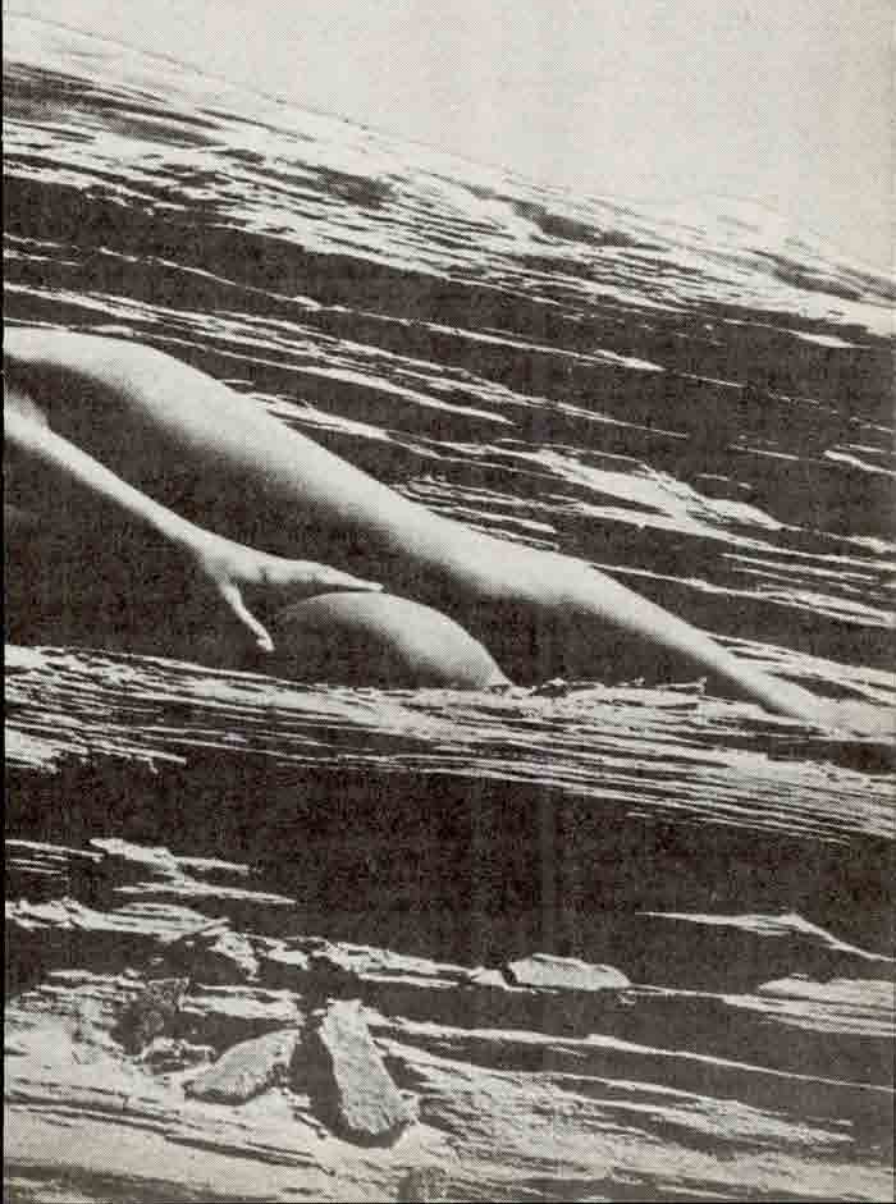




Л. ИВАНОВА.
Храм (из серии)



Р. ДЫХЯВИЧЮС.
Из альбома «Цветы среди цветов»



Б. МИХАЛЕВКИН.
Первое утро







А. КУДРЯВЦЕВ.
Хиппи



Р. КУКОЕ.
Легкий ветер

ЛУИЗА, ВЕРНИСЬ ДОМОЙ

ШЕРЛИ ДЖЕКСОН

242

Американская писательница Шерли Джексон (1919—1965 гг.) снискала славу и у себя на родине, и далеко за ее пределами, но, к сожалению, советскому читателю она мало известна.

Творческая манера Шерли Джексон привлекает глубоким проникновением в самые сокровенные уголки человеческой души и умением сочетать это с показом жизни современного общества, порой трагичной, а порой и страшной в самых, казалось бы, обыденных мелочах.

Рассказ «Луиза, вернись домой», посвященный острой проблеме «отцов и детей», включен в сборник «Пойдем со мной», изданный уже после смерти писательницы.

— Луиза,— оживает в динамике голос матери. И опять внутри смятение и страх.— Луиза, пожалуйста, вернись домой. Мы не видели тебя целых три года. Луиза, обещаю тебе, все будет хорошо. Нам тебя очень не хватает. Мы хотим, чтобы ты вернулась. Луиза, пожалуйста, вернись домой.

Я слышала это раз в год. В день своего побега. И каждый раз пугалась заново — ведь мольба так чужда ее бархатному голосу, и нотки эти стирались из памяти за целый год. Но я не пропускала ни одной передачи. Я читала в газетах: «Луиза Скван исчезла год назад», или два года назад, или три; я ждала 20 июня, словно дня рождения. Сначала я собирала все замет-

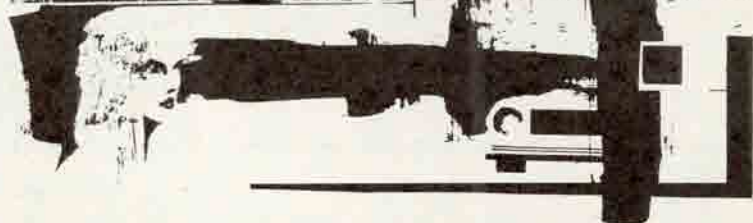
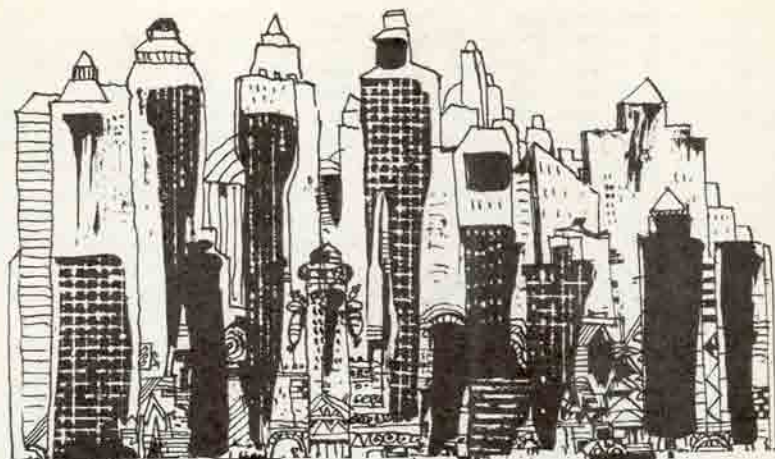


Рисунок ВЛАДИМИРА БУРКИНА

ки, разумеется, тайно — не хватало еще, чтобы кто-нибудь увидел, как я вырезаю с первой страницы собственное фото. Скрывалась я в Чендлере, довольно близко от бывшего дома, и тамошние газеты, естественно, пестрели заголовками о побеге. Но Чендлер — город большой, там есть где спрятаться, этим-то он меня и привлек.

Конечно, это не был минутный порыв. Я всегда знала, что рано или поздно сбегу, и планы составила на все случаи жизни. Расчет шел на удачу с первой же попытки, на вторую надеяться не приходилось, да и сестрица Кэрол станет позорить за неудачный побег. Признаться, канун свадьбы Кэрол я выбрала нарочно: представляю ее лицо, когда невеста недосчиталась одной подружки на собственной свадьбе. По сообщениям газет, церемония, несмотря ни на что, отменять не стали. Более того, Кэрол заявила репортеру, что таково было бы желание ее сестры Луизы. «Она ни в коем случае не собиралась портить мне свадьбу», — сказала Кэрол, хотя мою истинную цель понимала прекрасно. Готова поспорить: узнав о моем исчезновении, Кэрол тут же пересчитала свадебные подарки — стацила я что-нибудь или нет.

Возможно, я здорово испортила сестрице праздник, зато для меня все шло как по маслу. Дом ходил ходуном; все суетились, расставляли цветы, беспокоились, доставят ли в срок свадебное платье, вскрывали ящики с шампанским, решали, что делать в случае дождя, а я просто прикрыла за собой дверь и отправилась в путь. Жаль только — некстати встретилась с Полом. Он

живет по соседству уже целую вечность, и Кэрл ненавидит его даже больше, чем меня. Считалось, что Пол — соучастник любой моей проделки, за которые краснело все семейство. Они не сомневались, что Пол как-то связан с побегом, хотя он тысячу раз объяснял, как я пыталась улизнуть от него в тот день. Газетчики окрестили его «близким другом семьи», чем наверняка доставили матери неопишемую радость; Пола неоднократно допрашивали о «месте возможного пребывания Луизы Скван». Конечно, у него и в мыслях не было, что я ухажу насовсем; я подкинула ему ту же версию, что и матери перед выходом из дома: хочу, мол, отдохнуть от сутолоки и неразберихи, съезжу в город, может, схожу в кино. Он несколько минут не отпускал меня и просил подождать, пока сбегает за машиной, чтобы отвезти поужинать в «Таверну». Надо было побыстрее сматываться, и я вскочила в автобус, бросив Пола на дороге.

Не так уж важно, видел ли кто меня в местном автобусе, главное, что я выбралась из города. Раз купила обратный билет, значит, вернусь. Пускай ждут, зато испугаются не сразу, а я успею спрятаться. Потом оказалось, что мое стартовое преимущество было совсем ничтожным: Кэрл узнала о побеге в ту же ночь — зашла ко мне в комнату за снотворным. Но тогда я об этом не знала.

Обратный билет я хранила довольно долго. Носила в сумочке как талисман.

О ходе следствия я узнавала из газет. Мы с миссис О'Пава любили читать газеты, потягивая кофе перед моим уходом на работу.

— Как тебе эта девчушка, что пропала в Роквилле? — спрашивала миссис О'Пава. Я с сожалением покачивала головой: да, спятила девица, раз бросила такой приятный дом и достаток; может, и не сбежала вовсе, а родители упекли, поскольку она — маньяк-убийца. Миссис О'Пава очень привлекало все, связанное с манией убийства.

Однажды я взяла газету и стала долго и пристально всматриваться в фотографию.

— Вам не кажется, что она смахивает на меня? — спросила я у миссис О'Пава. Откинувшись на спинку стула, она посмотрела на меня, затем на фото, снова на меня и в конце концов изрекла:

— Нет. Впрочем, — прикинула она, — сделать тебе волосы подлиннее, личико покруглее, завивку... Может, и было бы отдаленное сходство. Но будь ты маньячка, я бы тебя на порог не пустила.

— А по-моему, мы очень похожи, — сказала я.

— Ступай на работу. Тщеславие — порок, — сообщила миссис О'Пава.

Разумеется, садясь в поезд, я совершенно не представляла, как скоро начнется погоня, но это и к лучшему: ведь могли сдать нервы, один неверный шаг — и все испорчено. Я знала, что они наверняка бросятся в Крейн — самый крупный город по нашей линии, поэтому провела там лишь несколько часов. Я отправилась на распродажу уцененных товаров — хотела

затеряться в толпе покупателей — и не ошиблась: найти человека на первом этаже крейнского универмага немислимо. На миг показалось, что здесь-то мое путешествие и окончится. Но толпа вынесла меня к нужному прилавку; толкаясь и вовсю работая локтями, я пробралась к приглянувшемуся плащу и буквально выхватила его из рук какой-то каракатицы: на ее телеса такой плащ все равно не напялить. Она так верещала, будто уже заплатила за него. А у меня наготове оказалось как раз шесть долларов и восемьдесят девять центов; я разжала кулак, отдала продавщице деньги, схватила плащ и пакет, в который она хотела его засунуть, и стала протискиваться к выходу, пока меня не затоптали.

Я не прогадала: носила этот плащ до самой зимы — хоть бы пуговица отлетела! Однако по весне я его потеряла — забыла где-то, вернулась, а его уже нет. Плащ был песочного цвета; я надела его в дамском туалете универмага и тут же легко произнесла: «Мой старый плащ». Словом, вещьца что надо. Прежде у меня такого плаща быть не могло, матери дурно бы стало. Потом я поступила весьма расчетливо. Из дома я вышла в легкой светлой курточке, похожей на пиджак; надевая плащ, я ее, естественно, сняла. Переложила мелочь из карманов куртки в карманы плаща и с безразличным видом отнесла ее на прилавок, где по единой цене — три доллара девяносто восемь центов — продавались всевозможные пиджаки и куртки. Сдаётся мне, трюк прошел незамеченным; не успела я отойти, как кто-то уже взял в руки мою куртку. Что ж, выгодное приобретение за три доллара и девяносто восемь центов.

Меня радовало, что от светлой куртки удалось отделаться. Покупала ее мать, и, хотя вещь была дорогая и нравилась мне, ее могли легко опознать. Засунь я куртку в портфель, брось в речку или на помойку, рано или поздно ее найдут, даже если в тот миг меня никто не заметит. Все равно найдут и узнают, что одежду я сменила в Крейне.

В деле о моем исчезновении светлая куртка так и не всплыла. Последним меня видел некто на вокзале в Крейне. Два или три дня спустя газеты все еще уверяли, что я в Крейне; людям мнилось, что я промелькнула на улице, одну девушку, покупавшую платье, отвели в полицию и продержали до выяснения личности. Да, они вправду искали, но искали они Луизу Скован, а Луиза Скован исчезла, как только сняла светлую куртку — подарок матери.

Я была уверена в одном: в стране живут тысячи девятнадцатилетних блондинок: рост 162,5 см, вес 57 кг. А если так, среди них наверняка найдется множество в бесформенных плащах песочного цвета. Выйдя из крейнского универмага, я принялась считать песочные плащи, насчитала четыре за квартал и решила, что замаскировалась неплохо. Потом я выполнила данное матери обещание: зашла в кафе, съела бутерброд и отправилась в кино. Торопиться некуда — чем искать место для ночлега, не лучше ли спать в поезде?

Вообще-то люди, как это ни забавно, не обращают друг на друга никакого внимания. В тот день я повстречала сотни

людей, один морячок даже пытался подцепить меня в кино, но по-настоящему меня никто НЕ ЗАМЕТИЛ. Попытайся я снять номер в гостинице — заметил бы портье, зайдя в дешевеньком плаще в дорогой ресторан — непременно бы вызвала подозрение, но я делала лишь то, что делали в тот день тысячи похожих на меня девушек в плащах песочного цвета. Только кассир на вокзале в Крейне мог меня запомнить, поскольку похожие на меня девушки обычно не покупают в одиннадцать вечера железнодорожные билеты. Но я и это предвидела заранее и билет купила до Эмитивилля, шестьдесят километров от Крейна; ехать в Эмитивилль я имела полное право — там есть колледж, огромный жужжащий улей, где мой плащ встретят как родной. Я убедила себя, что провела воскресенье дома, а теперь возвращаюсь в колледж. В Эмитивилль поезд прибыл за полночь. Скучая над кофе в станционном буфете, я поняла, что и теперь в моем поведении нет ничего странного, я насчитала семь девушек в похожих плащах — семь! — они приезжали и уезжали среди ночи, считая это самым обычным делом. Некоторые были с чемоданчиками, и я пожалела, что не купила в Крейне чемодан; впрочем, в кинотеатре я бы выглядела с ним нелепо, да и студентки себя обычно не обременяют: дома всегда найдется лишняя пара чулок и пижама, а зубные щетки отлично влезают в карманы этих бесценных плащей. Поэтому я на время отбросила мысль о чемодане, но дайте срок — понадобится и он. Я пила кофе и внутренне преображалась: только что я вернулась из дома в колледж, и вот я уезжаю из колледжа домой на пару дней. Войти в образ студентки было делом несложным — я все-таки успела поучиться, хотя и недолго. Вдруг вспомнилось: где-то сейчас путешествует письмо о моем отчислении из колледжа... Не стану отрицать: страх перед отцом, перед его гневом сыграл в моем побеге немаловажную роль.

Газеты разнюхали и это. Они решили, что я сбежала из-за истории с колледжем, но будь то единственная причина, я бы, конечно, осталась. Убежать я мечтала всю жизнь и, сколько себя помню, оттачивала планы — чтоб без сучка без задоринки. И они сработали.

В эмитивильском привокзальном буфете я изобретала предлог: почему я уезжаю домой в понедельник вечером. Вопросов мне никто не задавал, но ответ-то надо иметь заранее. Наконец, я решила, что у моей сестры свадьба и домой я еду, чтобы быть завтра подружкой невесты. В этом проглядывалась ирония судьбы. Не хотелось придумывать мрачные, страшные причины: заболевшую мать или попавшего в автокатастрофу отца — придется напускать грусть, а это уже подозрительно. Итак, я ехала к сестре на свадьбу. Прежде чем купить билет, я зашла в туалет и вытаскала из туфли еще одну двадцатидолларовую бумажку. От взятых из отцовского стола денег оставалось почти триста долларов; честно сказать, я не нашла места надежнее, поэтому большая часть лежала в туфлях. В кошелек я положила немного денег на ближайшие расходы. Ходить целый день на пачке банкнот достаточно трудно, но туфли были прочные, из

тех, что для удобства, а не для красоты. Как видите, все было спланировано безукоризненно, не упущена ни одна мелочь. Доверь мне Кэрол свою свадьбу — беготни, крика, истерик было бы куда меньше.

Билет я взяла до Чендлера, туда-то я и направлялась, это самый крупный город в нашей части штата. Хорош он тем, что жители Роквилля заглядывают туда крайне редко, если на то нет особых причин. Не устраивают их терапевты, дантисты, психоаналитики и ткани на платье из Роквилля или Крейна — они устремляются в главный город штата; Чендлер же — приличных размеров убежище, но в глазах роквилльцев отнюдь не столица.

Кассир в Эмитивилле, вероятно, перевидал на своем веку множество студенток, отъезжающих в Чендлер в любое время дня и ночи, он принял деньги и выдал билет — даже глаз не поднял.

Смешно. Они не могли миновать Чендлер, они просто обязаны были проверить везде и всюду, но приехать сюда по собственному почину! — нет, жителю Роквилля такое не уразуметь! Мне даже не померещилось ни разу, что меня здесь ищут. Разумеется, фотография была во всех газетах, но никто на меня и не взглянул. По утрам я отправлялась на работу, забегала в магазин, ходила в кино с миссис О'Пава, а летом на пляж — все совершенно безбоязненно. Вела себя, как все, одевалась, как все, даже думала, как все; за три года встретила из Роквилля только приятельницу матери, она возила своего пуделя на случку в чендлерский клуб собаководов. Впрочем, эту даму привлекали на улице лишь владельцы пуделей; когда она проходила мимо, я просто сделала шаг в сторону и осталась незамеченной.

Вместе со мной в поезд сели две студентки; кто знает, может, они тоже ехали к сестрам на свадьбы. Песочных плащей у них не было, но на одной был поношенный голубой пиджак, так что общей картины я не нарушала. Заснула я, как только тронулся поезд, вскоре очнулась — где я? почему? — но тут же все вспомнила и чуть не рассмеялась вслух посреди спящего вагона: Я ПОЧТИ У ЦЕЛИ. Потом снова заснула и открыла глаза уже в Чендлере в семь часов утра.

Итак, свершилось. Из дома я вышла накануне, после обеда, а в семь утра в день бракосочетания моей сестры была уже в такой дали невозвратной — ищи-свищи теперь! На устройство в Чендлере у меня имелся целый день, поэтому для начала я позавтракала в привокзальном ресторане, а затем направилась на поиски жилья и работы. В магазине, забитом всякой всячиной, я приобрела пару чулок и носовых платков и маленький дорожный будильник, сложила в чемодан и пошла дальше. Не волнуйся, не нервничай, и все окажется крайне просто.

Много дней спустя я спросила миссис О'Пава, могла ли эта самая Луиза Скван добраться до Чендлера, — мы в очередной раз читали о моем исчезновении.

— Ну уж нет. Здесь пишут, что ее похитили. И я с этим абсолютно согласна. Похитили и убили, да еще и изнасиловали в придачу.

— Похитили? Но разве за нее требовали выкуп?

— Они тебе напишут что угодно.— Миссис О'Пава с сомнением покачала головой.— Откуда нам знать, может, эта семейка что-то скрывает? А если ее похитил маньяк, так ему никакого выкупа не надо. Ты по молодости еще многого не понимаешь.

— Мне ее почему-то жаль...

— Кто их разберет, может, она с ним по своей воле пошла.

В то первое утро в Чендлере я не знала, что самая большая удача выпадет в тот же день: я набреду на миссис О'Пава. За завтраком я разработала такую версию: девятнадцать лет, добропорядочная семья в северной части штата, накопила денег для учебы на секретарских курсах при коммерческом училище в Чендлере. Придется найти какую-нибудь работу, чтобы себя прокормить, занятия на курсах начнутся только осенью, а летом можно работать, откладывать деньги и окончательно решить, хочу ли я в самом деле стать секретаршей. Если Чендлер окажется мне не по душе, я смогу уехать, как только поутихнут страсти, связанные с побегом. Плащ мой не очень-то годился для трудолюбивой самостоятельной девушки, поэтому я сняла его и перекинула через руку. Одежду я продумала довольно точно. Выходя из дома, надела строгий серый костюм. С белой блузкой он выглядел не броско, но стоило изменить две-три детали: подобрать другую блузку или нацепить на лацкан брошь,— и облик менялся. Пока костюм вполне подходил будущей секретарше: плащ на руке, чемодан — сотни таких девиц высypают из поездов каждое утро. Я купила газету и в кафе, за чашкой кофе, просмотрела колонку «Сдается внаем». Бармен объяснил, как пройти на улицу Роз, но даже не удостоил меня взглядом. Ему было ровным счетом наплевать, доберусь ли я до улицы Роз, но он вежливо рассказал, как туда проехать. На самом деле экономить было вовсе не обязательно, но не брать же такси девушке, которая откладывает деньги на учебу.

— Мне никогда не забыть, как ты выглядела в то утро,— призналась однажды миссис О'Пава.— Я с первого взгляда поняла: эта из тех квартирантов, которых я люблю,— тихая, воспитанная. Но ты была так напугана большим городом.

— Да нет, я не боялась. Просто волновалась, найду ли хорошую комнату. Мама дала столько напутствий — все и не выполнишь.

— Пусть любая мать зайдет ко мне в дом — она признает, что ее дочь в хороших руках,— изрекла миссис О'Пава с достоинством.

И это была чистая правда! Переступите порог дома миссис О'Пава на улице Роз и взгляните на его хозяйку — да лучше ничего и придумать нельзя, я словно и это спланировала заранее. Дом старый и уютный, комната моя прелестна, а мы с миссис О'Пава поправились друг другу с первого взгляда. Хозяйка одобрила мою матушку, наказавшую мне найти хорошую комнату в тихом районе, но еще больше она одобрила меня, узнав про накопленные деньги и секретарские курсы, а главное, что я хочу найти работу с приличным заработком и каждую

неделю отсылать понемножку домой. Миссис О'Пава полагала, что дети должны возместить родителям хоть малую толику своего неоплатного долга. Не прошло и часа, как хозяйка уже знала подробности о моей воображаемой семье: мать-вдова, сестра недавно вышла замуж, живет у нас дома вместе с мужем, есть еще младший братишка Пол, за него-то матушка больше всего тревожится, никак он делом не займется. Звали меня Лоис Вольнер. Впрочем, назови я свое настоящее имя, миссис О'Пава вряд ли усмотрела бы связь с побегом; к этому времени она была уже заочно знакома со всей семьей и требовала передать матушке в первом же письме, что миссис О'Пава лично отвечает за мое благополучие в этом городе и справится не хуже родной матери. В довершение миссис О'Пава вспомнила о вакансии продавщицы в ближайшем магазине. Не прошло и суток после моего ухода из дома, а я была уже совершенно другим человеком. Меня звали Лоис Вольнер, я проживала на улице Роз и работала в магазине неподалеку.

Однажды газеты сообщили, что какой-то знаменитый прорицатель предложил отцу свои услуги. Он утверждал, что, согласно астральным знакам, меня следует искать рядом с цветами. Жила я на улице Роз, и на меня это произвело сильное впечатление, но отец, а также миссис О'Пава и миллионы других людей решили, что я где-то похоронена. Пустырь у вокзала в Крейне перекопали вдоль и поперек: там меня видели в последний раз. Миссис О'Пава очень расстроилась, когда ничего не нашли. Мы с ней никак не могли прийти к единому мнению: то ли я сбежала с гангстером, чтобы стать наводчицей, то ли тело мое, изрезанное на куски, лежит где-то в сундуке. Поиски в конце концов прекратились; правда, изредка появлялся ложный след, но годился он лишь на короткую заметку на последней странице; мы с миссис О'Пава переключились на рискованное ограбление чикагского банка. В годовщину побега — год как один день! — я купила новую шляпку и пошла в ресторан, а домой явилась как раз к вечерним новостям, когда по радио впервые зазвучал голос моей матери.

— Луиза, — говорила она. — Пожалуйста, вернись домой.

— Бедняжка, — сказала миссис О'Пава. — Ты только представь, каково ей. Она-то все надеется найти свою дочку живой и невредимой.

— Вам нравится моя новая шляпка?

На курсы я решила не поступать: магазин наш процветал, теперь при нем были еще и библиотека, и отдел подарков, которым заведовала я; при попутном ветре я могла в будущем стать владелицей всего магазина. Мы обсудили это с миссис О'Пава — словно она и в самом деле была моей матерью — и решили, что от добра добра не ищут. Накопленные деньги лежали в банке; мы с миссис О'Пава мечтали соединить наши сбережения: купить машину или отправиться в какое-нибудь путешествие.

К чему эти подробности? Чтобы стало ясно: я была свободна, жила отлично, а уж о возвращении и вовсе не помышляла. Угораздило же меня однажды встретить Пола! К тому времени

я и думать забыла о доме, разве только наткнулась в газете на очередную заметку; но, видно, в подсознании они засели крепко — я просто остановилась посреди улицы и, ни секунды не раздумывая, окликнула:

— Пол!

Он обернулся; я, конечно же, поняла, что натворила, но было поздно. Пол внимательно посмотрел на меня и нахмурился, он явно силился что-то вспомнить, а вспомнив, сказал:

— Не может быть!

Он убеждал меня вернуться. Грозил навести их на след, если не поеду с ним сразу. Гладил по голове, объяснял, что в банке по-прежнему лежит вознаграждение для нашедшего Луизу Скотт, он только получит деньги и отпустит меня на все четыре стороны: убегай куда угодно хоть каждый день.

Может, я и хотела вернуться. Может, все это время я тайне от самой себя ждала возможности вернуться и именно поэтому окликнула Пола на улице. Такое случается раз в тысячу лет: Пол до этого никогда в Чендлере не был, да и тогда просто пересаживался на другой поезд, вышел с вокзала на пару минут и нашел меня. Не пройди я в то мгновение мимо, останься он на вокзале дожидаться своего поезда, я бы не вернулась никогда. Миссис О'Пава я сказала, что еду на север навестить своих. Меня это даже позабавило.

О том, что я наплась, Пол сообщил моим родителям телеграммой; домой мы летели на самолете — Пол все еще боялся, что я снова исчезну, и самым надежным местом считал самолет, оттуда по крайней мере не сбежишь.

Нервы у меня сдали по дороге из роквилльского аэропорта. Могу поклясться, что этот город, эти знакомые с детства улицы, магазины и дома я не вспомнила за три года ни разу, но сейчас все нахлынуло, обступило, а Чендлер с его домами и улицами потускнел и забылся, словно я никогда и не уезжала. Когда таксист свернул на родную улицу и глазам открылся огромный белый особняк, я чуть не расплакалась.

— Ну конечно же, я хотела вернуться, — сказала я, и Пол засмеялся. Я вспомнила про обратный билет, как хранила его будто талисман и все-таки выбросила, разбирая сумку. Я выбрасывая, задумалась, не буду ли жалеть...

— А здесь все, как раньше, — сказала я. — На этом углу я тогда села в автобус, а тут мы встретились с тобой.

— Эх, не удалось мне тебя остановить. Может, ты и попытаешься больше не стала.

Такси подъехало к дому; я вылезла, ноги совсем ватные. Схватив Пола за руку, я прошептала:

— Пол... погоди минутку.

Но он лишь зыркнул в ответ: только попробуй подвести, ты это попомнишь. Меня била такая дрожь, что Полу пришлось вести меня к дому, обняв за плечи.

Интересно, смотрели они из окон или нет? Вообще родители наверняка чувствовали себя не в своей тарелке: они привыкли соблюдать приличия и беречь собственное достоинство. Вот миссис О'Пава выскочила бы встречать к воротам, а сейчас парад-



ная дверь была еще заперта. Видно, придется звонить, впервые звонить в дверь этого дома. Но тут на пороге показалась Кэрол.

— Кэрол! — Я была в ужасе: она так постарела, впрочем, прошло три года, она тоже скажет, что я изменилась.

— Кэрол! — произнесла я снова. — Боже мой, Кэрол! — Я и в самом деле рада была ее видеть.

Кэрол окинула меня суровым взглядом и отошла, за ней оказались мать с отцом, они ждали, пока я войду. Не задумайся я на мгновение, как себя вести, я бы бросилась к ним, но было неясно, сердятся они, обижены или просто безумно рады меня видеть; задумавшись, я так и осталась на пороге и как-то неуверенно сказала:

— Мама?..

Она подошла, положила руки мне на плечи и стала всматриваться долго, пристально. По щекам ее бежали слезы, но если раньше я тоже готова была заплакать, то теперь едва сдерживала дурацкий смех, хотя плакать подобало именно сейчас. Мама была грустная и старенькая, а я стояла дура душой. Вдруг она повернулась к Полу и сказала:

— Ах, Пол, ты снова вздумал мучить меня?

Пол не на шутку испугался:

— Но миссис Скован...

— Как вас зовут, милая? — спросила меня моя мать.

— Луиза Скован, — тупо ответила я.

— Нет, милая. — Она говорила очень мягко. — Ваше настоящее имя.

Теперь мне уже хотелось плакать, но вряд ли это могло помочь.

— Луиза Скован, — повторила я. — Мое имя Луиза Скован.

— Люди, ну почему вы никак не оставите нас в покое! — закричала побледневшая Кэрол, ее трясло как в лихорадке. — Мы столько лет ищем мою пропавшую сестру, а вы все время пытаетесь вытянуть из нас деньги! Неужели у вас нет ничего святого? Вы видите, где бы пожить, а для нас это снова боль!.. Оставьте нас наконец в покое!

— Кэрол, — вмешался отец. — Ты испугаешь девушку. Голубушка, — обратился он ко мне, — вы, видимо, не осознаете всей жестокости вашего поступка. Мне кажется, вы хорошая девочка, ну, представьте свою родную мать...

Я попыталась представить свою мать — она стояла прямо передо мной.

— ...если бы кто-нибудь вот так же поступил с нею. И вы, вероятно, не знаете, что этот молодой человек уже дважды, — я перевела взгляд с матери на Пола, — приводил сюда юных особ, выдававших себя за нашу дочь. Причем каждый раз он утверждал, что его ввели в заблуждение, а о деньгах он и не думал. А мы каждый раз тщетно надеялись. Первый раз нас водили за нос несколько дней. Девушка не только походила на нашу Луизу, у нее были в точности те же жесты, она знала все семейные шутки и мельчайшие подробности, которые, кроме Луизы, никто просто не мог знать, и все же она оказалась интриганкой. А мать — моя жена — слишком переживает, ко-

гда вновь вспыхивает надежда.— Он обнял жену за плечи, и все они, включая Кэрол, стояли и смотрели на меня.

— Послушайте.— Пол словно обезумел.— Пусть она попробует, пусть она докажет...

— Каким образом?— спросила Кэрол.— Я уверена, что спроси я ее, положим... какого цвета платье ей сшили к моей свадьбе...

— Розовое,— сказала я.— Я хотела голубое, но ты настояла на розовом.

— Я уверена, что ответ будет верным,— продолжала Кэрол, будто я ничего и не говорила.— Пол, те две, которых ты приводил раньше, они обе знали.

Все бесполезно. Мне следовало это предвидеть. Они так привыкли меня искать, что готовы заниматься этим всю жизнь, вместо того чтобы принять меня в дом; возможно, я им вообще уже была не нужна... А может, взглянув мне в лицо, моя мать увидела в нем лишь Лоис Вольнер, а от прежней Луизы не осталось и следа?

Мне было жаль Пола, он никогда не знал их, как я, и наивно считал, что уговорит, заставит их раскрыть объятия, закричать: «Луиза! Нашлась наша дочь!» — а ему торжественно вручат приз, и все заживут счастливо до самой старости. Пока Пол пытался переспорить отца, я сделала несколько шагов и заглянула в гостиную. Побывать здесь хоть чуть-чуть мне, понятное дело, не дадут, а так хотелось увезти с собой какое-нибудь воспоминание о прошлом. Сестрица Кэрол следила за мной в оба. Интересно, что стащили те две девицы, что побывали здесь до меня? Кэрол, Кэрол, следить за мной надо было три года назад: красть из отчего дома сподручнее, покидая его. Но сейчас, как и тогда, мне ничего не нужно. Мне хочется лишь одного — остаться, хочется так сильно, что я готова кричать, вцепившись в перила лестницы; такая вспышка могла, конечно, вернуть им мимолетное воспоминание о дорогой потерянной Луизе, но вряд ли после этого меня пригласят остаться. Я вочию представила, как меня выволакивают из родного дома, а я кричу и отбиваюсь.

— У вас очень приятный старый дом,— вежливо обратилась я к Кэрол, не спуская с меня глаз.

— Здесь сменилось несколько поколений нашей семьи,— ответила она не менее вежливо.

— Такая красивая мебель,— сказала я.

— Моя мать собирает антиквариат.

— Отпечатки пальцев! — кричал в это время Пол. Я поняла, что мы собираемся нанять адвоката, вернее, Пол считал, что мы найдем адвоката, но мы-то этого делать не будем. Бедный Пол! Ни один адвокат в мире не заставит мою мать, моего отца, мою сестру Кэрол принять меня в дом, если они твердо решили, что я не Луиза. Разве закон может заставить мать узнать родную дочь, взглянув ей в лицо?

Надо было как-то остановить Пола, ведь это безнадежно. Я подошла ближе и обратилась к нему:

— Пол, ты только раздражаешь мистера Сквана, вот и все.

— Совершенно справедливо, голубушка.— Отец взглянул на меня одобрительно, решив, видимо, что я разумное существо.— Своими угрозами он делает хуже только себе.

— Пол,— сказала я.— Нам здесь делать нечего.

Пол открыл было рот, но, кажется, впервые в жизни одумался вовремя и затопал к двери. Я направилась за ним — кто бы мог подумать, что великое возвращение ограничится прихожей отчего дома. В это мгновение отец, прощу прощения — мистер Скван, подошел ко мне сзади и взял за руку.

— Моя дочь была моложе вас,— сказал он мягко.— Но и у вас наверняка где-то есть семья, они любят вас и желают вам счастья. Возвращайтесь к ним, голубушка. А от этого человека держитесь подальше, это злой и никчемный тип, советую вам как отец. Возвращайтесь к себе домой.

— Уж мы-то этого хлебнули вдоволь: волнуясь за дочь, гадай, где она,— сказала моя мать.— Возвращайтесь к тем, кто вас любит.

Это, вероятно, относилось к миссис О'Пава.

— Мы поможем вам оплатить проезд,— сказал отец.— Чтобы вы добрались благополучно.— Я попыталась отдернуть руку, но он все-таки всунул мне сложенный чек.— Надеюсь, кто-нибудь сделает это и для нашей Луизы.

— До свиданья, моя милая.— Мать потрепала меня по щеке.— Всего вам лучшего.

— Желаю, чтобы ваша дочь когда-нибудь вернулась,— сказала я.— Прощайте.

Чек на двадцать долларов я отдала Полу. Да и этого маловато за его старания. Меня же ждала работа в магазине. Мать по-прежнему взывает ко мне по радио в очередную годовщину побега.

— Луиза,— говорит она.— Пожалуйста, вернись домой. Мы так хотим, чтобы наша девочка была с нами, ты всем нужна, нам тебя очень не хватает. Отец и мать любят тебя и никогда не забудут. Луиза, пожалуйста, вернись домой.

**Перевод с английского
ОЛЬГИ ВАРШАВЕР.**



«ШЕСТЁРКА БУБЕЙ»

Заметки
о выставке
молодых
художников

**ОЛЬГА
СМИРНОВА**

Они определяют свое творчество как «традиционное новаторство», отсекая тем самым вопросы о принадлежности к официально признанным течениям. Афиша их первой совместной выставки не случайно напоминает огромную игральную карту — шестерку бубей. Их художественный и духовный кумир — известная группа художников начала века «Бубновый валет».

Они — это молодые художники:

Игорь Ермолаев, Иван Карамян, Андрей Ким, Татьяна Ляхович, Юрий Павлов и Сергей Сафонов, чья выставка в конце прошлого года прошла в выставочном зале Тимирязевского района Москвы.

Программа «Шестерки бубей» достаточно проста: творческое осмысление наследия прошлого, противостояние официозному искусству; неприятие конъюнктуры, обращение к нравственным и художественным задачам живописи. Молодые художники наследуют основной творческий принцип группы «Бубновый валет» — полное, широкое приятие действительного мира, утверждение живописного начала в натюрморте, пейзаже, портрете, жанровой композиции. Сегодня, когда в живописи узаконена чехарда определений и терминов, когда начисто размыто понятие профессионализма, позиция «Шестерки бубей» представляется истинной, жизнеспособной, просто здоровой, наконец.

Творческая судьба молодых художников до их первой совместной выставки складывалась не так уж плохо. Внешняя атрибутика успеха не обошла их стороной. Так, четверо из шестерых — члены молодежного объединения МОСХа, многие принимали участие в выставках. Но, как считают ребята, это меньше всего имеет отношение к живописи, к творчеству, да и успехом, если быть откровенными, называться не может.

Не буду раздавать бессмысленных комплиментов, скажу лишь, что работы «Шестерки бубей» действительно интересны. Они неоднозначны, в них подкупают внутренняя свобода, эмоциональность...

Из группы молодых художников И. Ермолаев, быть может, самый непредсказуемый, владеющий искусством портрета, натюрморта, пейзажа. Одна из его работ назы-

вается «Против света». Художник действительно умеет видеть против света, замечая в жизни, предметах, людях образное существо. Его «Девочка с мышкой» не традиционный портрет, а образ молодости, гармонии, света. «Шагающий ангел» — фигура безусловно трагическая, и каждый шаг печального ангела по этой грешной земле отдается в нашем сердце набатым звучанием.

Сергей Сафонов и Татьяна Ляхович отдают предпочтение натюрморту и пейзажу. И здесь можно говорить о последовательности освоения художниками специфики и законов жанра. Но это не формальные поиски. Если у Т. Ляхович еще очень сильно чувствуется влияние бубнововалетцев («Сирень в Дунино», «Дагестанский натюрморт»), то С. Сафонов идет дальше и, творчески усваивая открытия учителей, ставит перед собой совершенно оригинальные задачи. Он умеет, как, например, в «Натюрморте» (1987 г.), изображая самые простые вещи, подчинять их закономерностям композиции, внутреннему ритму. Он воспринимает действительность полно, сюжеты менее всего предметны, скорее стремятся передать определенное состояние человеческой души. Подкупает в его работах умение вызвать целый комплекс эмоциональных впечатлений, ассоциаций.

Такой гармонии лишены работы Ивана Карамяна и Юрия Павлова. Да иначе и быть не может, художники действительно очень разные. Ощущение мира Ю. Павловым драматично, конфликтно, почти театрально. Одна его работа так и называется «Драматургический конфликт». В ней смещение объемов, силуэтов, и центр композиции — страшное, манящее своей зияющей тайной пурпурное пространство. Что это? Пьеса или жизнь,

правда или вымысел? Кто здесь актер, кто персонаж, кто жертва? Герои картин художника всегда находятся в конфликтных отношениях с миром. Конфликт подчеркивает осознанная целенаправленность композиций. Работы Ю. Павлова тоже рождают звуки, но совсем иные. Это яростная какофония, оглушающая литавров медь, гневные аккорды гитары.

Для И. Карамяна характерно отсутствие привязанности к определенным жанрам. Он свободно владеет различной живописной техникой, оригинально умеет выстраивать сюжет. Его работы существуют как бы в двух измерениях — элемент ирреального, надбытового присутствует почти в каждой из них. Будь то лирическая «Грезы», или «Белый ангел над Сретенкой», «Лесной бой» или «Унесенный пейзаж». Духовная наполненность картин, тщательная разработка художественных образов, — пожалуй, главная отличительная черта его творчества.

Быть может, менее всего влияние «Бубнового валета» испытал Андрей Ким. Его работы разительно отличаются от всех остальных, представленных на выставке. Он пишет легко и свободно, в интеллектуальной живописной манере, принимает опыты с цветом. Но и форма, композиция не остаются без внимания. Для А. Кима характерен сложный, метафорический язык. Его работы «Диалог», «Охота на рыб», «Люблю. Полная луна» оказывают на зрителя особое эмоциональное влияние, хотя для меня его работы скорее рассудочны, философски завершены, мастерски выстроены, чем созданы спонтанно.

Итак, первая выставка «Шестерки бубей» позади. Группа продолжает работать. Пока, как говорят писатели, «в стол». А как хотелось бы встретиться снова...



ИВАН КАРАМЯН. Две русалки.
СЕРГЕЙ САФОНОВ. Натюрморт с белым чайником.

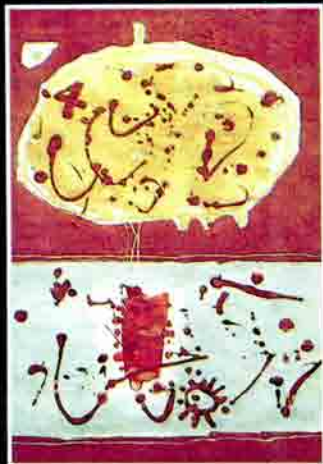




ИГОРЬ ЕРМОЛАЕВ. Шагающий ангел.

ТАТЬЯНА ЛЯХОВИЧ. Мечеть.





АНДРЕЙ КИМ. Вверх, до самых высот!!!
ЮРИЙ ПАВЛОВ. Гурзуфские коты.





ПОЛОСА

Когда Варя Зеленская впервые спустилась на лыжах с горы — она сама не помнит.

Ничего удивительного. Ей было тогда всего три года.

А в пять лет мама привела ее в горнолыжный клуб «Эдельвейс». Варя надела... галоши. (Детишки-новички в «Эдельвейсе» пользуются укороченными лыжами, на которых закреплены галошки.)

Волшебные они, эти галоши, что ли? Все чаще воспитанники «Эдельвейса» входят в сборную страны. Наташа Буга была чемпионкой СССР. Варя Зеленская с пятнадцати лет выступает за нашу главную команду. Стала чемпионкой страны среди юниоров.

И мастером спорта международного класса. На одном из этапов Кубка мира вошла в первую десятку — это успех, ежели учесть скудные виктории наших горнолыжников.

Сладкие плоды спорта Варя стала пожинать сейчас, в восемнадцать. (Я беседовал с ней, встретив в Шереметьево — она возвращалась из Вены...) Между пятью и восемнадцатью трудно и малозаметно росло ее

мастерство. Растили, пестовали Вареньку знаменитые на Камчатке тренеры «Эдельвейса» Людмила и Герман Аграновские. (Оба альпинисты и горнолыжники, Людмила покорила — единственная женщина в стране — пять памирских «семитысячников»...) Аграновские вот чего придумали: не только приемам спуска своих питомцев обучать, но и использовать их на всяческих подсобных работах — склоны расчищать, территорию убирать, здание клуба строить. Трудолюбие воспитывают.

Варя не бежала от работы. Миновали ее травмы (тьфу-тьфу, не сглазить бы!). И раз за разом мчалась она, оставляя шлейф белой пыли, по снежнику вулкана Козельский...

Правда, тренеры сборной говорили: Зеленской лучше бы в волейбол уйти или же в баскетбол — с ее-то ростом и мощностью... Но она все неслась по склонам — и выигрывала.

Девочки из команды дивятся упорству, упрямству Варвары. И называют ее не очень-то парламентски: «упертая». Неслабое качество для спортсмена — «упираться».

А тренер, Людмила Семеновна

СЕРГЕЙ ЖОЛУС
Фото автора

ВЕЗЕНИЯ

Аграновская, полагает, что Варя — очень добрый человек. Свойство, для окружающих приятное, а для спортсмена — полезное. Оно, считает Аграновская, помогает Вале прощать и забывать обиды, а значит, быстрее расслабляться и восстанавливаться перед новым стартом.

В родном Петропавловске-Камчатском бывает она от силы два месяца в году. Надо сдать зачеты на истфаке педагогического (любовь к истории у нее проистекла от чтения исторических средневековых романов, а новейшая история, считает Варя, чересчур запутана и там, увы, так мало романтики)... Приятно угостить родителей и брата пирожными по новому рецепту (а самой не съесть — держи вес, напоминает тренер).

Но самое приятное — промчаться по знакомому до деталей склону не на скорость, а просто так.

И Варя занимает очередь к подъемнику.

Потом стоит на вершине и смотрит на бухту.

Отталкивается и летит к океану...

ПРОВИ МД

ИЗ СВОДКИ МВД СССР: 28 октября 1989 года двое пятиклассников воронежской школы нашли оставшийся со времен войны артиллерийский снаряд. Когда они стали его обезвреживать, снаряд взорвался... Оба мальчика в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Прокомментировать эту информацию редакция попросила заместителя руководителя рабочего аппарата особой комиссии ЦК ВЛКСМ Виктора КРИВОПУСКОВА:

— Случай, увы, типичный. Ежегодно в стране гибнет от мин и снарядов, оставшихся со времен Отечественной войны, около ста человек, главным образом детей. И всякий раз Министерство обороны представляет происшедшее как трагическую случайность, хотя уже впору говорить о закономерности.

Сейчас при сокращении армии Минобороны расформирует и саперные подразделения и даже списывает собак, помогавших обезвреживать мины в Афганистане. «Списывать» — надеюсь, понятно, что это значит по отношению к собакам?.. Между тем около пятидесяти краев и областей страны, в которых шли боевые действия, требуют разминирования. В Калужской области близ деревни Кремьянки — лес пло-

РЕНО : НЫ ЕСТЬ !

щадью тринадцать на пятнадцать километров, в который никто не ходит,— он полон мин. И подобных мест в европейской части страны множество. Министерство обороны делает, конечно, кое-что. Но такими темпами, что мы и через сто лет не обезопасим всю нашу территорию. Более того, ситуация во «взрывоопасных» областях замалчивается, а зачастую просто нет данных, где и сколько еще осталось заминированной территории.

В такой ситуации мы предлагаем: **во-первых**, привлекать к саперным работам военных специалистов, которые служат в местах, не затронутых минувшей войной,— на Урале, в Средней Азии, в Сибири,— передислоцировать их на время в европейскую часть. **Во-вторых**, необходимо создавать отряды по разминированию из воинов запаса, привлекаемых на сборы. **В-третьих**, практику курсантов, главным образом саперных училищ, хорошо бы проводить на местах бывших боев. **В-четвертых**, очень хотят помочь этому делу воины-интернационалисты, особенно те, у кого есть опыт разминирования в Афганистане. Однако к ним Министерство обороны относится пока снисходительно-подозрительно.

Год назад было принято совместное постановление ЦК ВЛКСМ и Министерства обороны об улуч-

шении работы поисковых молодежных отрядов. В нем говорилось и о том, что надо создать военизированные отряды из числа воинов запаса, чтобы они на сборах могли заняться реальным делом — разминированием мест прежних сражений. Генеральный штаб должен был выйти в Совет Министров с ходатайством по этому вопросу. И что же? Генштаб пока не сделал ни единого шага.

...А пока на места бывших боев приходят «черные следопыты». Они собирают гранаты и автоматы, и на улицах наших городов звучат взрывы и выстрелы: оружие образца сороковых еще вполне пригодно.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы поддерживаем предложения Виктора Кривоусова и ждем официального ответа от Министерства обороны СССР.

Пророчества суровой болгарки Ванги, НЛО, сатанические сеансы Кашпировского, заряженная вода Алана Чумака, чудо-руки волшебницы Джуньи... Немыслимо переварить, постичь умом весь поток доброй и злой «чертовщины», ежедневно обрушивающейся на наши головы. Но переваривать — куда деваться? — приходится...

...У порога меня встретила красивая собака — колли. По тому, как встречает она посетителей, хозяин узнает, с чем пришел человек. Обо мне тоже «просигнализировала»: не пациент...

Закрываются двери, и я перед невысоким, крепким человеком с черной бородкой и глазами Вольфганга.

Николай Константинович Кузьменко к экстрасенсам себя не относит, считая это понятие весьма расплывчатым. Он биотерапевт. Говорить не любит, но паузы, когда обдумывает ответ, тянутся долго — ждешь с нетерпением продолжения удивительного рассказа...

Началось все это в 1970 году, когда Кузьменко побывал на сеансе гипноза. Просто так, шутки ради, попробовал сам. После первых положительных результатов занялся этим всерьез.

Сеансы гипноза, строго говоря, развлечение, для публики потеха.

ОЛЬГА КУЗЬМИНА

Фото ЗДУАРДА КУДРЯВИЦКОГО

Понимал: чтобы силы, данные «свыше», приносили пользу, нужны специальные знания. Кузьменко оканчивает медицинское училище в Москве, шаг за шагом идет к желанному — лечению людей...

Мир слухом полнится. От столетия к человеку передавалось: живет, мол, в Москве лекарь — ставит на ноги радикулитчиков, побеждает бронхиальную астму и диатез, всяческие остеохондрозы и артриты...

Звонок в дверь. Пациент из Башкирии. Астматик.

Кузьменко снимает часы и кольцо, усаживает больного на стул... Странные пассы руками — спина, легкие, потом — грудь и лицо... Ага, найден «очаг»; теперь «прогревается» невидимыми лучами черное пятно, высасывающее из человека здоровье и жизнь...

Со стороны это было похоже на спектакль, я прониклась бы, наверно, недоверием ко всему происходящему, но рубашка на Кузьменко через пять минут намочила... После сеанса задерживаю приезда:

— Ну что?

— Мне стало намного лучше.

— А вы как, «посезонно» себя хуже чувствуете? Когда вам бывает совсем плохо?

— Плохо было всегда. А сейчас я уверен, что все пройдет.

— А что говорит медицина?



— Я из отверженных...

Все, кто приходит в этот дом, из «отверженных». (Люди, за здоровье которых медицина «сражалась» не один год, но все-таки подписала тяжкий приговор.) Диагнозы входящие произносят шепотом, таят от досужих ушей.

— Николай Константинович, «проколы» случались?

— Да. Как-то ко мне обратились две женщины. Наверно, они были сильно облучены,— я не смог им помочь. Кому-то удастся помочь, больше, кому-то — меньше, но нулевых результатов, кроме этих, в общем, не припомню.

Кассета с записями рассказов его пациентов. Все по одной схеме: было так, стало эдак. И ни одного, кто не почувствовал хотя бы малейшего облегчения. Будь то астматик или «радикулитный» калека...

Из разговора в комнате.

— Ну, что же это, доктор?... Я не хочу и не могу больше жить... Такие боли... Я просыпаюсь от горечи во рту... Счастья уже не помню — какое оно?... Каждый раз открываю глаза с ужасом от того, что все еще живу.

— Вы были у профессора Б.?

— Был, говорит, что лечение бессмысленно...

— Нет, что вы... — Работает, работает руками. Кажется, его лучи по касательной достигают

БОЛИ

и меня.— Я чувствую...— Голос обретает упругую энергичность.— ...здесь лимфатические узлы, целая гроздь...

— Плохо? Очень?!

— Не надо так говорить... Спокойнее. Все пройдет...— Кому он это — больному или себе?

Так он разговаривает со всеми. Приходит успокоение. Проходит страх...

...Год назад этой женщине Кузьменко снял тяжелейший приступ. Сейчас боль вернулась вновь, а с ней — сильнейшая депрессия. Но уходила она от Кузьменко все-таки другой, с затеплившейся надеждой. А надежда — первый шаг к исцелению. Шаг к жизни, к освобождению от боли.

...Я смотрела на работающего Кузьменко, и вдруг представилось: он помогает лишь тем, чью боль, чей тяжкий недуг ему удастся выцарапать из страждущего, перетащить на себя.

«Институт радиозлектроники и электротехники АН СССР.

Настоящим подтверждаю, что Н. К. Кузьменко был подвергнут обследованию, при котором было зарегистрировано экстраординарное психофизическое явление — излучение из его рук специфических акустических импульсов. Возможность излучения таких импульсов человеком ранее науке не была известна... Н. К. Кузьменко — третий по счету человек, у которого явление излучения из рук акустических импульсов было обнаружено. Считаю целесообразным привлечение Н. К. Кузьменко к работам по изучению экстраординарных явлений. Академик Ю. Б. Кобзарев, 21.1.80 г.»

Восьмидесятый год — пик гонений на ненавистных «официальной» науке «мошенников». И именно тогда была написана такая справка. Признание? Докумен-

тальное подтверждение чуда?

У него нет рабочего кабинета. Это и плохо, и хорошо одновременно. Плохо, понятно почему, — всякому нужен свой угол. А хорошо оттого, что стесненные бытовые условия «помогают» избежать увеличения потока посетительниц. А так — разрешение на ИТД на руках, исполком не трогает, Минздрав не предупреждает...

— Не люблю «яканья». Если человек говорит «я», он должен это чем-то подтвердить, доказать. Стараюсь, по возможности, вообще избегать этого местоимения — оно слишком серьезно и весомо. А уж если обронил — отбавываю его потом изо всех сил...

— А как вы относитесь к современным экстрасенсам и сенсациям, связанным с их деятельностью?

— Каждый должен заниматься своим делом... Кто-то — организовывать себе широкую рекламу, кто-то — лечить людей...

Запись к Кузьменко — загодя...

Поинтересовалась оплатой: знаю, что есть и семи-, и сторублевые варианты. Кузьменко берет до 25 рублей за сеанс. Много? Мало? Не знаю. Медицина-то у нас бесплатная, а толку...

— Как ваша семья относится к тому, чем вы занимаетесь?

— В целом — хорошо. Но, правда, им-то «меня» меньше всех достается. Недавно участковый врач буквально заставлял подлечить младшую дочь. А у меня после всех приемов не хватает сил ни на что...

Наш разговор прервался лишь раз — когда Николай Константинович встречал прибежавшую из школы младшую дочку. Ладная, симпатичная девчушка гордится отцом, но он ею, по-моему, больше... А старшая, плюс ко всему,

еще и «коллега» отца по биотерапевтическим способностям. Кузьменко рассказывал, как в детстве она безошибочно определяла цвета кубиков, спрятанных под газету...

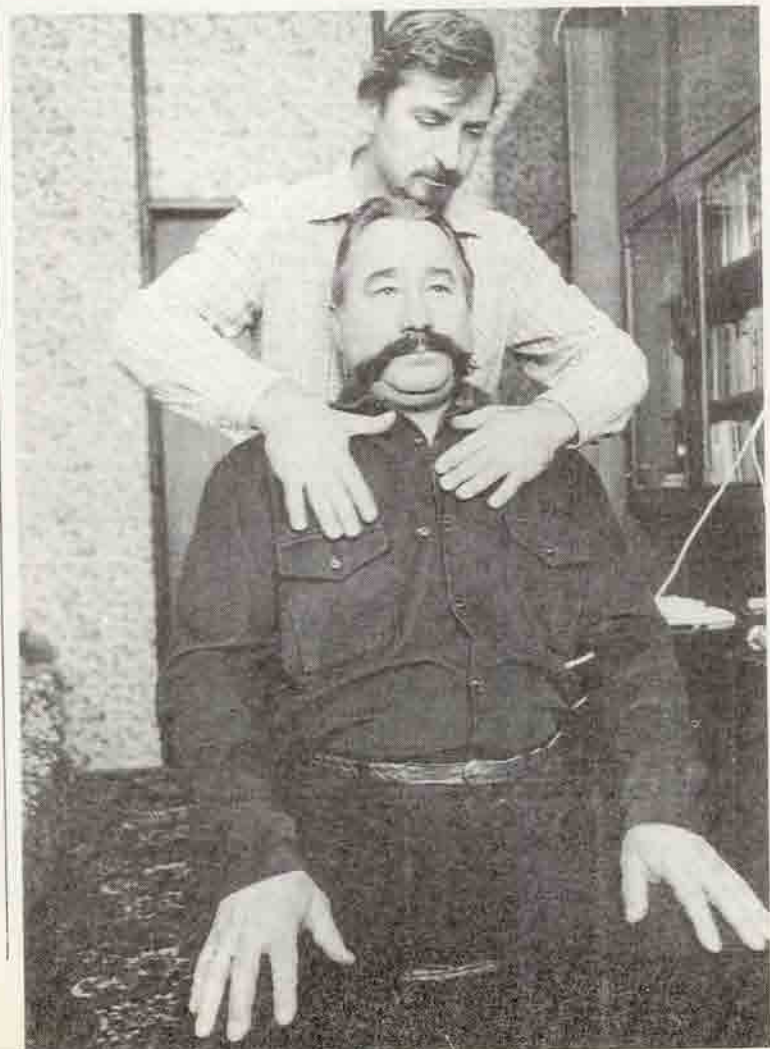
— Николай Константинович, любая энергия не вечна... по частицам вы отдаете себя...

— Очевидно, запас ее у меня не мал. Но иногда очень болит голова, и вообще хочется бросить все, заняться одной из моих

«мирных» профессий (а их у него, кстати, наберется с десятков), но...

Люди с уникальным даром, с «лица необщим выраженьем» — богатство страны, ее будущее...

А мы отвыкли быть добрыми. В суете, в каждодневной круговерти нашей позабыли о том, что не только (и не столько!) лекарства лечат, но и доброта врачует. Сама по себе исцеляет, на ноги людей ставит. Есть у нее такое волшебное свойство...



ДМИТРИЙ

По данным опроса, проведенного журналом «Советский экран», самым популярным на 1 января 1990 года стал советский киноактер Дмитрий ХАРАТЬЯН.

ХА

— «Артист года»? Что это? Вот если меня будут, как Пугачеву, преследовать сумасшедшие поклонницы, тогда можно и сказать: «Приехали! Слава пришла!»

Лет в шестнадцать, после выхода на экран фильма «Розыгрыш», меня засыпали письмами, посылками, подарками, родителям трижды пришлось менять телефон... вот это была слава! А сегодня мне тридцать... все уже пройдено...

Насчет итогов рейтинга? Все очень условно. Я бы поставил вперед Олега Янковского, Мишу Боярского, Сашу Абдулова, «интердевочку» Лену Яковлеву. Они же актеры! Конечно, импонирует, что «гардемарины» держат первые места по популярности, но... Мы сейчас много ездим с концертами, творческими встречами, а публика... от пяти и выше. На таком возрастном уровне — лет до шестнадцати — и держится наша популярность. Получается, что по реальной расстановке зрительских симпатий мы соперничаем с «Ласковым маем»!.. Хотя «высокая» критика упрекает наш фильм «в не слишком тщательно» и «психологически

не глубоко» проработанных ситуациях и характерах, надеюсь, что «Гардемарины» будут помниться нынешним ребятишкам своими романтическими мотивами. А у ребят из «Ласкового мая» какой-то невероятный суррогат непонятно чего: принципиальная бездумность, воинственная инфантильность... Мне нравятся Малинин, Володя Пресняков, Пугачева. Мне профессионалы интересны!

Дмитрий Харатьян, 1960 года рождения, армянин, владеет английским, французским, поет, играет на гитаре, много лет живет в Красногорске, мама — инженер, жену зовут Марина, дочь-первоклассница — Александра.

— Владимир Валентинович Меньшов и Анатолий Васильев, пригласивший меня на главную роль в фильме «Фотографии на стене», определили мою судьбу. Когда Меньшов сказал, что меня утвердили на главную роль в «Розыгрыше», я ходил за ним по пятам, ловил каждое слово...

Это было в девятом классе. После десятого Дмитрий немало поработал в геологоразведочной партии. Тут подоспело приглашение на главную

РАТЪЯН

роль в телефильме «Фотографии на стене», и решение пришло... Поступил в Щукинское. Учился в мастерской Михаила Ивановича Царева у педагогов Солнцева и Хейфица. До сих пор не оставляет мечту сыграть... ну, если не Гамлета, то что-то равноценное. В учебных отрывках второго курса он репетировал сцены из трагедии, но дипломной работой стала роль Корденбуа в водевиле Эжена Лабиша «Копилка».

— Бывает, сам отказываюсь от предложений, но пробуюсь всегда, когда чувствую что-то интересное. Вера в себя — великая штука, и актеру она особенно нужна; хорошо бы и режиссер эту веру поддерживал.

Предложений на роль, когда приходилось отказываться или не утверждали, было много. У Чухрая, например, в «Трясине», у Климова — «Иди и смотри», «Мы из джаза» Шахназарова, но там Скляр замечательно снялся. Хотелось бы работать у Кончаловского, у Хуциева... Вообще, считаю, что артист Харатьян еще не сыграл свою главную роль — чтобы «на полную катушку». Надеюсь, моя

лучшая роль впереди! Хотя к профессии своей и к выбору работы подхожу чрезвычайно серьезно. Может, и хорошо, что остается пока стимул для роста, для поисков... Главное, не вешать нос, как призывали гардемаринки!

Дмитрий Харатьян стал популярным, исполнив роль романтического, импульсивного, мальчишески азартного Алешки Корсака в телефильме «Гардемарины, вперед!». Это и определило потом участие его в молодежных вечерах в Останкино, в фестивалях солдатской песни. А. Пахмутова и Н. Добронравов, авторы нескольких исполненных им песен, считают, что «...в песне Диме удается добраться до ее сути — в отличие от многих, песню просто «докладывающих».

— Чего бы хотел пожелать сам себе? Миллионером стать. Чтобы не «продавать» себя в «любое» кино, а иметь возможность выбирать. Ведь сегодня я зарабатываю от концертов, встреч со зрителями, короче, от кооперативов...

А в кино я готов сниматься бесплатно!

ГЕННАДИЙ СУХИН



Фото БОРИСЛАВА КОЗЕЛЬСКОГО

ПОЛЬСКИЕ
ВИТРАЖИ

"НО СГУЩЕ



ВАЛЕРИЙ ГУРИНОВИЧ

...и

Возле варшавского «Гранд-отеля» юный пан не прочь был купить у меня деньги. Десятку, лучше две или три... За десять рублей он предлагал пять тысяч злотых.

Я почувствовал себя иностранцем: здесь наш советский червонец — в цене!

...И поздней осенью случаются дни сухие, теплые. Над Маршал-

ковской — и, казалось, над всей Польшей — сияло солнце! Люди шли, улыбаясь. Улыбаясь, пили кофе в крошечных кафе, улыбаясь, разговаривали друг с другом, улыбаясь, объясняли мне, как попасть на улицу Армии Людовой (выяснилось, что я стоял от нее в пятидесяти метрах...).

Никто не чертыхался, не бежал, не пытался втиснуться в отъезжающий автобус. Я не видел километровых очередей, и женщины не волочили сумки, схожие по объему и весу с армейскими вещмешками.

Был слышан: в Польше трудно, голодно, там ничего нет. Убедился — там есть все. (Ничего нет в Тюмени и Урюпинске, в... впрочем, долго перечислять.) Отличные фрукты и овощи. Колбасы и окорока, мясо и сыры. Дорого? Да! Цены «скачут», причем «рекордная» планка все время поднимается. (Хотя за те десять дней, что пробыл в стране, масло, к примеру, подешевело.)

Пани Тереза, переводчица, когда я спросил ее, где можно достать мыло и зубную пасту, удивилась.

— Как это — достать?

Здесь не «достаю», а покупают. Набокова, Пастернака (издательство «Книжная палата»), которых так и не достал в Москве, свободно купил в варшавском книжном магазине.

Я представил на мгновение лица моих милых соотечественниц, остановившихся возле газетного киоска: губная помада любых оттенков, тушь, пудра, всевозможные лаки, тени... Господи, откуда это?! Отсюда — из Польши.

Экономический кризис, миллиардные долги, инфляция, разбалансированность рынка и промышленного производства — это знакомо и нам. Да еще как! Но в Кракове я спокойно купил пачку чая, не предъявляя паспорта

с пропиской, а в гданьском магазине с меня никто не потребовал талона на сахар.

Это — штрихи...

— Мы готовы взаимодействовать со всеми, кто может помочь молодежи, — сказал Рышард Славенски. — С любыми партиями, обществами, организациями...

Рышард — член бюро Союза Польской социалистической молодежи. Сегодня это единственная в республике молодежная организация, в названии которой сохранено определение «социалистическая». Доверие к «социалистическим ценностям» в Польше (особенно у молодых) — где-то возле нулевой отметки. Но мне показалось, что людей раздражает не столько суть социализма, сколько словесная, демагогическая шелуха...

— Скорлупа сгнила, потрескалась, а ядро хорошее, его очистить надо, — согласился Рышард. — «Шведская модель» — тоже социализм. Главное, чтобы молодежь видела перспективу... Я — член ПОРП. Но на нашем съезде голосовал за самостоятельность Союза, за его «отделение» от партии. Действовать надо вместе, на равных, а не на «подхвате»... У нас полтора миллиона ребят. Это — сегодня. Завтра может быть меньше. Из Союза уходят, потому что перестают верить нам. Это обидно, больно, но это факт. Это справедливо. Мы слишком спокойно... (Рышард говорит по-польски, но русский язык понимает, и когда пани Тереза произносит «спокойно», он поднимает ладони: нет-нет! «Успокоенно», — говорю я. «О да! Успокоенно...») Слишком успокоенно жили, как будто спали...

— А сейчас проснулись?

— Нас разбудили, растолкали...
Прошлым летом я побывал на

сотнях собраний, митингов. Падал от усталости, но был счастлив: молодежь не молчит, она борется. И не за сладкий кусок — за будущее Польши. Сейчас в республике десятки молодежных союзов, обществ. Самые сильные? Студенческие, молодежное крыло «Солидарности», Союз сельской молодежи, Союз пионеров... Есть и такие, как, например, клуб «Рыжая кошка». Эпатаж, фрондерство? Экстремистские группировки? Нет! Польская молодежь против насилия. Когда были волнения, забастовки, порядок на улицах держали молодые ребята, студенты, рабочие...

Мы сидим в кабинете председателя Союза Бжегоса Диттриха. Здесь все солидно — полированная мебель, кожаные кресла, ковер... Но сидим мы в углу за маленьким журнальным столиком, пьем крепкий чай, и чувствуется, что Рышарду обстановка чиновного благополучия не по нутру.

— Это все не наше, — взмахом руки обвел кабинет. — Теперь мы от ПОРП, от госбюджета не будем иметь ни гроша... — Самофинансирование, — говорит по-русски.

— Станете сами зарабатывать?
— Да. Акционерное общество. Дома отдыха, туризм, фонд социальных инициатив, молодежные кооперативы, хозрасчетные центры. Как у вас...

— Ну, а что будет завтра, Рышард? — спрашиваю я.

Он отодвигает стакан с чаем. Смотрит твердо, без улыбки.

— Завтра будет завтра... У нас за полгода из аппарата ушло 70 процентов. Все наши предприятия, которые только-только становятся на ноги, министерство финансов старается «зажать» таким налогом, что им попросту не продохнуть... От нас отвернулось много молодежи. Но те, кто остался с нами, — остался осознанно.

И сегодня мы все же самая массовая молодежная организация в республике... В восемьдесят первом году я жил в Кракове. Мне было тогда 20 лет. Там я встретился впервые с Лехом Валенсой. Я не мог понять и принять его позицию. Сейчас все по-иному. Я вижу, Валенса был во многом прав. К чему это говорю? Нельзя жить по шаблону. Меняется жизнь, меняемся и мы... Ежедневно, ежечасно. Я оптимист. Лист бумаги делю пополам и, думая о завтрашнем дне — своем, Союза, Польши, — ставлю с одной стороны «плюсы», с другой — «минусы».

— И чего больше?

— Конечно, плюсов!

Многопартийность в Польше — факт, данность. Здесь уже не спорят: считать ли ПОРП «ведущей и направляющей». Она может стать истинным, а не бумажным авторитетом. А может и не стать... Но никакое конституционное положение не в силах сделать ее или другую партию, союз, организацию непрерываемым (и неприкасаемым!) авторитетом. Вообще, надо сказать, декларируемый авторитет в сегодняшней Польше не приживется. Пожалуй, единственно, кто имеет стопроцентный «вотум доверия», — костел, католическая церковь. Среди верующих — члены всех партий и союзов. В том числе и ПОРП...

(Время стремительно, калейдоскопично. Прошло лишь два месяца после моего возвращения из Польши, как ПОРП прекратила свою деятельность. Польская рабочая и Польская социалистическая слились в единую партию...)

— Ксендзом меня сделала сталинская пропаганда, — сказал отец Мариан и, уловив на моем лице недоумение (не спутала ли





что в переводе пани Тереза), добавил по-русски:

— Именно так! Я собирался учиться в Советском Союзе. Это было после войны. Я жил тогда в 18 километрах от Освенцима. Нас спасли русские солдаты. Они кормили поляков из походных кухонь. Я любил их, но хотя и был очень молод, не мог понять, почему они так преклоняются перед Сталиным. Для советских людей он был богом! Но человек — не бог, он грешен. А тут — живой Господь! И я сказал себе: Мариан — это огромная ложь. И чтобы стать внутренне свободным, мыслящим, следует обратиться к Богу...

Мариан Якубец — шестидесятилетний ксендз краковского костела св. Петра. Седые волосы тщательно зачесаны назад, лицо строгое, резкой лепки. Черная, без единой морщинки сутана подчеркивает статью и молодость святого отца.

— Я побывал во многих странах мира и понял, что истинная вера не противоречит государственному устройству, если в основе его человеколюбие. Радение о духе, нравственности народа. Сталинскому режиму, сталинской пропаганде это было чуждо. А ведь Христовы заповеди гениальны в своей простоте и доступности, — отвергая их, человек лишает себя души, смысла жизни... Войнствующий атеизм, возведенный в государственную доктрину, схож с чудовищем, пожирающим собственных детей. И в вашей стране, и у нас, в Польше, пострадало немало верующих, священнослужителей — тюрьмы, лагеря, изгнание...

На моей памяти — я служил тогда викарием в Закопане — прошли три судебных процесса: безвинно осудили служителей католической Церкви. Священник

Качинский погиб в тюрьме... И это было сравнительно недавно. В годы, которые у вас назывались застойными, а у нас годами народного неповиновения.

— Отец Мариан, — говорю я, — костел для поляков — прибежище духовное и мирское. Здесь ищут слово правды и укрытие от бед житейских. Вы — политик?

— Я слуга божий. Но, когда в стране ввели военное положение, в это горькое для Польши время людям необходимо было душой опереться на что-то. Открытость и прямота нашей веры стала им такой опорой. Мы, священнослужители, не скрывали и не скрываем своих симпатий к «Солидарности». Я лично видел в ней разумную силу, которая могла противостоять догмам и фальшивым лозунгам. В «Солидарности» много верующих. И сам Лех Валенса — ревностный католик. Так же, как и нынешний премьер Мазовецкий... Но впрямую мы никогда не вмешивались в мирскую политику. Я, к примеру, был категорически против проведения митингов «Солидарности» в костеле. Да, мы помогали и помогаем страждущим: кров, одежда, еда... Но этим, насколько я знаю, сейчас занимается и ваша Церковь. Милосердие — вне политики.

...Было бы совсем неплохо, подумал я, если бы милосердие стало основой любой политики в любом государстве.

В костеле, там где покоятся мощи Петра Скарги — священника, ученого, первого ректора Вильнюсской академии, я видел множество записок, обращенных к святому Петру. Запомнил две из них — одна, написанная по-польски, другая по-русски: «Святой Петр, — пишет поляк, — прошу тебя, так сделай, чтобы снова правительство могло с любовью, по

указаниям божьим исполнять свои обязанности по отношению к Родине...»

И вот, по-русски: «Иисусе! Помоги в нашем трудном деле, в нашей трудной дороге к жизни без лжи и ненависти. Обрати души наши ко всеобщему благу...» Я рассказал отцу Мариану об этих записках.

— Люди устали от чувства страха перед завтрашним днем. И у вас, и у нас. И, когда поляк ли, русский обращается к Богу — через Иисуса или святого Петра, — он обращается и к своей душе, и ко всем нам. К нашей совести, разуму...

У ворот гданьской судоверфи имени В. И. Ленина три стелы, три громадных креста взметнулись к небу. У подножия — свежие цветы. Это памятник погибшим в декабре семидесятого во время расстрела рабочей демонстрации. На стене Скорби — их имена. 28 человек. (Боже мой, а знаем ли мы, сколько людей погибло в Новочеркасске?! Кто они? Где им-то памятник?!)

Сюда со всей Польши приходят не только поклониться памяти погибших, но и попытаться заглянуть в день завтрашний — не таит ли он в себе возможности повторения прошлых трагедий? Это место покаяния, очищения и... надежды. Все, с кем встречался я в эти дни, открыто, искренно, независимо от принадлежности к тому или иному Союзу, политической партии убеждали меня: Польша не пойдет вспять. Только демократия, народовластие, независимость!

Пятнадцать месяцев легальной деятельности «Солидарности», борьба за права рабочих, забастовки, митинги, переговоры с правительством — жесткая, но важная, необходимая политшкола. (Мне говорили: вы сейчас идете тем же

путем, что и мы. Но не повторяйте наших ошибок. Не топчитесь на месте. Умейте маневрировать... Компромиссы? Да, разумные. Только не превратите всю перестройку в один большой компромисс...)

...Гданьское отделение «Солидарности» в пяти минутах ходьбы от проходной судоверфи. Здесь же — редакция «Гданьского еженедельника». Один из редакторов газеты, Мечислав Соколовски, когда я спросил его, чем отличается нынешняя Польша (социальная, политическая атмосфера, настрой людей) от вчерашней, позавчерашней, ответил:

— Уверенностью. Народ почувствовал, что он сильнее бюрократии, аппаратных игр, политических амбиций. Люди осознали: они не пешки, не винтики, а как раз те, кто и решает судьбу республики, кто строит жизнь. И к нам, «Солидарности», надо сказать, отношение уже иное. Без излишней восторженности — деловое, критическое. Вы боролись за власть, она у вас — действуйте!.. А это — самое трудное. Страна в очень тяжелом положении. Но доверие к правительству Мазовецкого огромно. Люди готовы перетерпеть экономический кризис, житейскую неудобу. Они видят, знают — им не врут. Их не убаюкивают сказками про «светлое завтра». Может, впервые за все годы «социалистического строительства» они наконец-то поняли, что за будущее Польши отвечают не ПОРП, не министры и сейм, а они сами — рабочие, студенты, интеллигенция. Каждый из них... Я тебе скажу так: мы примем помощь и от Запада, и от Советского Союза. Помощь — не подачку, за которую нужно будет расплачиваться собственным достоинством. Национальное достоинство — неизменный капитал. Единство, а не еди-

номыслие спасет нас...

Он долго смотрит на меня, будто взвешивая — пойму ли? Чувствую, не решается продолжить. Потом, улыгнувшись, все же говорит:

— Вам будет труднее, вы только раскачиваетесь, вам еще много надо понять... И потом Советский Союз — огромная страна, столько наций, столько проблем, а стержня душевного нет. У нас — костел. А у вас? Политбюро?

Я не стал спорить, возражать. Не из вежливости, отнюдь. Просто подумал: вряд ли в споре нашем здесь, в прокуренной редакционной комнате, родится Истина.

Попрощавшись, мы спустились этажом ниже. Тереза сказала: «А здесь вот кабинет Леха Валенсы». Я попросил: зайдем.

...— Проше, пана, — молодой человек (на лацкане финской куртки значок «Солидарности» и другой — с изображением Богоматери) распахнул дверь кабинета. Комната метров в двадцать, обшита темными панелями. Канцелярский стол с кипой бумаг, папок, жесткое кресло. Напротив — журнальный столик, еще пара кресел и небольшой диван. Обстановка ничуть не напоминала апартаменты наших профсоюзных лидеров даже среднего, областного масштаба.

— Лех сейчас в Америке, у Буша, — пояснил сопровождающий.

— И что, — спросил я, — кабинет его всегда открыт? Заходи кто хочет?

— А от кого запирается? От нас? Или от вас?.. — улынулся парень.

...Над дверной притолокой — вырезанная из дерева фигура распятого Христа. Показалось, что смотрит он на уходящих из этого кабинета с пониманием и сочувствием.

...И вдруг я поймал себя на

мысли, что, разговаривая с разными людьми, вглядываясь в лица прохожих, заходя в магазины, в места присутственные, все время сравниваю здешнее с нашим, отечественным. Будто примеряю чужую одежду: не коротко ли, не жмет? И убеждаюсь — почти по размеру.

Да, схожего много. Вспомнить хотя бы то собрание в тесной комнате жилконторы на окраине Варшавы, где некто Круль убеждал 19 усталых жильцов в собственной значимости в деле экологического и политического возрождения Польши.

— Новую партию хочет создать, — шепнул мне депутат горсовета Томаш Новоковский. — Демагог... Правда, красноречив. Но ему уже не верят.

(А у нас, увы, возможно, и поверили бы, прокомментировал я молча.)

Или такой сюжет. На автобусной остановке человек 5—6 разговаривают, горячо жестикулируя. (Тереза позже пересказала мне, о чем шла речь.)

— Говорят, со следующей недели мясо будет стоить 25 тысяч злотых!

— При чем тут цены! ФРГ с ГДР объединяются — вот проблема!

— Думаю, Мазовецкий это учитывает. И потом — Америка нам поможет. Выделено 5 миллиардов.

— Америка... Что Америка? На себя надо надеяться.

Похожи мы, похожи, братья-славяне...

Длинная узкая комната почти без мебели. Старый диван, обтянутый треснувшей кожей, тумбочка и два стула. На подоконнике — телефон. В комнату то и дело входят парни, девушки — позвонить или перебраться парой фраз с моими собеседниками, активизи-

стами Независимого студенческого союза Павлом Дуджиком и Марчином Меллером.

Мы беседуем уже около часа, и за это время я успел пожать множество рук, ответить на десятки вопросов и выслушать всяческие предположения о будущем польского и советского студенчества. Но все сходились в одном: нашей молодежи не хватает активности, напора («Слишком много рок-н-рола и мало политики...»).

— Нет, — сказал Павел, — тут нам не дадут поговорить. Пойдем поищем пустую комнату.

В старом здании Варшавского университета найти такую комнату оказалось не так-то просто. Но нам повезло...

— Нас запрещали, но мы работали, — продолжил разговор Марчин. — И во время военного положения печатали и расклеивали листовки. Призывали к свободе — слова, совести. У нас в союзе ребята из «Солидарности» и социал-демократы, умеренные социалисты и христиане-демократы. Мы не идеологическая организация. Мы — движение. Сейчас вышли из подполья. К чему призываем? К любви, братству. Мы готовы помочь всем, кому плохо, кто обделен, кто не может найти себя в своей стране. А главное, нужно помочь студентам — самой бедной, самой обделенной части общества. Мы выдвинули лозунг: «Какие вы нам стипендии — сегодня, такие мы вам пенсии — завтра!» Грубо? А что делать? Польское студенчество нищенствует. Цены растут бешено. Многие вынуждены подрабатывать. От университета все общественные молодежные организации имеют в год лишь 10 миллионов злотых. Этого не хватает на оплату двух машинисток. Чем же мы можем помочь ребятам?

— Но, погоди, Марчин, а студенческие кооперативы, хозрасчет-

ные центры, акционерные общества? Ведь Союз польских студентов именно так зарабатывает деньги.

— Их все время подкармливали официальные власти. А мы были в подполье... А сейчас они готовы зарабатывать на всем: выпустили порноальбом — куча злотых... Нет, это нам не подходит.

Марчин отбрасывает со лба длинные каштановые волосы. Он будущий историк. А Павел учится на факультете информатики и математики.

— Не горячись, — говорит он другу. — Ребята умеют делать злотые — это факт. А подполье... Что ж, мы знали, на что шли. И козырять тут нечем.

И уже обращаясь ко мне:

— Ты прав. И кооперативы нужны, и центры... Мы будем зарабатывать. Без денег, на одних лозунгах ничего не сделаешь. Но и замыкаться только на деньги — не дело. Учеба — вот основное занятие студента. Польский диплом сегодня высоко ценится в Европе. А если завтрашние математики, физики, инженеры займутся лишь добычей денег, то кому нужны будут такие «специалисты»? Логично?

Я подтвердил, что логично. И поинтересовался программой Независимого союза.

— Мы против всякой тоталитарности. Против автократии, — сказал Павел. — Мы против военных кафедр в вузах, за студенческое самоуправление... Ведь и советское студенчество не хочет, чтобы ими командовали министерские чиновники и институтские администраторы.

Я вспомнил, что говорилось на недавнем Всесоюзном студенческом форуме и утвердительно кивнул: мол, да, не хотят... Но в то же время я не мог представить себе наш добропорядочный студком в подполье... (Впрочем, веро-

ятно, мыслил «доперестроечно»...)

— Нас поддерживают около тридцати тысяч студентов,— сказал Марчин.— Только в университете членов Независимого союза более 2,5 тысячи. Мы реальность, с которой нельзя не считаться...

И тут он был совершенно прав. В сегодняшней Польше любая молодежная группировка (даже та, что скандирует «Верните нам Сталина! Мы хотим Сталина!») — реальность. Как реальность — демонтированный памятник Дзержинскому и слезы над могилами в Катыни.

Конечно, трудно с налету понять — за что борются, чего хотят эти такие разные парни и девушки. Но (тут я согласен с Рышардом Славенским) хотят они не только сладкого куска...

Накануне беседовал с одним из функционеров Союза польских студентов. Там все было по-иному: сдержанно, обстоятельно, с цифрами и точными выкладками. Союз действительно умеет зарабатывать деньги — десятки изданий (среди них одно из самых популярных в стране — «И.Т.Д.»), международный туризм, студенческое бюро услуг... Союз выплачивает тридцать именных стипендий (50 тысяч złotych каждая), добился от минпроса республики еще ста стипендий. Все это здорово. Но...

— Вы обязательно запишите,— сказал мне функционер.— Мы вне политики. Социальная защита студенчества — только этим занимается Союз.

И еще раз твердо повторил:

— Никакой политики...

И вот теперь, слушая «независимых», я, честно говоря, не могу представить себе: как это — польское студенчество вне политики?

Разве может быть оно вне сегодняшней жизни, вне судьбы своего отечества?

Память ловит отчаянно летящую строку Андрея Вознесенского: «...конфедераток тузы бесшабашные — живы!»

Сегодняшние поляки деловиты, предприимчивы, моторны. Никакой «бесшабашности». Крутятся в повседневных заботах, как и мы. (С той лишь разницей, что забот поменьше.) Не до гусарства...

Но — мимолетный восторженный взгляд на юную варшавянку, сдвинутая на седеющий висок шляпа, разворот плеч, походка... «Еще польска не сгинела!»

...На узкой краковской улочке играет оркестрик: скрипка, аккордеон, гитара, контрабас. Галстук-бабочка, белый кашемировый шарф, лакированные туфли — начало века, полонез, долгий полет, кружение опавшего листа...

Играют что-то сентиментальное. Люди останавливаются, светлеют лица...

(Так же я торможу бег в подземном переходе в Москве, на проспекте Мира, где одноногий инвалид в распахнутом плаще поверх телогрейки наяривает на балалайке то «Камаринскую», то «Интернационал». И сыплются в кепочку медь да серебро...)

Краков. Рыночная площадь.

Марицкий костел — один из старейших в Польше, XIV век. Темные гулкие своды, темного дерева скамьи, бордовая позолота иконных окладов... И — зелень, синь витражной росписи над амвоном.

— Работа Яна Матейки,— тихо говорит Тереза.— Витражи оживают, «дышат», когда на них попадает солнечный луч...

В тот день было пасмурно, а мне все мнилось: вот-вот вспыхнет, оживет матейковская роспись, знаменитый польский витраж.

ЧИТАТЕЛЬ • «СМЕНА» • ЧИТАТЕЛЬ

- Ня дня без гороскопа
- Сюжет семейной драмы
- Перестройка по-студенчески

Прочитал в № 18 «Смены» за 1989 год статью «На кофейной гуще» и, как говорится, возрадовался. Несмотря на то что являюсь «хроническим» атеистом, все-таки верю в теории, высказанные В. П. Виларовой. К сожалению, мой интерес ограничивается изучением разномуженных на ксероксе полулюбительских гороскопов. Ваша публикация всколыхнула, я уверен, многих и поколебала недоверие к астрологии. Считаю, что цикла бесед с такого рода интересными собеседниками очень нужен. Конечно, в условиях нынешней информационной конкуренции (гороскопы публикуются также в «Крестьянке», «Московском комсомольце» и других изданиях) обычные краткие гороскопы, без объяснения «механики» вычислений, дают не слишком много, но можно ввести некоторые «новые» дополнительные методы предсказания, например, объяснение влияния «лунных» циклов на работоспособность, самочувствие и т. д. с рекомендациями, как эти циклы применить практически для планирования своей деятельности (чего ни один журнал еще не делал), и многие, еще не известные нам методики. Может, имела бы смысл рубрика «Школа астрологической грамотности»? И в рамках «школы» целая кампания по

широкому внедрению астрологических методик в экономику, культуру, медицину?

Можно также печатать тестовые таблицы для читателей (с графами для заполнения), изучение которых учеными дало бы возможность с приличным приближением к реальности определить конкретную пользу астрологических методик, и если эти методики принесут пользу в локальных масштабах, то можно было бы подумать и о масштабах глобальных...

К. ГАСТЕВ,
Москва

Долго думала, в редакцию какого журнала отправить письмо, кому доверить свою душевную боль, свои проблемы и, уверена, проблемы многих сотен женщин, ставших женами моряков.

Свой выбор остановила на «Смене», так как считаю, что это единственный журнал, который в равной степени читают и мужчины, и женщины, независимо от образования, должностей, профессий.

Итак, росла девочка. Общительная, лобознательная, жизнерадостная. В шестнадцать лет полюбила всем своим существом очень славного паренюка, такого же общительного, лобознательного, жизнерадостного.

Дождавшись восемнадцати лет, не задумываясь ни на минуту, девочка вышла замуж за этого самого паренька, а задуматься было надо — ведь он выбрал себе профессию моряка — штурмана дальнего плавания.

В восемнадцать лет, уже будучи замужем, осталась одна на целый восемь месяцев и узнала всю горечь разлуки. Думаю, ни к чему описывать свои одинокие вечера, слезы над письмами, которые писала чуть ли не каждый день и в которых было море любви, тоски и мольбы вернуться. Но мужу нравилась профессия, и он не хотел ничего менять. Так прошел первый год супружеской жизни, потом второй. Когда муж узнал о возможном появлении ребенка, сказал: рано, мол, еще... Но врачи настояли, и на свет появился сын, которого отец видел раз в год, потому что порт приписки у него — Мурманск.

Впрочем, я о другом. Хочу спросить — и в первую очередь медиков: может ли женщина жить без мужчины с такими перерывами? Если может, то как? Если нет, то что делать?

Сейчас, на седьмом году такой супружеской жизни, стоит вопрос о разводе. Почему? Я изменяю мужу и не считаю нужным скрывать это от него, потому что не вижу своей прямой вины. Ведь измена — это следствие, а причины... причин много. Как ни странно, муж против развода, хотя обычно женщины не прощают измены. На разводе настаиваю я, и не потому, что не люблю его, а потому, что считаю невыносимой такую жизнь и такие отношения в семье. Но при этом страшно мучаюсь сомнениями — правильно ли поступаю? А посоветовать некому. Как жить жене моряка?

А. РЫЖКОВА,
Цимлянск

Я проработал механизатором десять лет и никогда никому не жаловался: зарплаты хватало, да и жена работала. К тому же в магазинах можно было купить недорогие продукты и вещи. И вот я заболел, мне дали вторую группу инвалидности, работать не могу. Получаю пенсию 80 рублей, жена работает пекарем, получает в среднем 180—200 рублей, а по нынешним ценам это ничто, тем более что у меня трое детей: старшей — пятнадцать, а младшему — девять лет. Как детей обустроить, одеть? Все такое дорогое, просто дурно становится. Собрали деньги, купили зимние сапоги, а они через неделю расклеились — и осталась дочка опять босиком. О себе думаешь в последнюю очередь. Стиральную машину, пылесос, да и многое другое можешь купить, если сдашь нужное количество тыквенных семечек. А где взять эти семечки? Вот и стирай чем хочешь, а семья-то не маленькая.

Угля на зиму надо купить семь — десять тонн. А уголь стоит дорого, и говорят, что будет стоить в два раза дороже. Да еще дрова, да комбикорма для двух поросят, да корм для кур... Так и живем — залезаем в долг и без конца выплачиваем. Мы не живем, а существуем. Очень тяжело нам. Особенно детей жалко.

А. М. САРАЕВ,
инвалид второй группы,
с. Бережновка
Волгоградской области

Пятый год в стране перестройка, четвертый — объявленная перестройка высшей школы. А что изменилось? Мне скажут: студенты введены

в ученые советы институтов, изменен план учебы в вузах, проведен студенческий форум, решаются вопросы о денежном, социальном обеспечении студентов. А я еще раз хочу спросить: «Что изменилось?» Ничего или почти ничего. Ну, введены студенты в ученый совет. Но этот совет лишь обсуждает вопросы, а решает все совет кафедр. Учебный план в вузах меняется «галсами»: пришел новый министр — разрешил сдачу экзаменов по желанию студентов, потом отменил, а теперь опять разрешил. Вы думаете, институт и кафедры «метались», не зная, что делать? Отнюдь! Они так запутали эту процедуру (высчитывание «среднего балла», добавку коллоквиумов, решения ученого совета, которому не подчиняются кафедры, приказы ректора и т. д.), что сами толком не могли объяснить студентам суть нововведений.

Прошел студенческий форум. За его работой студенты не очень следили, а через месяц и вообще забыли. Это логично, раз ничего не делается. Хотя о том, что социальные проблемы студенчества решаются, мы слышим по меньшей мере лет сорок. «А воз и ныне там?»

Так где же она — демократия для студента? Я провел опрос у себя на курсе и вот что выяснил: 17% студентов не верят в перестройку высшей школы вообще; 42% — думают, что вряд ли что изменится; 28% — считают, что, может, и будет лучше; и лишь 13% верят в реальность перестройки.

У старших товарищей бытует мнение, что студенты должны углубиться в учебу, деполитизироваться — и это при «возрастающей роли молодого поколения в перестроечных процессах, происходящих в стране?»

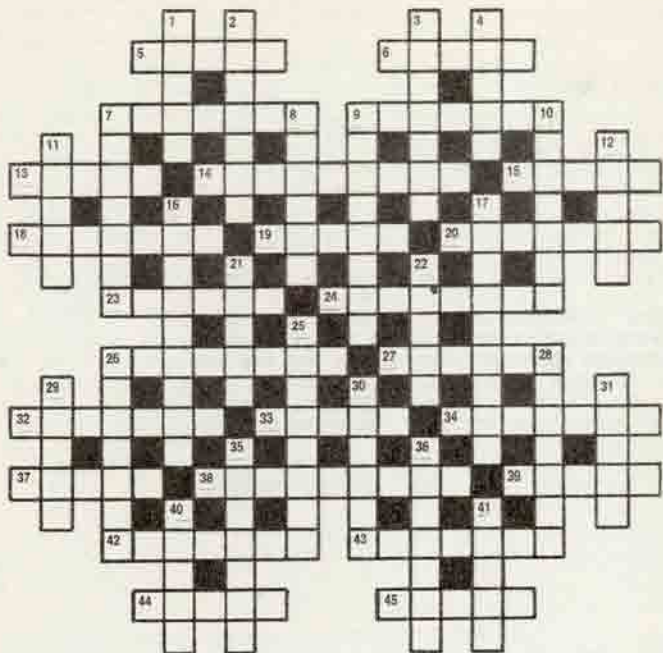
К счастью, деполитизации студенчества не происходит. В спорах, дискуссиях, которые проходят у нас в институте (да — я уверен — и в других тоже), мы обсуждаем то, что наболело, и не только у студентов. Всем известно: если студент думает, значит, не все в будущем потеряно для страны. Нет, это не дифирамбы самим себе, просто иногда жалко, что мы, молодые, не на месте того или другого функционера, аппаратчика и не имеем возможности решить какую-то проблему в пользу общества, народа.

ДМИТРИЙ ПЕТРОВ,
студент мединститута,
Иваново

В № 22 за 1989 год меня заинтересовало письмо Ирины из Пскова. Суть письма — матерям-одиночкам не на что жить. Я сама отлично знаю, что такое существовать вдвоем с ребенком на 20 рублей пособия. Крутилась, как могла, подрабатывала рукоделием, помогли родители. Сейчас все это позади. Но вот что мне хотелось бы сказать: дорогие женщины, в одиночку растящие детей! Не ждите милостей от государства! Помните, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Почему бы нам, матерям-одиночкам, не объединиться? Ведь создано же общество «Надежда», организуют свои клубы многодетные семьи. Едва ли мы, считающие копейки, сможем помочь друг другу материально, но обменяться детскими вещами, да и просто поддержать друг друга добрым словом, советом можем всегда.

Мой адрес: 117421, Москва, ул. Новаторов, д. 40, кор. 2, кв. 93.

МАРИНА КИЕНЯ



**СОСТАВИЛА
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
КОНКУРСА
КРОССВОРДИСТОВ-89
И. ГОРЕЛИК,
ЛЕНИНГРАД**

По горизонтали:

5. Административно-территориальная единица в Румынии. 6. Жанр, названный В. Белинским «поэзией рассудка». 7. Металл, накапливаемый в организме омарами и мидиями. 9. Самая мелкая английская монета, которую сейчас можно встретить лишь у нумизматов. 13. Лиственное дерево. Зимой выделяется черными почками. 14. Народ, слыvuщий у соседей как «японцы Европы». 15. Непролазная грязь, топь. 18. Крупный город в Белоруссии, где сохранилась Благовещенская церковь, построенная в XII веке. 19. Советская певица (лирическое сопрано). 20. Основной жанр в творчестве В. Боровиковского. 23. «Делатель чемпионов». 24. Первое проявление творческой мысли художника. 26. Бывальщина, легенда, предание (общее название). 27. Единственная кошка, догоняющая жертву на быстром скаку, преследуя ее, как борзая. 32. Большие часы, упоминаемые в поэме Н. Некрасова «Русские женщины». 33. «Царь камней». 34. Русский изобретатель подводной электрической мины, ученый, собравший большую коллекцию восточных рукописей. 37. Родившийся в Невшательском кантоне Швейцарии знаменитый французский революционер. 38. Устройство бабочки или самолета относительно центра. 39. Город-музей. Самый древний из сохранившихся городов Европы. 42. Размер шрифта, каким обычно набирают индексы в формулах. 43. Фамилия трех братьев, основателей первых русских стационарных цирков. 44. Самый популярный в Европе в XIX веке танец. 45. Инструмент,

без которого в прошлом не обходилось ни одно чаепитие.

По вертикали:

1. Кубинский танец, использованный Д. Мийо в балете «Сотворение мира». 2. Французский композитор, чей концерт в московском Манеже привлек почти 12 тысяч слушателей. 3. Лекарственное растение, корень которого в шесть раз слаще сахарного тростника. 4. Распространенная мера веса родом из Древнего Рима. 7. «Сорочка» письма. 8. Плащ, названный по имени знаменитого французского трагика. 9. Первенец звукозаписи. 10. Шейный платок, в России появившийся при Петре Первом. 11. Металл. Если им заполнить обыкновенную бутылку, то она окажется тяжелее ведра с водой. 12. Норвежский драматург, автор лозунга «Всё или ничего!». 16. Язык международного общения. 17. Самое сильное и яркое проявление народного гнева. 21. Самая высокогорная страна. 22. Последний балет неоклассического периода и последний «программный» балет И. Стравинского. 25. Как советник, так и посланник. 26. Древнерусское название изумруда. 28. Животное, которое пытается «разговаривать» с человеком. 29. Разгадчик кроссвордов в глазах сверхрационального человека. 30. Первая на Руси военная форма. Ее надели стрельцы Ивана Грозного. 31. Римская богиня, в честь которой весной проводили праздник — матрониали. 35. Амазонская рыба, рекордистка прожорливости. 36. Основа для торта. 40. «Темный трофей» с юга. 41. Актриса-декламатор.

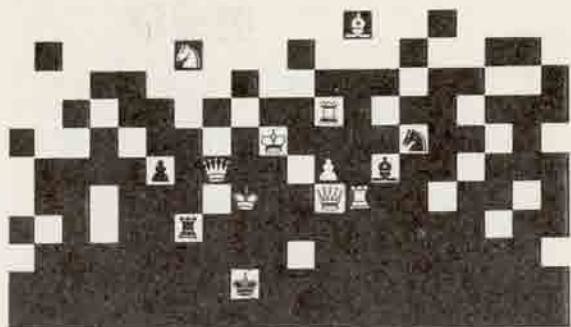
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 2

По горизонтали:

1. Зоолог. 5. Романс. 10. Кардинал. 11. Ватерпас. 14. Сеча. 15. «Щелкунчик». 16. Бобр. 19. Рылеев. 20. Шпиль. 21. Матисс. 24. Броненосец. 25. «Калевала». 27. Дискотроль. 29. Шерстопролет. 33. Афелий. 34. Трель. 35. Компас. 38. Урон. 39. Кристопас. 40. Лист. 43. Закладка. 44. Трагедия. 45. Гавань. 46. Никель.

По вертикали:

2. ...орда. 3. Ланцет. 4. ...геликоптер. 5. Равенала. 6. Метчик. 7. Нора. 8. Марчелло. 9. Задорина. 12. ...ястреб... 13. Фреска. 17. Церемония. 18. Фанерозой. 22. Полис. 23. ...Фауст. 26. Йеллоустон. 27. Драгун. 28. Снегопад. 30. Рептилия. 31. Лесото. 32. Хрусталь. 36. Эредиа. 37. Ламарк. 41. Ялта. 42. Жезл.



32-я ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА

Под редакцией
гроссмейстера
**ВИКТОРА
ЧЕПИЖНОГО**

282

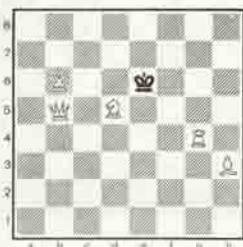
Продолжаем публикацию заданий нашей шахматной олимпиады. К соревнованию могут подключиться на любом его этапе все желающие.

Ответ на каждое задание следует посылать на отдельной открытке. За правильно выполненное задание участник получает соответствующие баллы. При подведении итогов будет учитываться сумма набранных баллов, а при равных показателях в зачет пойдут обнаруженные читателями дефекты в конкурсных заданиях: побочные решения, нерешаемость, дуали и т. п.

Ответы на задания олимпиады следует присылать только на открытках (без конвертов!) с пометкой «32-я шахматная олимпиада. Третий тур». Последний срок отправки писем (по почтовому штемпелю) — 1 июня. Ответы, посланные позднее этого срока, не рассматриваются.

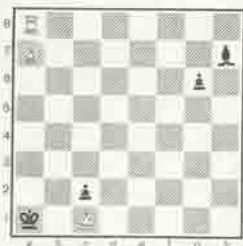
ТРЕТИЙ ТУР

I



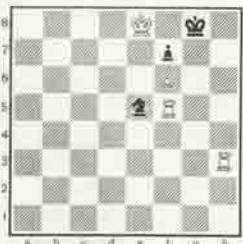
Белые: Крб6, Фб5, Лг4, Сh3,
Кд5(5)
Черные: Кре6 (1)
Мат в 2 хода (1 балл)

II



Белые: Крс1, Ла8, п. а7 (3)
Черные: Кра1, Сh7, пп. с2, g6
(4)
Мат в 3 хода (2 балла)

III



Белые: Кре8, Лf5, Лh3, п. f6 (4)
Черные: Крг8, Ке5, п. f7 (3)
Мат в 3 хода (2 балла)

IV



Белые: Крб8, Фг4, Сg1, Кд6,
п. g6 (5)
Черные: Крд5, п. е7 (2)
Мат в 3 хода (3 балла)

V



Белые: Крб7, Сс7, Кд4, Кг6,
п. е6 (5)
Черные: Кре8, Са5 (2)
Мат в 4 хода (4 балла)

VI



Белые: Кре1, Фд1, Кh5, п. е2 (4)
Черные: Крh1, Кf1, п. h2 (3)
Мат в 4 хода (4 балла)

ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ



284

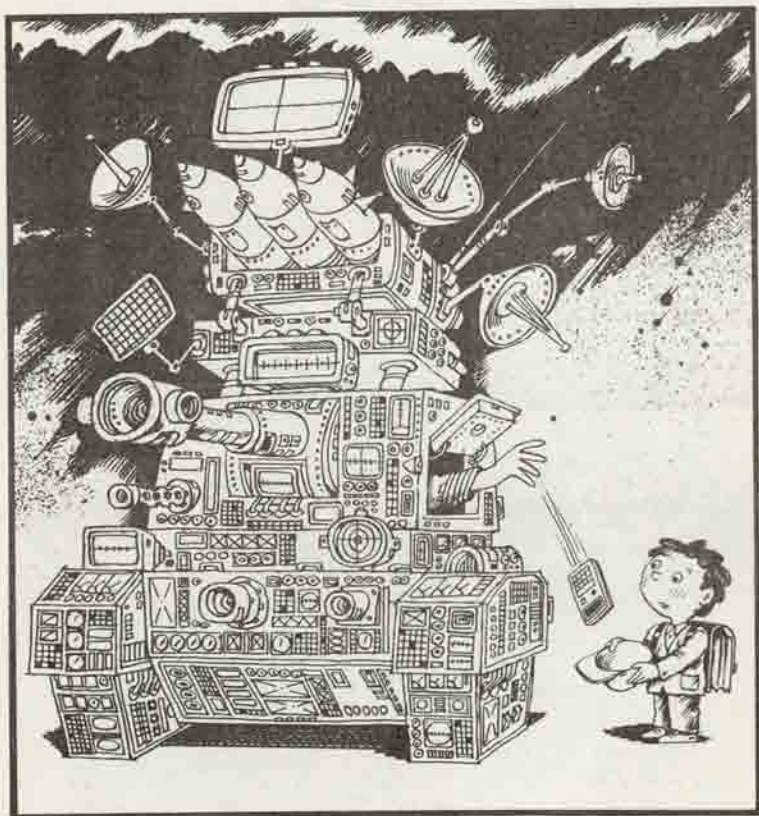


Рисунок ВЛАДИМИРА УБОРЕВИЧА-БОРОВСКОГО



Рисунок ИГОРЯ ПАЩЕНКО

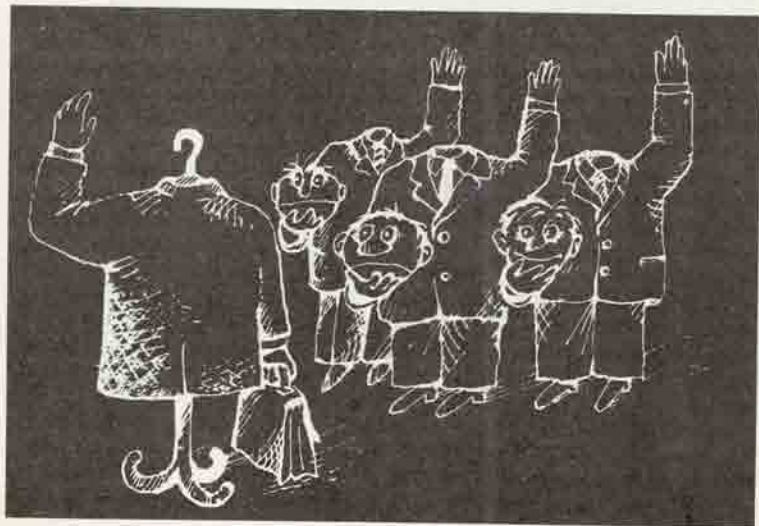


Рисунок ЮРИЯ АФОНИНА

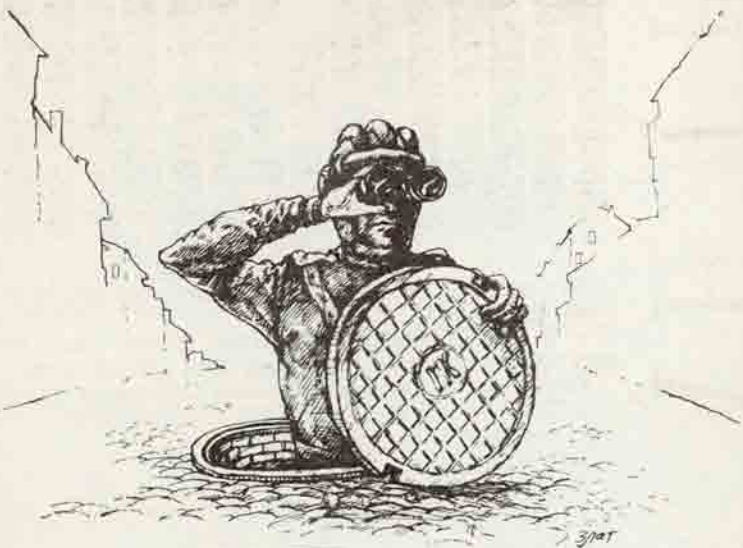


Рисунок МИХАИЛА ЗЛАТКОВСКОГО

286



Рисунок ВАЛЕНТИНА ДРУЖИНИНА

Попытайтесь пятью словами дать правдивую характеристику самому себе.

— Я очень разносторонний, пятью словами здесь не обойтись, потребуется как минимум слов двадцать пять...

Кому бы вы не доверили исполнение собственных песен?

— Самому себе, когда у меня плохое настроение.

За что вы любите творчество Эдиты Пьехи?

— За все.

Как вы считаете, в каком из перечисленных городов вы бы пользовались наибольшим успехом: Нью-Йорке, Париже, Улан-Баторе, Челябинске, Надыме?

— Во всех перечисленных плюс в своих родных Люберцах.

Сколько раз вы предлагали женщинам выйти за вас замуж?

— Один, к счастью.

Сколько раз они вам отказывали?

— Она — четыре раза. Но потом все-таки стала моей женой.

Какой у вас рост? Сколько вы весите?

— 176 сантиметров. 73 килограмма.

Когда вы в последний раз брали в руки книгу? Какую?

— Вчера. Библию.

Кто вам ближе: Моцарт или Сальери?

— Бетховен.

Когда вы в последний раз были очень сильно испуганы?

— Это было несколько лет назад во время гастролей в одном из городов. Там в гостинице начал падать лифт, и я, естественно, начал падать вместе с лифтом.

Если бы вам заказали песню о комсомоле, какими словами она бы начиналась?

— Такую песню я уже написал, хотя мне ее никто не заказывал. Но не думаю, что даже в условиях гласности вы рискнете ее опубликовать.

Как вы считаете, какой категории людей могут напрочь не нравиться ваши песни и вы сами в момент их исполнения?

— Людям недобрым.

О чем бы вы хотели нас попросить?

— Я бы хотел не попросить, а пригласить. И не вас, а ваших читателей. Дорогие товарищи, вас приглашает

МОСКОВСКАЯ ЗАОЧНАЯ СТУДИЯ ГИТАРИСТОВ

«ЛИРА»

МОСКОВСКАЯ ЗАОЧНАЯ СТУДИЯ ГИТАРИСТОВ «ЛИРА»

Всех, кто желает научиться играть на шестиструнной гитаре, приглашаем в нашу студию. Срок обучения — один год.

Возраст не ограничен. Обучение ведется по оригинальной методике, дающей возможность освоить инструмент любому человеку, даже без ярко выраженных музыкальных способностей. В курс входит обучение нотной грамоте.

ПРОГРАММА:

этюды, романсы, пьесы (как классического, так и эстрадного стиля), авторские песни, популярные песни эстрады, радио и кино.

Курс ведут опытные педагоги, в том числе популярный эстрадный певец, гитарист и композитор
АЛЕКСАНДР БАРЫКИН.

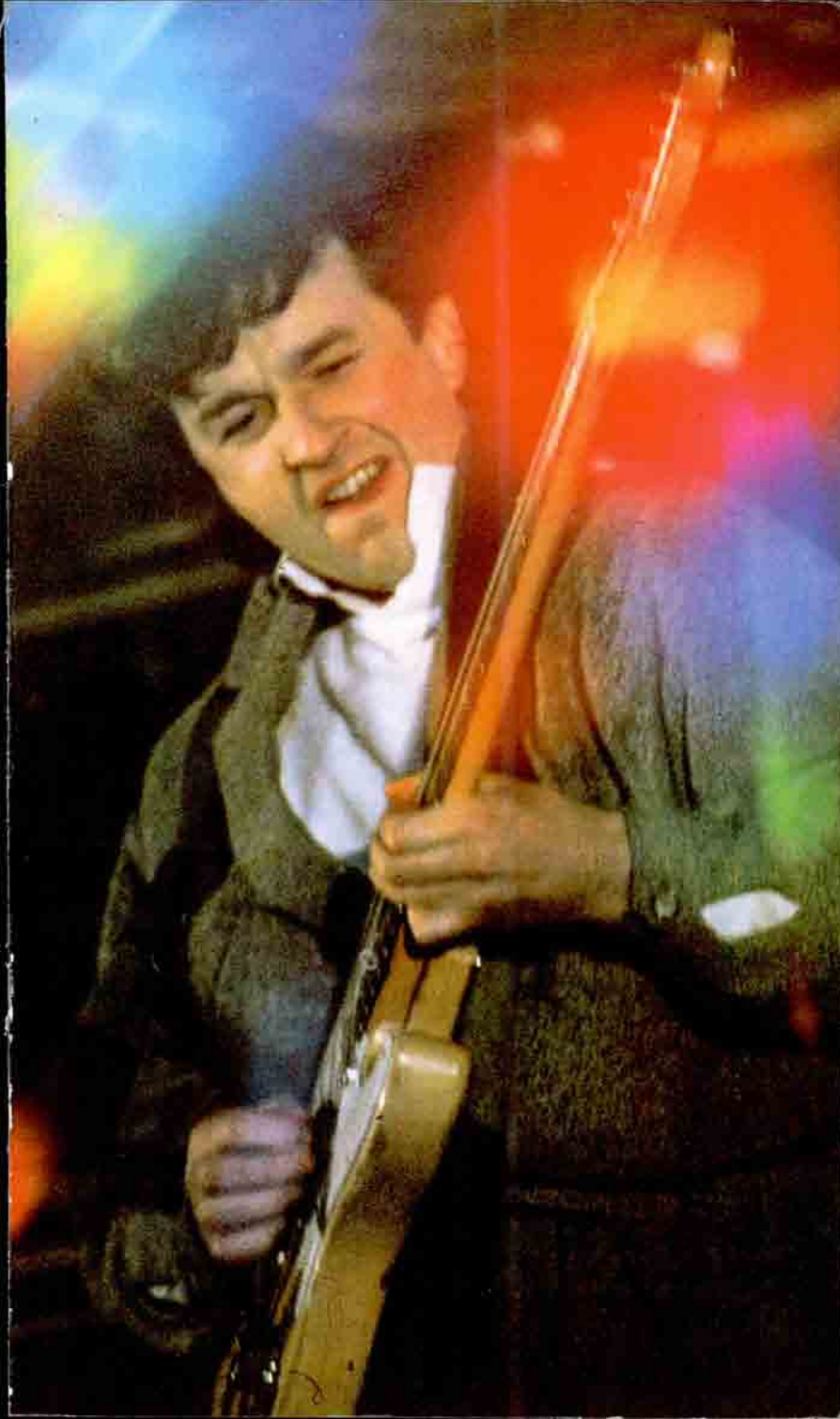
После того как вы перечислите плату за весь курс обучения в сумме 38 рублей на счет студии, вам будут регулярно, два раза в месяц, высылаются программированные методические указания, задания, ноты и песни. Учебный материал высылается через два месяца после поступления платы. Набор в студию проводится постоянно, независимо от времени года.

НАШ АДРЕС:

115516, г. Москва, расчетный счет № 164201
Красногвардейского жилсоцбанка,
филиал 7978/01488, счет № 2794,
студия гитаристов «ЛИРА»

Плата производится только почтовым переводом. Убедительная просьба писать свой обратный адрес **РАЗБОРЧИВО И ПОЛНОСТЬЮ**, иначе мы не сможем отсылать вам задания.

В течение года вы сможете освоить основные навыки игры на инструменте. И мы уверены, что игра на гитаре поможет вам соприкоснуться с прекрасным миром музыки и песен.



ИНДЕКС 70820. 70 коп.



«ЛИРА»

МОСКОВСКАЯ ЗАОЧНАЯ СТУДИЯ ГИТАРИСТОВ